

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал  
Харьковского отделения Союза писателей России

---

Том 16–17  
2013

ХАРЬКОВ

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

*Ганичев В.Н.* — председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

*Котькало С.И.* — сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

*Скворцов К.В.* — секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.  
Переписка с читателями по усмотрению редакции.  
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru  
тел./факс +38 (057) 700-40-25

---

Сергей ПРОКОФЬЕВ

## СОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Литургия шла в правом приделе. Служил отец Николай, седовласый, седобородый, с аскетическим лицом и глухим голосом. Диакон, наоборот, был плотный, крепкий, с сочным баритоном, аккуратной русой бородкой. Прислуживал чересчур серьёзный юноша в очках.

На душе у Ксении было хорошо и покойно. Служба в центральной части храма – это всегда многолюдно, торжественно. Величие пятиярусного золочёного иконостаса, пение хора и клироса, наполняющее устремлённое под купол пространство обволакивающими сердце звуками, высоченные Царские врата, за которыми таинственный престол... Совсем другое – служба в правом приделе. Она проходила по-домашнему. Певчие стояли тут же – рядом с молящимися, не на возвышении. И алтарь на одном уровне с тобой, в каких-то пяти шагах. Волнующе близко, рукой подать, за невысокими Царскими вратами чудесно Святой Дух нисходил на чашу с хлебом и вином. Это произойдёт и сегодня...

Впереди Ксении стояла молодая женщина. Беременная. Месяце на седьмом. Животик жёлудем. «Мальчик», – предположила Ксения. С беременной двое деток. Мальчишечка года три, девочка постарше – лет шесть, не больше. Дочь держалась вплотную к матери. Сын на месте устоять не мог. То садился на пол, то ходил. Но молча.

Ксения старалась не пропустить ни одного слова службы. И любовалась счастьем женщины. И завидовала. Не стоять ей никогда вот так с детьми, не молиться рядом со своими малышами, чувствуя в животе умопомрачительную тяжесть новой жизни, которая ещё неразрывно с тобой, с которой омываешься одной кровью, маленькое сердце бьётся в унисон с твоим, а крохотные ножки вдруг – так сладко! – начинают требовательно толкаться...

Она всегда хотела пятерых детей. Почему пятерых? А кто его знает? Будто с этим появилась на свет. Может, маленькой восприняла от старших сестёр: пятёрка – лучшая оценка в школе? Недавно прочитала, что идеальная семья

вшита кодом в самом названии ячейки – «семь я». Мама, папа и пятеро детей. Как бы там ни было, хотела именно столько. В девятнадцать родила первую дочь, четыре года спустя – вторую. И не собиралась останавливаться. Домовитой никак не назовёшь. Не из тех, у кого ничего, кроме семьи, в голове. Телесное со старших классов бурлило, манило сладкой тайной, настойчиво требовало своего. Легко сходилась с мужчинами и до замужества, и после. За грех не считала. Беспокоило одно-единственное – муж бы не узнал. Никаких угрызений совести. Мужчины были женатые и холостые, младше и старше её. В кого-то влюблялась, кто-то проходил мимолётным приключением.

И сейчас до полного осознания не видела в этом греха. Но пойти на исповедь с этим не могла. Два раза пыталась... Не испытывала смущения покаяться в абортах. Но мучительно стыдилась признаться священнику в многочисленных связях с мужчинами, в изменах мужу... Первый раз в очереди на исповедь стояла в Страстную субботу. Придел с желающими исповедаться был полон. Добрых полтора часа с колотящимся сердцем снова и снова повторяла про себя, что скажет священнику. Очередь двигалась медленно. Уже шла литургия, а исповедь продолжалась и продолжалась. Наконец женщина, стоявшая перед Ксенией, шагнула к священнику. Ксения повернулась к очереди покаяться: «Простите, братья и сестры», – чтобы затем пойти под епитрахиль, и... смалодушничала. Почти бегом устремилась из церкви...

Через два года уже под епитрахилью залилась слезами. Священник пытался успокоить: «Начинайте, будет легче...» «Нет-нет, в следующий раз!» – вся в слезах выскочила на улицу.

Иногда думала: почему мать не приучала к молитве. Ни в детстве, ни позже...

Мать и отец были из старообрядцев. Называли себя двоеданами. В Тюменской области, откуда они родом, было несколько старообрядческих деревень. В одних жили долгие годы только двоеданы, в их Турушево двоеданы и православные половина на половину. Отца Ксения молящимся не видела. Не помнит, чтобы перекрестился когда. Являл собой яркий пример грешного человека. Пил, курил, всю жизнь куролесил с женщинами. В пьяном угаре гонял жену, дочек... Тогда как мама на памяти Ксении без Бога ни до порога. Но исключительно сама. Ни старших сестёр, ни её саму не учила молитвам. Почему? Боялась за

их будущее в атеистической стране? Боялась неприятностей в школе?

«Без Бога, дочка, – как-то обронила, – я бы не выдержала с твоим отцом. Царствие ему Небесное. Самые страшные мысли приходили в голову. Взять и избавиться от постоянной муки, себя и вас освободить от непрекращающихся издевательств. Отравить. Да так, чтобы никто не догадался... Не допустил Господь... Но пришла к Богу поздно, как тебя родила. А надо бы раньше, глядишь, и по-другому жили...»

На что подмывало спросить: «Но почему, мама, нас не приучала? Пусть не к церкви, тогда это невозможно было, но к молитве... Ведь знала её силу...»

Сразу после войны с матерью произошёл поразительный случай.

Она – семнадцатилетняя девица Маремия – работала почтальонкой. За почтой в районное село за восемь километров ходит, змейкой по деревне от дома к дому пробежит, разнесёт газетки, письма, уже и вечер... Сумку, опустевшую, в сторону, начинаются домашние обязанности. Первая – встретить корову из стада. Жила Маремия с бабонькой – бабушкой по отцовой линии. Отец умер перед самой войной, мать – в 1945-м. Надорвала сердце непосильной работой в колхозе, надорвала постоянным страхом невыплаты налогов. Осталась Маремия с бабонькой. Скорая на ногу, в тот памятный на всю жизнь день с почтой справилась быстро. Стоял август, самую голодную летнюю пору – до Петрова дня – деревня пережила, и пусть хлеб нового урожая ещё не попробовали, всюю подкармливал лес: грибы пошли, ягода... На другом берегу Исети поспела боярка. За ней Маремия нацелилась сплавать. До стада два часа в запасе. Как раз хватит.

Бабонькин огород, начинаясь под самым домом, дальним краем уходил к Исети. Маремия с веслом и ведёрком миновала грядки, по тропинке пересекла лужок, вот и берег. Села на корму батика – лодки-долблётки и погребла на другую сторону... Девушка невысоконькая, миниатюрная, да весло в руках, натренированных деревенской жизнью, работало споро, попеременно толкая воду с правого и левого бортов. Перемахнула реку, вытащила батик на берег, подхватила ведёрко... Боярка не смородина, собирать быстро. Одно, второе деревце обобрала...

Ещё бы немножко, и наполнила ведёрко, да послышался рёв коров – стадо идёт. Как бы ни опоздать. Заспешила Маремия к батик, и, Боже мой!.. Откуда что взялось? На небе солнце, а на реке во всю ширь волны! Да с пеной. Ходит

Исеть набывчившимися буграми. Заметалась Маремия. Подумалось: может, выше по течению тише, там криулина – река делает поворот. Села в батик, волны его мотают, грести невозможно... Что делать? У берега над водой тальник нависает, хватаясь руками за ветки, начала подтягивать лодчонку от куста к кусту. При этом читает вслух молитву «Сон Пресвятой Богородицы». Бабонька с детства учила: «Мы у воды живём, как на реке что – обязательно твори эту молитву».

«Выехала за криулину, – рассказывала мама, – там ещё страшнее. Волн по верху нет, рябь, вода прозрачная, но бурлит всё, крутит. В такое варево на узком батике угодишь – обязательно перевернёшься».

Маремия, цепляясь за тальник, стала спускаться вниз по течению, в надежде найти более спокойное место. Молитву беспрестанно читает:

«Спала еси Пресвятая Дева Мария в городе Иерусалиме у истина Христа на престоле, и приди к ней Исус Христос, и рече Пресвятая Богородица: о Чадо мое милое, спала я на сем месте и видела сон чуден и страшен: видела Петра в Риме, Павла в доме Симона, а Тебя, моего Сына Исуса Христа, видела в городе Иерусалиме у жидов пойман, вельми поруган, и биши Тебя жиди, в лице Твое святое плеваше, и к Понтийстему Пилату на суд поведоша, и осудил Тебя Пилат на казнь, и казнили Тебя на горе Голгофе, на трех древах, на кедре, певге и кипарисе, руци и нози Твои ко кресту пригвоздиша, на главу Твою святую надели тернов венок, напоиши Тя оцтом, копием прободаша ребро Твое, а из него истечет кровь и вода за спасение всего человечества, а я, Мате Твоя, у креста стояла с возлюбленным учеником Твоим Иоанном Богословом и вельми плакала и рыдала, и речешь Ты Мне со креста: о Мати Моя, не плачь, Я со креста снят буду и во гроб положен, и на третий день Я воскресну и вознесусь на небо с ангелами Херувимами и Серафимами, а тебе, Мати Моя, прославлю. И речет ей Исус Христос: о Мати Моя, сон Твой не ложен, словеса твои паче меда устам Моим. Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу. Аминь». Потом читала Маремия: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй мя». И снова «Сон Пресвятой Богородицы».

Творила молитву и, цепляясь за тальник, плыла вдоль всей деревни, что была на противоположном берегу. Достигла нижнего её края, места, с которого бабонькин дом как на ладони видно. В пять минут бы долетела через реку, кабы не волны. Ходуном ходят, и думать страшно в такую погибель направить батик.

«Спала еси Пресвятая Дева Мария в городе Иерусалиме у истина Христа...» – Маремия беспрестанно молитву читает...

И вдруг смотрит... Сколько бы ни рассказывала потом, как доходила до этого места, мурашки по коже... Поперёк взбесившейся реки дорога пролегла. Слева и справа волны, а полоса шириной, как зимой санный путь, только рябью мелкой покрыта. От берега до берега протянулась чудесная дорожка. Маремия упёрлась в дно веслом, отпихнулась со всей силы и, не помня как, промчалась по тихой воде. Нос батика ткнулся в родной берег, в этот момент волна как ударит, захлестнула батик, ведёрко с ягодой перевернулось. Маремия глянула за спину: дорогу, только что лежавшую перед батиком, захлопнуло, как и в помине не было, река волнами пенными ярится.

Перебежала с кормы на нос, цепь схватила, на плотик прыгнула. Плотик – мостки, чтобы воду на полив брать, бельё полоскать... Два больших тележных колеса на оси, к которой три широких доски прибиты. Бесколёсый конец плотика на берегу закреплён. Обмелела река – плотик к воде пододвинут, прибыла вода – в другую сторону переместят. Рядом с плотиком кол с кольцом вбит – батик привязывать...

Маремия цепь на кол намотала, боярку со дна лодки в ведёрко собрала, весло подхватила и на гору домой. Гора высокая, тридцать восемь ступенек. Во двор заскочила, корова в пригоне стоит, бабонька навстречу внучке: «Где была?» Рассказала Маремия о чудесной дорожке. «Это тебе Никола и Богородица дорожку сделали и перенесли, – сказала бабонька. – Я ведь их просила».

Бабонька, как увидела волны на реке, начала молиться: «Святитель Христов Никола, спаси рабу Божью девицу Маремию принеси её домой целу и невредиму». И к Богородице: «Матушка Пресвятая Богородица, спаси рабу Божью Маремию девицу, принеси её домой целу и невредиму».

Кто из них двоих вымолил дорожку?..

«Бабонька неграмотная была, – рассказывала мама, – она от своей матери приняла молитвы и мне передала».

Мать любила вспоминать бабоньку, голос обязательно теплел: «Никто так за меня не молился, как бабонька. На каждый мой шаг. Куда идти, одной или с подружками, прошу: «Бабонька, благослови». “Бог, – скажет, – благословит, айдате со Христом”. И бегу довольнёхонькая».

Читали часы. Читала девушка, почти девчонка, в белом платочке, ладненькая, с румянцем на щеках. Читала без

нередко присутствующей на службах скороговорки, чуть нараспев: «...Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии воссташа на мя, и крепщии взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред тобою...» Звонкий молодой голос выпевал древнюю молитву... Её словам внимали прихожане, иконы, стены храма...

Беременная женщина слушала, наклонив голову, губы шевелились – повторяла про себя псалом. Дочь стояла рядом с матерью и смотрела на чтицу, сын отошёл к аналою. Был он в синих джинсиках, лёгкой цвета морской волны курточке, чёрных кроссовочках. Русые волосы аккуратно, даже стильно пострижены под горшочек. Видно, стригла мама, как руки подсказали, спереди они слишком коротко взяли, от чего волосики торчали. Мальчишечка постоял у аналоя, разглядывая светлый покров, потрогал ткань ладошкой, потом посмотрел на маму... Убрал руку...

Ксения, спрашивая себя: «Почему мать не приучала к молитве?» – тут же возражала: «А был бы толк?» И снова задавалась вопросом: «Неужели совсем никакого, начни в раннем возрасте...»

«Как я замуж вышла и родила Танечку, – рассказала мама, – совсем сделалась мирской. Закрутила суета-маета, утром поднимусь, три поклона не положу... Потом родилась Леночка... Только когда тебя родила и жить вконец неумогуто сделалось, опять начала к Богу поворачиваться».

Мама в своём довоенном детстве отказалась идти в пионеры. Отрубила в школе: «Бабонька не разрешает галстук надевать, клеймо антихристово». Крамольное заявление, как ни странно, не вызвало карающих последствий. Может, на заре советской власти в деревне, наполовину старообрядческой, со снисхождением относились к нововведениям идеологическим? Потому санкций к ребёнку за политический выпад не применили. Своим детям Маремия ни слова не говорила о «бесовской повязке», о силе молитвы, о смертных грехах... Попробуй бы она, Ксения, в школе заявить про «клеймо антихристово»...

У беременной женщины был с собой складной стульчик, она опустила на него, давая отдохнуть ногам. Мальчишечка – до этого он, подперев голову руками, сидел на корточках у колонны – поднялся, подошёл к матери и полез на колени. С животом женщине было неудобно держать сына... Но он уместился. Всё молча. «Понимает, – подумала Ксения, – где находится».



Первый раз Ксения изменила мужу, когда того призвали в армию. Проводила Петра в солдаты на два года, но и полугодом разлуки не выдержала, схватила дочку-мальшку в охапку и сорвалась к мужу под Новосибирск. За пару месяцев до этого решительного шага вынырнул из небытия Коленька Семёнов, первый её мальчик-мужчина, классом старше учился. Года два не виделись, тут столкнулись в сумерках на улице. Коленька бурно обнял, притиснул к груди, назвал, как раньше: «Ксюся!» – и поплыло у женщины перед глазами. На душе было так одиноко, так не хватало тепла, ласки. Дома через день да каждый день ругань родителей... Под разными предлогами оставляя дочь на мать, несколько раз бегала к Коленьке... Потом поехала к мужу, пусть он в казарме, зато рядом. Устроилась работать в госпиталь при военном городке, дали квартиру. На площадке, дверь напротив, жил обаятельный хирург из Харькова – Лёня Кошелев. Как-то Ксения загрипповала, температура под сорок. Лёня заботливо потчевал лекарствами, дочери Ксении Катюшке кашу варил, кормил мальшку да и маму её. Жена Лёни, надменная Лариса, смотрела на это снисходительно. Как она отбыла в Харьков к родителям, Лёня стал поздними вечерами захаживать к Ксении. Или она к нему тайком ныряла. Когда Лёню перевели в Тюмень, его интимную роль стал играть сверкающий новенькими погонами лейтенант-первогодок, что жил этажом ниже...

На пару с мужем «отслужили» срочную, вернулись домой. Она совсем-совсем молодая женщина, энергии через край, и, если нравился мужчина, а его тянуло к ней, результат, как правило, случался один. Муж – это обязательное, само собой разумеющееся, а вокруг столько разных интересных мужчин... Влекло любопытство: «Как будет с этим? Какая буду с тем? Какая нужна тому?»

Родила вторую дочь. В год отдала в ясли, пошла на работу. Мужу дали квартиру. Жили дружно и негрустно, частенько выбирались за город большими компаниями. Муж, мужчина рукастый, купил старенькую «Победу», восстановил. На ней ездили на озёра... Любили весёлые застолья, принимать гостей, ходить по друзьям...

На одной из таких вечеринок познакомилась со Славиком, праздновали день рождения его двоюродной сестры – сотрудницы Ксении. Славик на восемь лет младше Ксении, месяц назад аттестат зрелости получил. Пели с ним на два голоса, танцевали вальс, а через два дня Славик позвонил на

работу и пригласил в кино. «Фильмец – боевичок, не пожалеешь», – агитировал. Как ни скрывал, в голосе чувствовалось волнение, опасался отказа. Работала Ксения воспитателем в общежитии. С начальником повезло, не из ретивых, свободно распоряжалась служебным временем, отлучиться ничего не стоило. В середине буднего дня рванули со Славой на «фильмец». В темноте кавалер взял за руку, потом положил горячую ладонь на гладкое женское колено. Не досмотрев кино, поехали к Славику домой, пока родители на работе. Едва захлопнулась входная дверь, Славик бросился прямо в коридоре раздевать женщину... Руки дрожали... После торопливых объятий включил магнитофон, пел Бутусов: «Ты моя женщина, я – твой мужчина!» Позже всякий раз после близости Славик восторженно повторял эту строчку, гордо подчёркивая: «Я – твой мужчина». Мужчина был губастый, голенастый, долговязый... При любой возможности набрасывался на неё с поцелуями.

Славик водил Ксению к вчерашним одноклассникам. На этих вечеринках Ксения ловила себя на ощущении навсегда ушедших в прошлое школьных компаний с их ценячьим восторгом, где парни и девчонки пыжались казаться взрослыми, а будущее видится им сплошным праздником. В кругу друзей Ксении атмосфера была приземлённей. Собираясь вместе, случалось, гуляли дым коромыслом, дурили от души, но у всех за спиной семейная круговерть, дети на шее...

Щёки Славика украшал плотный румянец. Ксения любила в постели положить ладонь на его лицо и медленно-медленно гладить ещё детскую кожу. Такое было только с тем самым Коленькой – первым парнем в десятом классе. Потом пошли щетинистые мужчины.

С Ксенией Славик жадно открывал для себя женщину. Однако при всем мальчишестве голову не терял, дескать, «ты моя женщина навеки». Его забрали в армию, а через полгода комиссовали по здоровью. Но больше не встречались. Однажды столкнулись в трамвае. Славик ехал с молодой женщиной. Подошёл. «Моя жена», – кивнул головой в сторону спутницы. И произнёс как-то нехорошо: «Хотел жениться на деньгах и женился». В сказанном было и хвастовство, и упрёк. Ксении послышалось: вот были бы у тебя деньги... Ответила «нет», когда тихо предложил: «Может, созвонимся?» Хотя в первое мгновение, как увидела, была не против...

Редко в какой период у неё не было мужчины на стороне.

Любопытная до впечатлений, охочая до сладких ощущений, адреналина, что давали любовные приключения, легко заводила знакомства. Угасала связь с одним, появлялся другой, кто-то из прежних выныривал из прошлого. Как правило, не отказывала. «Много у меня было женщин, – признался однажды Дима-адвокат, – но как ты – ни разу». Не только он говорил такое. Любили её мужчины... Возвращаясь домой с очередного свидания, вела себя как в ни в чём ни бывало. Мужу женского доставалось сколько хотел, без ограничений, даже если час назад горела в чужих объятиях и пригребла в родную гавань в состоянии «никакая». Виноватой себя не чувствовала... Почему бы и нет, искренне считала... Скрывать от мужа свои интрижки всегда везло... Это много позже подумает: а вдруг погиб оттого, что постоянно изменяла, истончая невидимую, связующую сердца супругов нить...

При всех изменах мужа любила. И мечтала о детях от него. Чуть, считала, девчонки подрастут, нужно третьего заводить... Не пугала серьёзная проблема: у неё был отрицательный резус-фактор крови, у него положительный. Было время, настойчиво звала: «Петя, бросим город, поедем к твоим в деревню, дом построим». Корова с целебным молоком не входила в планы, навоз не вдохновлял, а вот деток нарожать среди сельской идиллии – рисовала картину. Удерживающих, эгоистичных мыслей: «Пожить для себя» – не лелеяла. Те самые, вшитые в сознание, «пятеро детей» должны быть. Не суть важна пропорция «мальчики – девочки», главное – пятеро...

В детстве соседка-подружка Галка располагала немислимым богатством для их полусельской, с частными домами улицы. У Галки было две куклы из мягкой, телесного цвета пластмассы. Одну называли московской, другую – ленинградской. Из Москвы и Ленинграда привёз Галке отец. Большие, с полным функциональным набором: глаза открываются-закрываются, говорят «мама». Любо-дорого одевать их, заворачивать, нянчиться. Как живые. Было Ксении с Галкой лет по шесть, ещё до школы. Ксения куклу снарядит на прогулку, бант себе завяжет, выйдет на улицу, у калитки их дома стояла лавочка, из школьной парты сделанная, сядет и «прогуливает» куклу. Убаюкивает, колыбельную поёт.

Ребятишки, та же Галка, зовут в казаки-разбойники играть, в лапту, вышибалу. Она – нет. Если вышла с куклой, никаких игр. Как же бросить своего «ребёнка»? Росла не паинькой – кошкой по деревьям, заборам лазила, не всякий

мальчишка угонится, но, если занялась «дитём», остальное по боку. Нянчить, купать, одевать – на первом месте. На руках шила куклам платьица, трусики, колготочки. Однажды в шкафу нашла новую, самую красивую наволочку, из неё скроила игрушечную одежду своей ляльке. Что самое интересное – мама не ругала... Поохала: «Ксюша, Ксюша, какая ты ещё глупенькая...»

Она и взрослая была неравнодушна к куклам. Сумасбродный кавалер Боря Чернов, прознав про это, штук пять подарил. То резиновую, со свистком в боку вручит. «Закрой глаза», – попросил как-то, сам поднес к уху любовницы куклу и как нажмёт на неё, вызывая резкий свист. То привезёт Барби. «Деточке-конфеточке», – хихикал над её слабостью. Боря был водителем-экспедитором. Разъезжал на красном «Москвиче»-каблучке. В течение трёх лет нет-нет и пассажирское сиденье занимала Ксения. Боря – парень весёлый, моторный, с поговоркой «без бэ»...

«С Ленкой когда женихался, – рассказывал Боря, – у её матери частенько деньги перехватывал тайком от Ленки. Без бэ... То «червонец», то «пятёрку». Занимала по первой просьбе. Дело к свадьбе завертелось. Думаю: чё отдавать? Можно сказать, общие финансы уже. Займу и морду тяпкой, как забуду. Тёща не намекает. Боялась, что сделаю ручкой доченьке. С полгода на халяву занимал... Как-то, уже далеко после свадьбы, заругались с Ленкой. Ей поскандальить только дай. Знаешь что, говорю ей, я вообще женился на тебе за-ради денег, чтобы матери твоей долги не отдавать. Она в визг: “Врёшь?! Какие долги?” Спроси, говорю, у мамочки. Она за телефон. И в слёзы, как услышала: “Да-да! Занимал и не отдавал!”»

Ксения любила вырываться среди рабочего дня за город. «Без бэ», – каждый раз согласием отвечал Боря на просьбу подружки съездить к берёзкам или куда-нибудь на бережок. Встречались эпизодически, но было негласное правило: если кто-то изъявил желание свидеться, другой – все дела по боку. Боря влетел, без Ксении, на огненном «каблучке» в аварию. Разбил «транспорт любви». Сам остался целым и невредимым. «А чё со мной сделается?!» И завербовался на север... Приезжая в Омск на побывку, звонил: «Это, без бэ, я! Покатаемся?» Теперь у него были свои «Жигули» и снова красные. «На краснуху по жизни обречён!» Возил для уединения к себе на дачу, когда домой, пока жена на работе. Пару раз заруливали к нему в гараж. По-партизански, чтобы соседи не засекали постороннюю женщину. Ксения, перед тем как пересекать зону повышенной опасности, укладывалась

на заднее сиденье, Боря драпировал с головой покрывалом «контрабанду». И не догадаешься, что под драпировкой недозволенный для женатого человека груз. В гараже имелся полный постельный набор: простыня, подушки, одеяло. Боря раскладывал сиденья, застилал...

Любовники радостью украшали будни. Романтика секретных свиданий, праздники тела, обожание наполняли жизнь яркой новизной. В кровь вливалась лёгкость от предвкушения очередной тайной встречи. Кто-то из мужчин любил носить её на руках, кому-то нравилось мыть «девочку», как маленького ребёнка, под душем, кто-то именовал княжной, кто-то солнышком... Так было и в двадцать, и в двадцать пять, и в тридцать...

Толю-камазиста звала в счастливые минуты Топтыжкин. Коренастый, он по-медвежьи переваливался при ходьбе. И сильный. Ксению, как ребёнка малого, подхватывал рукой, согнутой в локте, под попу и легко к её визжащей радости перебрасывал с руки на руку. И всегда бережно. Во всём относился бережно. Что в самые интимные моменты заботился, прежде всего, о её сладких ощущениях, что при встречах первым делом наседавал с вопросом: «Есть хочешь?» Да не за-ради вежливости – лишь бы отметить. При любом раскладе старался подкормить. Пусть хоть крошечку съест. Всегда имел при себе конфеты или шоколадку. А уж если обстоятельства позволяли, исстареется приготовить вкусненькое для возлюбленной. Искусным поваром с широким репертуаром деликатесных блюд не был, но картошка с мясом, макаронны по-флотски, наваристая уха из судака или стерлядки получались на зависть.

Чистюля. КамАЗ не «Волга», а всё одно – исключительно в белой футболке сидел за рулём. Толе по его уму-разуму не водилой быть. Но не смог из своей деревушки под Усть-Ишимом выше баранки подняться.

Познакомились, стыдно вспомнить, как. Конец июня, у Ксении, студентки-заочницы института культуры, сессия. После экзамена подружка пригласила к себе домой в девичьем кругу отметить день рождения. «Поалкашируем за моё здоровье!» – весело предложила. Ксения на вопрос: «Что будешь пить?» – загусарила: «Водку! От вина башка в жару трещит». Когда в шесть вечера поехала к матери за детьми, головной боли не ощущалось, но имелись другие признаки, говорящие, что наалкашировалась чересчур. «Надо протрезвиться», – оценила ситуацию и направилась в район посёлка Рыбачий, намереваясь, используя прохладу Иртыша, вернуть себе нормальное состояние. Купальник

летом всегда наготове лежал на дне сумочки.

На берегу стояло два КамАЗа, а в Иртыше, зайдя по пояс, смачно фыркали, густо намыливались четверо мужчин. Ещё один лет тридцати крепыш с атлетической фигурой стоял в плавках у среза воды. Как бы в раздумье: купаться или нет?

Видный по физическим данным мужчина.

– Поплыли или как? – не могла не задеть его, входя в воду, Ксения.

Она на Иртыше выросла, плывёт и плывёт. Толя, так звали атлета, поначалу вперёд умахал, дабы показать, кто из двоих сильный пол, но потом, как от берега далеко ушли, рядом стал держаться.

– Ну и что, – спрашивает, – на ту сторону рванём?

– Можно и на ту...

С берега закричали:

– Толян, уезжаем.

– Вот так всегда: не успеешь с парнем познакомиться, его забирают, – продолжала кокетничать Ксения, теперь уже на обратной дороге к берегу.

– Так айда с нами!

– Если до автобусной остановки подбросите, то айда!

– Подбросим, не на себе везти!

Это была её ошибка. Подвела водка, которая к тому моменту ещё не вся выветрилась. Ксения громогласно заявила, выходя из воды:

– Парни, еду с вами! Таку красавицу берёте?

– Конечно! – загалдели они. – Не пожалеешь!

Забираясь в машину, Ксения забыла сумочку с паспортом на берегу. Полиэтиленовый пакет с конспектами Толик ей подал, посадив на верхотуру кабины, а про сумочку, куда сунула босоножки, забыла. В суматохе – водилы торопили: «Едем-едем!» – сумочка вылетела из головы. В кабине сидело ещё двое мужчин. Вспомнила о паспорте, когда прилично отъехали.

– Надо вернуться, – попросила Толю, – там паспорт!

– Давай сначала на стоянку парней отвезём. Тут недалеко.

На стоянке дальнобойщиков было ещё три КамАЗа. Горел костёр, что-то варилось в котелках. Мужчины выбрались из машины, и Толя тоже.

Тут же с двусмысленной улыбочкой в кабину вбросил себя мужик, щёки в чёрной щетине, с голым торсом. Потом узнала его прозвище – Рябой.

– Ух, какая кралечка! – оценил Рябой.

– Ты чё пришёл? Мы с Толей сейчас поедem за сумочкой! – возмутилась Ксения. – Чё за дела?

Рябого не остановило категоричное заявление, он без прелюдии перешёл к активным действиям, сжав женское колено, начал задира́ть платье:

- Чё ломаешься, как целка, не знаешь, зачем привезли?

- Я с Толей! – пыталась остановить притязания Ксения.

- Ты теперь и с Васей, и с Мишей... обща́я! Тебя подобрали по дороге, и не нервируй меня! Я психованный! Могу и врезать!

И занёс руку... Ксения поняла: кричать, сопротивляться бесполезно, только больше разозлит. Перешла на деловой тон:

- Не пугай! Пуганая! Презерватив есть?

- На хрена?

- На хрена попу война! Ты женат?

- Ну!

- Гну. Лезешь на первую попавшуюся! Хорошо, если нарвёшься с какой «придорожной» на хлам или трепак, а если СПИД подцепишь? И привезёшь на конце неизлечимое богатство! Иди, ищи презерватив!

Надеялась, пока будет искать, удастся выпрыгнуть и рвануть через луг на трассу. Или, может, Толя придёт. Рябой высунулся из кабины:

- Мужики, дайте презерватив!

Кто-то из водил оказался запасливым...

Рябой навалился на Ксению. Было противно, но быстро.

- Следующим пусть Толя придёт! – потребовала у застёгивающего джинсы Рябого.

- Толян, тебя девушка следующим требует! – спрыгнул Рябой на землю. – Только резинку надень, она с принципами.

От Толика шёл свежий запах водки.

- Толя, чё за дела? – зашептала ему в лицо. – Ты ведь обещал! Едем отсюда!

- Это не моя машина!

- Прошу тебя, милый, дорогой! Нельзя мне здесь оставаться! Может всё плохо кончиться для тебя и меня!

- Я пьяный! Рябой убьёт за угон!

- Будь человеком. Я ведь из-за тебя приехала, ты мне очень понравился, а ты бросил с этой обезьяной! Хочешь, чтобы через строй пропустили? Никто, кроме тебя, не нужен...

Мотор взревел. Мужики, что сидели у костра, повскакали с мест, закричали. Толик сдал назад, разворачиваясь, а потом рванул через луг, срезая путь к трассе. Машину мотало из стороны в сторону...

Сумки на берегу не нашли.

- Как я к маме без босоножек поеду? Как босота... Дёрнуло

связаться с тобой!

Они заехали к её подруге, взять какую-нибудь обувь. Подружка усадила за стол, поставила бутылку... А потом постелила им на кухне на полу...

- Рябой меня точно убьёт! - шептал Толя, забираясь к Ксении под лёгкое покрывало...

- Будем надеяться: мама считает, что я ночью дома, а муж - что осталась у мамы.

Утром, усаживая Ксению в такси, Толя сказал решительно:

- Я приеду обязательно. Жди.

Приехал в июле с большущей дыней. И признанием:

- Люблю тебя, Ксюшенька! Постоянно думал о тебе!

Встречались больше года. Он приезжал в Омск когда на сутки, когда на две-три недели. Уединялись днём у его друга-холостяка, что жил в двухкомнатной квартире на Левобережье. Нравилось Ксении, она вообще любила машины, кататься с Толей на КамАЗе. За городом он, не боясь, уступал баранку. Вот где адреналин! Огромная машина легко слушается тебя. Летит под колеса дорога, в сердце страх с восторгом, какая-нибудь песня из магнитолы...

От Толи забеременела. И как только вкрались подозрения, решила: если что - буду рожать. Муж ничего не поймёт, а Толе, скорее всего, не скажет, что его ребёнок. Зачем? Но точно знала - от него. Резус-фактор крови у Толи был отрицательным, благоприятный для Ксении.

Для Толи она была параллельным миром, четвертым измерением, куда нырял при первой возможности, где грело сердечное тепло, не было дрызг, претензий, попреков, дышалось легко и свободно. В привычном мире бросала и возвращалась жена, мучила душевная неустроенность, была тупая деревенская пьянка. Никогда не жаловался Ксении на жизнь, но чувствовала - дома ему плохо. Приезжал улыбочивый, весёлый, любил вворачивать в речь строки Есенина или Маяковского. Школьная программа хорошо засела в памятьливую голову. «Когда-нибудь сгребу тебя и твоих девчонок, - говорил в светлые мечтательные минуты, - и на самолете полетим в Усть-Ишим. Обязательно на самолёте, чтобы разом рубануть, раз - и мы в моей деревне, у мамы. Она тебя обязательно полюбит».

Многие мужчины, расслабленные близостью, куда-нибудь мечтали с ней уехать. Но Топтыжкин - другое. Кто его знает, предложи категорично - может, и решилась бы Ксения на бесповоротный полёт... А потом его безрадостный мир стал вползать в их отношения. С Ксенией Толя никогда



не садился за руль пьяным, однажды приехал за ней на работу с хорошим запахом. «Ксюша, не казни – сегодня под банкой!»

Через день снова под той же баночной посудинной.

За месяц до этого попал под следствие. На стоянке дальнобойщика за городом под задним колесом его КамАЗа был обнаружен труп мужчины с раздавленной головой. Когда появилась милиция, Толя спал в кабине пьяный. Следствие быстро установило, что труп подложен. Но Толе пришлось понервничать. Под стражу не взяли, однако потаскали в милицию. «Похоже, Рябой хотел меня подставить», – сказал Толя Ксении. Каким счастливым, просветлённым вышел из милиции, когда с него окончательно сняли подозрения. Ксения ждала в машине, Толя попросил поехать с ним.

Забеременела перед их разрывом. Начался он, когда Толя опять приехал к ней на работу подшофе. Заметным. Пригласил на квартиру друга, который куда-то уехал. «Поехали, Ксюшенька, я так соскучился!» В центре города, выворачивая из боковой улочки на проспект Маркса, впритирку прошёлся с КамАЗом-седёлкой, сорвал у коллеги зеркало заднего обзора. Тот выскочил из кабины, Толя тоже. Один другого в плечах шире. Кулаки у обоих с детскую голову. «Ты куда смотришь, пьянь?» – презрительно оскалился потерпевший и коротким ударом врезал Толе по скуле. Потом снял в качестве компенсации зеркало с его машины: «Вас, пьяниц, за яйца подвешивать надо!»

Униженный в присутствии женщины, Толя забрался в кабину, зло бросил в бессилии: «Ещё и ты тут сидишь!» И понёсся. Огромная машина с бешеной скоростью, километров сто – не меньше, полетела по городу. Ксения вжалась в сиденье. Промчались по мосту через Иртыш. Встречные машины шарахались, будто в западном боевике...

Как они не перевернулись? Как не врезались в троллейбус или автобус? Как не погналась милиция?

После той поездки Толя пропал. Ксения знала: он ещё неделю будет в Омске, остановился у двоюродного брата в частном доме. Женское сердце тревожно ныло. В один день Ксения не выдержала, рано утром поехала на поиски. Знакомая машина стояла у палисадника. Заглянула в кабину. Толя спал на сиденье. Постучалась. Открыл дверцу. Босой, глаза лихорадочные, дышит перегаром, ноги в засохшей грязи. Как ходил по лужам у машины, так и уснул. Белая футболка серая. Сдерживая злые слёзы, Ксения ушла. Не хотела видеть таким.

Через два дня Толя приехал сам. У Ксении с утра поднялась температура. На работу не пошла, сидела дома, и вдруг звонок в дверь, мальчишка сообщает, что дяденька зовёт. Вышла. Толя из кабины высунулся.

- Ксюшенька! - расплылся в пьяной улыбке. - Цветочек! Полезай ко мне!

- Больше никогда не приезжай! Слышишь, никогда! - развернулась, зло хлопнула дверью подъезда.

Он не приехал...

К вечеру у Ксении начался жар. Обычно сбивала температуру аспирином. Муж на кухне резал капусту на борщ. Взяла горсть и отправила в рот с целью бросить на доньшко пустого желудка что-нибудь перед приёмом лекарства, выпила таблетку. Через три часа её вывернуло со сгустками свернувшейся крови. Потом ещё раз. Вызвали скорую, в больнице симптомы расценили как прободную язву. Стали готовить к операции, но после того как снизили температуру капельницей, кровотечение не повторилось. Решили отложить операцию до утра. Утром сделали ФГС, нашли эрозивную поверхность на стенке желудка. Посчитали: таблетка аспирина прилипла и разъела ткань.

В больнице Ксения окончательно поняла: беременна. Толя не раз весело повторял: «Как бы ни предохранялась, Ксюшенька, - забеременеешь! От меня все беременеют!» - «Не испугаешь! - смеялась. - Я женщина замужняя, а резус-фактор твой в самый раз для меня и нашего ребёнка - отрицательный!»

И она бы родила, но лечащий врач, к которому обратилась за советом, категорично сказал: нельзя оставлять ребёнка. После интенсивного двухнедельного лечения, активной медикаментозной атаки на организм, оставлять беременность нельзя. «Тогда выписывайте, - попросилась, - пойду на аборт». И пошла впервые в жизни.

Диакон вышел из алтаря на амвон, стоя лицом к Царским вратам, густым голосом произнёс: «Благослови, владыко!»

Мальчишечка заробел, поспешил к матери, обхватил её ногу ручонками и прижался головой. Ксении показалось, что она физически ощутила бедром детскую щёчку, плечо, щупленькое тельце...

Началась великая ектения. Диакон возглашал прошения: «О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся... О Богохранимей стране нашей...» На каждое прошение клирос пел: «Господи, помилуй»

Боязнь у мальчишечки прошла, он отлип от матери,

пододвинулся ближе к сестрѣнке, дѣрнул её за руку, сестрѣнка отмахнулась. Мальчишечка подошёл к колонне, присел около неё...

Диакон пропел: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».

Второй раз забеременела через десять лет. Срок их знакомства с Аркашей к тому времени подходил к семи годам. Познакомились за два года до гибели мужа. В графе «семейное положение» у Аркаши стояло чин по чину: женат, сын растёт. Влюбилась Ксения отчаянно. Аркаша в их лучшие дни был как ребёнок ласковый, осыпал нежностями. Позови насовсем Ксению через год отношений – разошлась бы с мужем, в их семье уже пролегла трещина отчуждения. Пётр начал теряться в стремительно меняющейся жизни начала девяностых годов сумбурного двадцатого века. Надо было на что-то решаться. Его завод разваливался, денег дома не было. Но он упрямо выжидал. Подрабатывал таксованием. Это были крохи. Начал прикладываться к бутылке. Часто ругались.

А тут Аркаша, тысячу раз за встречу повторяющий «люблю», ловящий каждое её желание. Баловал подарками. И не только безделицами. Деньги у Аркаши, хорошего компьютерщика, водились. Но бросить мужа не позвал. И после гибели Петра не перешёл к Ксении с вещами. Было время – надеялась, разойдётся с женой. Но нет... Помогал во всём. Не тот случай, когда пламенно поделили постель и разбежались до следующего свидания. Как Петра не стало, взял на себя мужские заботы по дому Ксении... Будь то ремонт или на даче сделать ломовую работу. Практически каждый вечер появлялся. Дня без неё не мог. Ксения называла себя «незамужней женой». Бывали срывы, ревела по ночам в одинокой постели. Случались мужчины на стороне, теперь, как прежде с мужем, беспокоило – Аркаша бы не узнал.

Залетела с беременностью в феврале. Возраст миновал планку «сорок лет – бабий век», в актуальные вышла проблема современных женщин – лишний вес. Ксения села от него на диету. Да так удачно – три килограмма удалось скинуть для стройности. Живот исчез за пару недель, по её конституции он являлся основным средоточием целлюлита. До диеты раздражающей преградой выступал, как застёгивать замки у сапог. И смех и грех по утрам. После

диеты наклонялась к сапогам, будто в давней юности – легко и грациозно. Аркаша с восторгом отметил аккуратность форм.

Но почти по закону сохранения веществ: в одном месте убыло, в другом аукнулось побочным, не сразу выявляемым эффектом: женский цикл сдвинулся. Под занавес февраля поехали с Аркашей на субботу-воскресенье за город – зиму проводить, на лыжах напоследок покататься... У Аркаши имелась стопроцентная возможность под предлогом командировки в район срываться из дома. Уикэндовским залётом и опростоволосилась Ксения, беззаботно считая дни календаря безопасными. Тогда как диета передёрнула расчёты.

Месяц после отдыха прошёл, и симптомы не заставили себя ждать. Упало давление до «как у космонавта». С некоторых пор рабочим сделалось повышенное – тут 120 на 80. Плюс к данным тонометра тошнота. Заволновалась не на шутку. Тест купила в надежде на опровержение тревожных подозрений. Тест бесстрастно показал: беременность имеет место. Сделала контрольную проверку – а вдруг ошибка, вдруг сбой... Ничего подобного. Понесла...

При обширном списке обнимавших её мужчин как-то удачно всегда получалось, всего один раз, как упоминалось выше, была оплошка... И вот второй случай. «А что, если родить?» – задалась вопросом. И принялась исподволь проверять близких на тему третьего ребёнка. Аркаша не замахал руками «нет-нет», заговорил о том, что не сможет быть полноценным отцом, значит – ребёнку расти без постоянной мужской поддержки. В постельных разговорах, когда роднее двоих нет никого на свете, они, случалось, пускались в рассуждения: кого им лучше завести из детей, кто краше получится? В «итоговом протоколе» всякий раз записывалась доченька. Сын у Аркаши рос, а у Ксения большой опыт с девочками обращаться.

Когда вопрос «кого лучше им родить?» из умозрительной сферы перешёл в реально зреющий, Аркаша заговорил о безотцовщине. Но начал монолог с более веской причины – резус-конфликта. Тяжеловесный аргумент. На отрицательный резус-фактор крови Ксении, у него был положительный. Оба уже не молодые для материнства и отцовства, у потенциальной матери две беременности за плечами, аборт: несовместимость резус-фактора может обернуться серьёзной патологией в организме ребёнка.

Младшая дочь на братика или сестрёнку взорвалась: «Я уйду из дома! Без того жить негде! Ты с ума сошла! В твои-то

годы! Позор!» Старшая реагировала спокойнее: «Тебе решать». И только мать порадовалась: «У нас бабы в деревне и в пятьдесят рожали, тебе только сорок. Рожай, я уж не та помощница, да, глядишь, и подсоблю где... Что может быть лучше детей? Вон какие у тебя дочечки умницы да красавицы...»

Клирос пел «Блаженны»: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи...» Царские врата были открыты для Малого входа, мальчишечка отошёл от матери к купели для крещения, что стояла у стены. Упёрся в стенку ёмкости обеими руками, попытался проверить её на прочность, мать повернулась в его сторону, сделала строгое лицо. Мальчишечка опустил руки, и тут же снова упёрся в ёмкость, как только мать обратила лицо к алтарю...

Ксению крестили так, как это было заведено у старообрядцев, что жили в Турушево. Крестила женщина...

Бабонька называла Никона антихристом. Таковым патриарх не был, но дьявол поиграл им вволю. Человек ражий, одеяния Никона, в коих проводил службы, тянули под шесть пудов. А уж энергии на десятерых. И церковный экстремал, в монашестве брал на себя чрезвычайные подвиги. Этот богатырь возмечтал о третьем Риме на Руси, новом Царьграде для Православия. Государь Алексей Михайлович был с патриархом «за» в этом вопросе.

Да на всякое действие во славу Божию дьявол тут как тут. Рогатый победно сыграл на гордыне Никона, стремлении властвовать в государстве от имени церкви...

Как гласит история, для начала патриарх Никон воспламенился навести порядок в церковных обрядах и чине, там накопилось немало отсебятины. Но корректировать обряды и книги круто взялся не по древним славянским текстам, а по современным греческим. Из соображения: греки – прямые потомки второго Рима – Византии. Однако на Руси небезосновательно считалось: именно Русь сохранила в чистоте православную старину, горячо молясь, защищая веру мечом. Так считали и предки Ксении. Древнееврейское имя Иисус на всех языках мира пишется и произносится с одним «и», лишь на украинском и греческом удвоенное. Никон через колена вводит новую редакцию. Директивным прямолинейным методом учреждает троеперстие для крестного знамения. Двумя перстами учил креститься Русь святой князь Владимир на берегу Днепра в 988 году. Вдруг на раз всё меняем. Даже эти две позиции

несут для верующего человека глубокий сакральный смысл. Так пять веков молились деды и прадеды...

Конечно, с верой в сердце получишь благодать Божию, крестясь и тремя перстами, и двумя. Да истинно верующий постоянно в ожидании конца мира, пред коим в мерзкой красе проявится антихрист, прельщая слабые души, обрекая их на погибель...

Повсюду начались проповеди против диктаторских нововведений. Примешь их, начнёшь креститься троеперстно, повторять аллилуйя не два раза, как на Руси заведено было, а три, читать изменённый «Символ веры» – значит, предашь Христа.

Бабонька рассказывала матери Ксении – предания старообрядческие и за три века не выветрились из памяти, – как сжигали себя люди целыми сёлами, как умерщвлялись постом, закапывались, принимая мучительную смерть – только бы не осквернить душу. Бросали обжитые места, бежали в глухие леса. А следом шли воевать с непокорными стрельцы... Всего каких-то шесть лет патриаршил Никон, но раскол, посеянный им на радость рогатого, продолжался и продолжался...

И продолжается...

Давние предки Ксении пошли в бега за Каменный пояс, за Урал. Осели на территории нынешней Тюменской области. Власти, повоював с диссидентами, вынужденно согласились с существованием староверов, но на церковное инакомыслие набросили экономический хомут. За приверженность древлеправославной вере обложили двойной данью. Отсюда – двоеданы. Хотите верить на свой лад – платите. Крестилась мама Ксении двумя перстами, Псалтирь, молитвослов, иконы, большой медный крест-распятие и даже нательный крестик имела старообрядческие. Вместо священников у них в деревне были наставники. Поначалу мужчины, обычно кто-то из грамотных стариков, а как пошли революции и войны, как взвил знамя победы атеизм, женщины взяли на себя институт наставничества. Проводили моления в молельном доме, крестили, отпевали.

Ксению крестили старообрядческим чином. И вкрайчи, как говорила мама, то есть – украдкой. Коммунистов в семье, кроме старшей дочери-пионерки, не имелось, да завеса секретности не помешает от лишних языков. Крестили в домашних условиях. Купелью служил бак алюминиевый. Готовясь к таинству, мама специально приобрела. Литров на пятьдесят. Потом, пока жили в своём доме, в сенцах стоял.

С колонки возили воду и в бак наливали. Крестила мамина крестная – кока Елена. Кока – в переводе с деревенского на современный и есть крёстная.

Кока Елена жила в родной маминой деревне, но сама все молитвы чина крещения наизусть не знала. Прочитать по уважительной причине – абсолютной неграмотности – не могла. К наставнице, тётке Манефе, пошла. Так и так, говорит, у Маремии дочь родилась, надо крестить. Наставница поехать в такую даль не имела возможности по состоянию здоровья. Благословила коку Елену. Договорились старушки включить заочный элемент в таинство введения младенца в Церковь Христову. Условились, в какой день проводить крещение, в какое время. Роли распределили: кока Елена в Омске всё делает, тётка Манефа параллельно молитвы читает в Тюменской области, те самые, неведомые коке Елене: Честному Животворящему кресту и 31-й псалом.

Говорили, надо докреститься после такого обряда. Не было таинства миропомазания. Старшая сестра Таня перекрещивалась. Ксения суеверно не хотела. Кто-то ей сказал: перекрещиваться – это от беса.

Ксения своё крещение помнить не могла. Но мама по благословлению наставницы крестила дочерей Ксении, своих внучек. Тоже вкрадчи обряд совершала.

У младшей Аннушки восприемницей, то бишь крёстной, была, за неимением других кандидатов, старшая Катюша, которой четыре с половиной годика от роду на тот момент исполнилось. Как услышала начальные молитвы, так под стол залезла от обряда. Сидит, глазёнками испуганными хлопает. На вопрос: «Отрицаешься ли от сатани?» – за несмышлёного младенца, которого крестят, должен отвечать восприемник, то бишь – крёстная. Но та под столом. Да и что она могла сказать? Поэтому Ксения глаголила: «Отрицаюсь от сатани и всех дел его, и вся службы его, и вся силы его, и всех агел его, и вся студа его». Следом ещё раз: «Отрицаешься от сатани?» Ксения: «Отрекохся сатани». И через правое плечо, поворачиваясь на запад, плевала. Тогда никаких молитв не знала, но у мамы имелся весь порядок крещения. Написала Ксении «роль» на бумажке, дочь по ней читала.

Крестили Аннушку в воскресенье. С вечера мама принесла с колонки воды, поставила вёдра у печки. Греть на печке нельзя, так пусть хоть до комнатной температуры вода дойдёт. Утром мама перелила воду в ёмкость – купелью на этот раз служил бак для выварки белья – зажгла свечу перед

иконой, дала Ксении тексты молитв: «Положим сперва начал, читай за мной». Начал – краткое молитвенное правило, с которого начинается моление старообрядцев.

«Боже, милостив буди мне грешной, – читала Ксения. – Создавший мя, Господи, и помилуй мя. Без числа согрешила, Господи, помилуй и прости мя, грешную». Потом «Достойно есть...», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...» Много позже сравнила «двоеданские молитвы» с текстами из православного молитвослова. Были различия. Песнь Пресвятой Богородице оканчивалась: «... яко родила еси Христа Спаса, избавителя душам нашим». А не: «...яко Спаса родила еси душ наших».

Читала при крещении, совершенно не понимая, не вникая. Делала одолжение маме. «Раз ей так хочется – у меня не убудет». И с одной мыслью участвовала в обряде: скорей бы всё окончилось. Какой там трепет? За неделю до этого познакомилась с Мишей – студентом сельхозинститута... Сговорились встретиться как раз в день крещения у него в общежитии, пока товарищ по комнате домой в деревню на выходные уехал. Ксения заведённо, проглатывая незнакомые слова, протарабанила прощённую молитву, предназначенную в обряде крещения сугубо для матери ребёнка. Толики смысла не отложилось в голове. Через двадцать лет попросила у матери найти текст: «Простите мя, отцы святые, елика согрешила во все дни живота моего. Сей день и сей час без числа согрешила душою и телом, сном и леностью, помрачением бесовским, в мыслях нечистых, забвении ума и во осуждении. Согрешила сердцем и всеми моими чувствами, слухом и видом, волею и неволею. Несть бо того греха на земли, его же не сотворила, но во всех каюся. Простите мя, отцы святые, и благословите и помолитесь о мне грешной Ксении».

Бак-купель стоял на табуретке. Три свечи на краю купели мама укрепила, зажгла, раскрыла тетрадку с молитвами, начала читать... После «Отче наш» произнесла: «Богоявление во Иордани крещающиеся Господи младенец Анна». Следом за этим как раз и спрашивается: «Отрицаешься ли от сатани?»

За отречением следуют ещё три вопроса с восклицанием имени младенца, на которые крёстная отвечает «Обещаешься ли Христу?» «Обещаваюсь Христу и верую в Бога без конца», – отвечала Ксения за крёстную, сидящую под столом. «Обещаешься ли Христу?» – «Обещахся Христу». – «Веруешь ли во Христа?» – «Верую во Христа, поклоняюсь ему, поклоняюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и Святой Троице».



После этого мама покадила воду, убрала свечи, взяла правой рукой Аннушку за спинку, левой ушки, носик зажала, окунула с головой со словами: «Крещается раба Божия младенец Анна во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». По солнцу повернула Аннушку, опять окунула... Так три раза. Затем младенец по обряду передаётся крёстной. В виду несостоятельности последней, Ксения сама приняла Аннушку в новую пелёночку. Тельце Аннушки покраснелось, но не плакала малышка. Крестная наконец вылезла из-под стола, захотелось посмотреть на «крещаемую», из воды вытащенную. Мама прочитала 31-й псалом. С молитвами надели крестик на Аннушку, одели в крестильную рубашечку, поясок повязали.

И это не всё, как надеялась Ксения. Ей бежать надо, украдкой на часы поглядывает, что на комодке стоят. Думала: крестик надели, и сеанс окончен, свободна для Миши-студента, что ждёт не дожждётся в своей комнате без свидетелей. Нет. Мама «поспасала» младенца: «Спаси, Господи, и помилуй рабу свою младенца Анну, избави от всяких скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, прости ей всякое согрешение, вольное и невольное». И снова не всё. Мама заставила в завершении «положить начал» вместе с ней. Только после этого Ксения под предлогом «поработать часика три в библиотеке» сорвалась на свидание...

Кстати, дурацким получилось. Миша играл на гитаре, пел студенческие песенки и... заметно нервничал. Суетился, голос подрагивал. Наедине оказались впервые. Познакомились в студенческой столовой, по парку гуляли, целовались... Ксения с интересом наблюдала за поведением студента. Была уверена: всё получится, как она хочет, и эти руки с не по-деревенски тонкими пальцами будут жарко обнимать её... Миша вдруг бросил на кровать гитару, вскочил со стула, подбежал к двери, повернул ключ в замке и со словами: «У меня на ночь останешься», – выбросил ключ в форточку. После этого ей захотелось одного – уйти. Миша попытался сгрести в объятия, но выходка с ключом отбила все желания. Она замужняя женщина, дома дети, он вздумал решать за неё...

Два часа сидели, надувшись, в разных углах. Миша нудно брэнчал на гитаре, она листала журналы, что лежали в беспорядке на подоконнике... Наконец приехал товарищ Миши по комнате и открыл дверь.

При чтении Евангелия прихожане придвинулись к

аналою, мальчишечка встал рядом с матерью. С началом сугубой ектении: «Рцем вси от всея души и от всего помышления рцем...» – задрал голову, заинтересовавшись росписью потолка. Поза была неудобной, ручки повисли вдоль тела, однако что-то там наверху сильно привлекло мальчика. С поднятой к потолку головой стал поворачиваться, ноги заплелись, сел на попку. И тут же, перейдя от потолка к противоположной плоскости, увидел интересную щербинку на полу. Поковырялся, затем, встав на четвереньки, поднялся на ноги...

Началась ектения об умерших, беременная женщина несколько раз перекрестилась чему-то своему.

«Ещё молимся об упокоении душ усопших рабов Божиих...»

В записке «О упокоении» первым Ксения всегда писала мужа. Потом шёл отец, остальные родственники... В Радунницу старалась пораньше, пока никого не было, попасть на кладбище. У могилы мужа молча вытирала слёзы, просила прощенье...

Девяносто второй год, дома хронически не хватало денег. Муж начал активно таксовать. У них как раз годовщина свадьбы предстояла, он упрямо задумал отметить. Время шло бандитское, муж опасался ночью и поздно вечером ездить. И не изменял этому правилу. Стоял июль. В десять вечера было ещё светло, махнула с обочины девица. На суде сидела покрашенная, как на вечеринку собралась. Она послужила приманкой и даже помогала душиить, как потом выяснилось. Муж остановил машину, девица стала садиться на переднее сиденье, в это время появились два парня и разместились сзади от водителя. Действовали нагло. Приставили обрез: «Деньги!» Отдал какую-то мелочь, часа два всего и таксовал. Стали гонять: свози в одно место, в другое... Потом потребовали ехать за город.

Парням было чуть больше двадцати. Один жилистый, сутулый, на суде нервно улыбался, второй в армии шоферил в стройбате. Взгляд наглый, постоянно бросал реплики на суде, вёл себя, будто его не очень волнует дальнейшая судьба.

Муж отказался ехать за город. Его оглушили. Бросили на заднее сиденье и повезли за сажевый завод. По дороге он очнулся, начали душиить шнуром. Приехав на место, избили, а потом два раза выстрелили, в голову и грудь. Закопали в отвалы. И поехали восвояси.

Ксения в милицию отправилась на следующий день, часов в двенадцать. Муж никогда не ночевал на стороне. В

милиции стали успокаивать: не паникуйте, в девяти случаях из десяти мужа находят, надо подождать три дня, может, где-то гуляет. Обычное дело. В ту пору и милиция была нищета нищетой. Машины без бензина, людей не хватает. Она стала обзванивать друзей, знакомых. Никто ничего не знал. Но вдруг откликнулся бывший сослуживец мужа. Ему позвонила одному из первых, он сказал: «Не знаю». Но через полчаса перезвонил сам. Сознался: видел утром машину Петра в соседнем дворе. «Я ещё удивился, почему здесь стоит». – «Что ж сразу не сказал?» – «Да как-то...»

Из мужской солидарности, в общем. Ксения заспешила с полученной информацией в милицию.

Сообщение о машине органы восприняли вполне серьёзно. Оперативники быстро вычислили: её оставил бывший стройбатовец. Дома его не оказалось. Милиция просеяла круг знакомых подозреваемого и вышла на подельника – парня с нервной улыбкой. Он не стал запираться, поведал, что и как. И доложил: стройбатовец с девицей собрались «делать ноги» в восточном направлении, в Красноярск. Беглецов прихватили, когда садились в вагон. Вот такую блестящую операцию провела милиция. Труп мужа Ксения опознала по шраму на груди от карбункула. Лицо было изувечено, в гробу лежал как другой человек.

Клирос запел «Херувимскую песнь», мальчишечка начал, как бы танцую, переступить с ноги на ногу. Раскачиваясь, медленно повернулся лицом к молящимся, покачался, снова развернулся в сторону алтаря.

Потом остановился и принялся, присев, натягивать курточку на колени. Курточка была коротковатой, но он упрямо тянул ткань, выполняя задуманное.

В клинику с нежелательной беременностью Ксения поехала на исходе шестой недели возникновения оной. Наступала граница медикаментозного аборта. Доктор Антонина Сергеевна, у неё приходилось бывать раньше по женским вопросам, выслушав «проблемы», направила на УЗИ.

– Хорошая беременность! – отреагировала врач на УЗИ, милая кареглазая, совсем ещё юная Леночка. – Редко в наше время такую беременность встретишь. Просто прелесть. Жёлтого тела маловато, но это легко корректируется.

Ксения опасалась: в клинике посмотрят на неё как на старуху, которой о вечности думать пора, она мало того, что с мужиками кувыркается, ещё и головой о предохранении,

как неопытная дуручка, не думает. Вместо этого – «хорошая беременность, редко такую встретишь». Гордость наполнила сердце: вот я какая! На вопрос Антонины Сергеевны:

- Что будем делать? – вылетело:
- Рожать!
- Наверно, муж молодой? – предположила доктор.
- Да, – не зная зачем, соврала Ксения.

И спросила, а если всё же делать аборт, какие сроки. Врач бесстрастно проинформировала: сегодня препарат в наличии, завтра его не будет, но в воскресенье точно подвезут. И предоставила пятнадцать минут на раздумье.

Ксения вышла в холл, где гордость за «хорошую беременность» мгновенно испарилась. «Куда рожать? – застучало в голове. – Сегодня есть физиологический отец, завтра сдуется, и что? Останется одна-одинёшенька с «хорошей беременностью». Кому нужна с ребёнком в сорок лет?»

И что тянуть-откладывать. Отвалиется за субботу-воскресенье, а в понедельник на работу. Она уже три года работала в частной фирме, это не та вольница, что была в общежитии.

Как корила потом себя за поспешность.

Выпила препарат, отторгающий яйцеклетку. Посидела с полчасика. Заехал Аркаша и отвёз домой. «Сегодня к вечеру всё пройдёт, – сказала Антонина Сергеевна, – а денька через два к нам». Дома начались схватки. Лицо горит. Давление зашкаливает. Температура. Полубредовое состояние. Аркаша сказал: «Милая моя, всё будет хорошо. Крепись. Я с тобой». И уехал. Как бесила потом эта дурацкая фраза. Да где он с ней? Где? Загибаться будет и то не сможет позвать: «Приезжай, спасай, умираю!» Это исключено: у него жена, звонить ни в коем случае нельзя. Помочь могут только дочери, больше в целом свете никто. Ну, мама. И все признания в любви, все слова «ты моя единственная» – пустой звук.

«А что он мог? – думала потом. – Что, он рожал когда-нибудь? Аборт делал? Представления не имел, в каком состоянии женщина в такой момент». Но хотелось поддержки. Как хотелось. Извечный высверливающий мозги вопрос: кто виноват? Сама, корила себя Ксения, сама ворона. Не подумала, не перестраховалась. Но ведь и он не случайный мужчина...

Ночь прошла кошмарно, потеряла много крови, но ожидаемого результата не получилось.

Клирос запел: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя...» Прихожане в одном порыве подхватили. Ксения пела со всеми. «Символ веры» года два назад выучила наизусть. Но в храме сбивалась. По утрам читала в своём ритме, он отличался от церковного пения, поэтому в храме всегда напрягалась, забегала памятью вперёд произносимых слов. Нужное не всегда вовремя всплывало...

Прозвучало «аминь», мальчишечка попятился в сторону Ксении. Остановился в шаге от неё. Ушки, наполовину прикрытые волосиками, забавно оттопыривались. Вдруг Ксении показалось: она услышала запах детских волос. Сладкий, солнечный. Так для неё пахли только что из-под утюга простыни, наволочки, свежевыстиранные и на ветру высохшие. Во время глажки поднесёт к лицу – и остро вспомнятся дочки-крохотулечки...

Дочки давно благоухали духами да лосьонами. На вдруг проявившейся интерес матери к церкви вначале смотрели как на чудачество. Младшая Аннушка ворчала на появление икон в доме: «Мам, ты чё, старуха что ли? Это бабушка ладно, ей уже восьмой десяток, а ты-то молодая совсем...» Аннушка всё подбивала её в Интернете разместить информацию, чтобы познакомиться с мужчиной для замужества. Иконы Аннушка убирала с полки перед приходом своих друзей. Ксения придумала сделать иконостасик на кухне в подвесном посудном шкафчике. Освободила полочку, перенесла туда иконки. Откроет дверцы утром, помолится, снова закроет.

Мать Ксении радовалась, что дочь стала бывать в церкви. Сама ходить на службы по нездоровью не могла, но всегда расспрашивала, что и как. Какой батюшка служил? Что за хор? Какой народ в храме?

«Скоро умирать, доченька, а я не намолилась, нет, не намолилась, – сетовала мама. – Сколько лет потеряла...»

Мать четыре года назад в откровенном разговоре сказала: её спасла молитва. К Богу пришла, когда порядком за тридцать было. Вдруг поняла, иного спасения нет. Жить совсем не вмоготу стало... А перед этим засела бесовская мысль избавиться от мужа...

Замуж за него не хотела. Было подозрение, подстроили всё две тётки: её – Варвара и его – Манефа. Обе богомолки, да тут мирское взяло. Тётка Манефа племянника любила, как никого другого. Мужа и детей Бог не дал, а Егорушка практически у неё в доме вырос. За что потом отблагодарил сполна. Никого у тётки Манефы не осталось в деревне, старушка еле ходила, попросилась к племяннику в Омск. Не отказал любимчик. Три зимних месяца тётка всего и

выдержала его хлебосольство. Готова была весной на карачках ползти восвояси в свою избушку-развалюшку. Пусть ноги еле переставляет, руки-крюки, но лучше одной, чем в таком аду. Через день да каждый день ночные концерты. Егорушка, её любимый Егорушка, будто подменённый. Слюна брызжет от злости, орёт, матерится. «Выкину на снег!» – грозился, как начинала заступаться за Маремию. А та, бедняжка, не знает, куда бежать.

Отблагодарил. А женили его подружки Манефа да Варвара так. Маремия из себя не больно красавица, хотя всё при ней, глаз чуть косил, да это мелочи. Но когда тётка Варвара напрямую спросила: «За Егорушку замуж не хочешь?» – отказалась наотрез. Нельзя сказать, не нравился парень. Удалой, на тракторе работал. Да слишком много зазнал. В соседней деревне жила разбитная Верка Соколова, её Егорушка частенько на своём тракторе катал. В Исецком, куда по колхозным делам ездил, тоже, рассказывали, имелась присуха. Не хотела Маремия с другими делить мужа. Но Манефа с Варварой подстроили женитьбу коварным образом. В тот день все вместе были на покосе. Вернулись под вечер, Варвара к себе домой зазвала. Маремия на лавку прилегла. Можно сказать – без рук, без ног была девушка. Ведь ещё затемно поднялась, надо с коровой управиться – бабонька болела – потом на покосе весь день, и не с граблями, а с косой. Прилегла в бессилии и провалилась в сон, как в яму. Тётки тем временем улизули. А ушлый Егорушка воспользовался моментом, смертельной усталостью девушки. В вопросах пола был вполне сведущ, подлез по-тихому... Маремия слишком поздно хватилась, что не сон снится, это брачная ночь, без её согласия на брак, в полную силу началась. Проснулась, когда Егорушка всю владел ею. Кричать стыдно и отбиться от его ручищ невозможно. Изнасиловал, можно сказать. А можно и не говорить – и так ясно.

Маремия забеременела с первого раза.

Отец был совершенно разный утром и вечером. Сколько раз Ксения видела его на коленях перед матерью, просящим прощения. Всякий раз верила его словам, настолько искренне говорил. А вечером бегали от него по улице, прятались в сарае, летом ночевали рядом с курицами. Ходил к каким-то странным женщинам. Однажды кричал: «Убью суку! Убью!» Ксения была ещё маленькая. Но запомнила эту сцену. Много позже мать расскажет, женщина поила его квасом с приворотом. Прознал. Оттого и кричал. И на самом деле пошёл отдубасить зазнабу, но та вовремя убежала.

У отца, считала Ксения, был комплекс: жена досталась не по-путному. Как ворованным пользовался. Ущемлённая гордыня жгла его. Скорее всего, не женился бы после «брачной ночи» на лавке в покосную страду, кабы не беременность. И знал, что мать точно не пошла бы за него. Этот камень давил. Как-то обронил Ксении, когда она заневестилась: «Дочка, выбирай мужа, чтоб не хромой, не шепелявый. Соринка с годами может в бревно превратиться». Пьяный мог оскорбить мать по поводу её косоглазия.

Для Ксении до десяти лет было два отца. Трезвого очень любила.

Ещё до её рождения мать упросила отца уехать из деревни, наивно полагала, тем самым оторвёт от разгуляй жизни. Отец поначалу не хотел, но потом горячо уцепился за идею переезда: «Дочки должны получить образование, чему они в деревне выучатся!» Подключил родственников в Омске, два раза ездил сам, подбирая дом. Не побоялся залезть в долги. И дочки получили образование. Но затея матери не удалась – с переездом в город ещё пуще люли-малина пошла.

В трезвом отце маленькая Ксения души не чаяла. Когда работал на машине, страшно радовалась возможности поехать с ним в рейс, а если ещё на целый день... Это было счастьем сидеть рядом в кабине и смотреть на дорогу, на меняющие картины по обочинам, дышать врывающимся ветром. Бывало, остановит машину, будто по надобности в кустики. Отойдёт в березняк у обочины, И вдруг выныривает оттуда с возгласом: «Быстро-быстро сюда! Что я нашёл!» Она выпрыгивает из кабины... Бежит. Вот это да! На маленькой берёзке конфетки в развилки веточек понатыканы. Все шоколадные! «Ласточка», или «Буревестник», или «Пилот». «Видишь, зайчик тебе гостинчик оставил!» Какие вкусные были те конфетки. Любила запах отца. Уткнётся в шею и надыхаться не может. Родной аромат, где и табак, и кожа, и бензин... Трезвый часто возился с ней. «Ксения, гимнастика!» Брал за руки, чуть приседал, ставил себе на колени, отклонялся, и она шла по «наклонной плоскости» – ногам, животу, груди. Потом садил на шею и начинал приседать, наклоняться вперёд-назад, вращать корпусом, отягощённым визжащей от восторга дочкой...

В том возрасте Ксения к его пьянке по-другому относилась. Жалела что ли. Часто пил дома. Брал бутылку, а то не одну... Останавливать бесполезно... После первых двух рюмок делался разговорчивым, могли с Ксенией говорить о дальних странах. «Эх, – предавался мечтам, – нам, Ксения, запчастей

полный кузов, и поехали бы в кругосветное путешествие... А чё – мой «газон» выдержит». Ксения несла географический атлас, они прокладывали маршрут, чтобы обязательно была Москва, Минск, где жили родственники... «А львы в Африке?» – спрашивала Ксения. «Ружьё прихватим с пулями на медведей!» После третьей-четвёртой рюмки отца настигала всесветная любвеобильность. Обнимал жену: «Маремиюшка моя». – «Ты бы не пил, отец, больше». – «Ерунда! Девчонки, кто скажет: почему я на матери женился? А потому, что знал: дети будут не сквозняк в голове, умные. Вон какие вы у меня отличницы!» Но уже следующая пара рюмок ввергала в злость, в маты, в кулаки... Мать убежала с детьми. Ксения нередко оставалась. Отец её не трогал. Мотался по дому, искал выпивку, а Ксения начинала петь. «Папа, давай попоём». Песня гасила бешенство, успокаивала. Любил вместе с дочерью выводить «Осенние листья летят и летят в саду», «Подмосковные вечера», «Выйду я из дому, гляну на село»... Не все слова помнил, но подпевал. Мать в ожидании заглядывала в окно, и, когда засыпал, Ксения махала рукой: заходите.

Ей было десять лет, отец взял на майскую демонстрацию. День выдался прохладный, с ветром, но солнечный. Доехали на автобусе до моста через Иртыш, дальше дорога для транспорта перекрыта, шли пешком, разговаривали. Такой душевной близости с отцом, как тогда, больше Ксения не помнит. Отец в новом светлом плаще, серой шляпе с узкими полями. «Это моя младшенькая», – обнимая Ксению за плечо и прижимая к себе, представлял сослуживцам. Один заговорщицки распахнул пальто, из внутреннего кармана выглядывала серебристая фляжка, и предложил, мол, давай тяпнем за праздничек. Отец замотал головой, кивнул на Ксению. Дескать, не могу, не тот случай. Отказался даже от глотка. Ксения загордилась отцом. В возбуждённом многолюдье, украшенном красными флагами, транспарантами, разноцветными шарами, песнями, что лились отовсюду, отец и дочь постоянно находились рядом.

После демонстрации возвращались домой пешком. Мечтали. «Летом обязательно надо свозить тебя в Москву, – говорил отец. – Возьму в июле отпуск, и вдвоем махнем на неделю. Сходим в Кремль, может, в Оружейную палату попадём». «И в Ленинграде я не была, поедём?» – просилась дочь. «Конечно». А потом он увидел пиво. Продавали прямо на улице. «Возьму пару бутылочек». – «Не надо, папа». – «Да ладно ты». Она страшно обиделась. Весь день, как вышли из дома, рука Ксении была в шершавой руке отца. Ксения



вырвалась, заспешила вперёд. Он на ходу пил из горлышка, шёл следом. Слезы кипели у Ксении в горле. И с того дня исчезла жалость к отцу. Не возникало желание уткнуться в шею. А лет с четырнадцати стали сниться сны, будто убивает отца. Он опять пьяный, лежит на полу или на кровати, она хватается двумя руками портняжные ножницы и вонзает в грудь. Или бьёт топором по голове... Просыпалась испуганной, боялась кому-нибудь рассказать увиденное...

Только в один период не пил ни капли. Ксения была на третьем месяце первой беременности и как-то утром после скандальной ночи зашла к отцу в закуток, где он, хмурый, похмельный, собирался на работу, и зло бросила: «Ладно не жалеешь меня, на мать тебе наплевать, но представляешь, каким родится у меня ребёнок, твой внук? Каким будет, если развивается в этом аду, каждый день маты, крики, ругань?!» Отец ничего не сказал. Но прошла трезвой неделя, другая, месяц. На Новый год впервые собрались всей семьёй, сёстры пришли с детьми и мужьями. Внуки читали стихи, отец нарядился Дедом Морозом, специально костюм на работе выпросил, водил с детворой и взрослыми хоровод у ёлки.

Держался пять месяцев. А потом на его глазах сменщик попал под гусеничный трактор. В тот день отец заявился домой с бутылкой, и покатила пьянка в угарном ритме.

«Добрых пятнадцать лет, дочка, жила я без Бога, – каялась Ксении мать. – С той поры, как вышла замуж. Закрутила жизнь, заела суета. Будь бабонька жива, глядишь, не дала бы обмирщиться, да она вскорости умерла, как я замуж вышла...»

Но прижало и полезла на дно сундука. Там лежали две иконы, толстенная Псалтирь старообрядческая – отец подарил, как в школу пошла. По этой Псалтири в семь лет читать по-церковнославянски училась. Бабонька сговорила с грамотной старушкой. У двоедан была традиция: детей постигать азы древлеправославной веры учили сведущие старики... «Маремия твоя читат, как по воде бредёт», – хвалила старушка смышлённую девчонку. Которая вдобавок была проказница. Возьмёт да напакостит. Уходя домой от старушки, заметённый в сенцах снег распинала в сердцах по сенцам за то, что «учительница» отчитала: поклоны абы как кладёт. Старушка вышла в сенцы и растянулась. Или рожицу Маремия ей за спиной скорчит. «Раз читат, как по воде бредёт, – решила бабонька, выслушав в который раз жалобу старушки, – то и хватит». На том и закончилось обучение. Изредка бабонька брала Маремию в молельный дом. Но основные молитвы Маремия приняла от бабоньки.

Начала вспоминать их, молиться. Приезжая в деревню, собирала по родственникам – у кого осталось от стариков – книги с молитвами, канонами, акафистами. Дописывала вырванные страницы, сверяясь с книгами тётки Манефы, у той была хорошая библиотечка. С её помощью делала пометки, где класть поклоны...

По пьянке отец не один раз говорил, кивая на мать, что молиться – это бесполезное занятие. Человек должен обдумывать свои дела и оценивать их сам. Но как-то, когда Ксении было лет пять, научил её молитве «Богородица Дево, радуйся...»

Через пару дней УЗИ показало: яйцеклетка деформирована, погибла и находится на прежнем месте. Антонина Сергеевна успокаивала: такое крайне редко случается, тем не менее – через три-пять дней оторвётся и выйдет, никуда не денется. Пока надо попить противовоспалительное, выписала рецепт. Улыбнулась в поддержку, мол, всё будет хорошо.

Но и через три дня картина УЗИ не изменилась.

– Какая вы исключительная, – прокомментировала с упрёком Антонина Сергеевна. – В девяноста семи процентах результат положительный.

Ксения ходила с чувством: несчастный ребёнок держался из последнего, боролся за жизнь, а она убивала, изгоняла. Воспалённое сознание постоянно сверлила мысль о ребёнке, возникали картины, как он цепляется ручками, как всеми силами хочет остаться в ней, как просит пощадить, не лишать жизни. Где-то читала – уже на третий день после оплодотворения яйца зародыш обретает душу. Всего-то капелька плоти, а уже одухотворена. И девять месяцев две души, её и ребёнка, жили бы рядышком, счастливо купались друг в друге. А она рубанула...

Ревела, зарывшись в подушку. Проклинала себя – зачем, зачем так поспешно согласилась на аборт?

Аркаша каждый день возил в клинику. Понимая состояние, не лез с расспросами, молчал. Всякий раз Ксения грубо отдергивалась, если пытался погладить или взять за руку. Всякая поездка к врачу оканчивалась разочарованием. Убитый зародыш оставался в Ксении.

«Может, он мстит мне! Отравляет собой за предательство, за малодушие, за трусость!..»

Как-то из клиники заехали с Аркашей к Ксении. Она заварила чай, поставила печенье. И вдруг поняла, глядя на прихлёбывающего из чашки Аркашу, вдруг бесповоротно

осознала: а ведь не любит его больше. С этого момента никогда не испытывала к нему чувства, которое называла нежужками. Раньше волна нежности могла накрыть в самый неподходящий момент, например, на работе. Аркаша далеко, а вдруг накатит нестерпимое желание обнять его, прижаться к сильной груди, дышать родным запахом... Осыпать поцелуями... Наплевать, что женат, наплевать – не принадлежит ей до конца. Всё ерунда, ей подарено это счастье! Счастье до радостных слёз. И как не благодарить судьбу за это!

Случилось то, что произошло однажды по отношению к мужу. Пришла обыденность. Памятный чай в одну секунду провёл резкую границу «до» и «после». Аркаше ничего не сказала. Но с той поры он превратился в пресловутого «друга». Ненавидела это слово. Как не переваривала «любовника». Да надо как-то называть, когда такой формат между мужчиной и женщиной. Аркаша по-прежнему был хорошим партнёром по постели. Но не больше. Всегда мимо сознания проходили его мелкие недостатки, какие-то умиляли, к примеру пошвыркивание носом. С того момента полезли в глаза. Приходилось напрягаться, гася раздражение.

Ксения костерила себя за поспешную решимость на аборт. Куда торопилась? Ведь было время подумать два дня. В конце концов, пошла бы на хирургический. Куда её несло?! Изругав себя, схватилась за соломинку – надо исправлять совершённое. Забеременеть снова и родить. Обязательно! Да, душа появляется на третий день беременности. Но ведь не погибает, может, ей будет легче, если Ксения начнёт воспитывать другого ребёнка. Или отказника младенца взять? «Кто тебе даст, у тебя неполная семья!» – отрезвляюще проскальзывало в голове. Гнала эти мысли. Добьётся, убедит. Должна-должна-должна исправить ошибку, иначе не сможет жить. Приходили самые бредовые варианты. В соседнем подъезде жила одноклассница старшей дочери с трёхлетним сыном. Пила, не работала. Славный мальчик Гена с русыми вьющимися волосиками заброшен. «Усыновить его!» И опять в голове рассудочно: «Даже если мать согласится отдать, она ведь превратит своими пьяными визитами жизнь в кошмар».

Начала горячо молить своими словами, чтобы яйцеклетка ожила. Просила восстановить беременность. Как хотелось чуда: вот пойдёт на УЗИ, а Леночка скажет: «Вот это да! Вот это случай – у вас восстановилась беременность! Яйцеклетка ожила!» Даже представляла, как всплеснёт Леночка руками, как воскликнет удивлённо и радостно. Почему-то думала: обязательно обрадуется, обязательно начнёт поздравлять.

Молила своими словами, потом осенило: спросить у матери молитвы, которыми вымолила тётка Манефа своего старшего брата Нестора...

История с Нестором началась, как развернуло молодое государство революционные преобразования в деревне, стало колхозы организовывать. Грамотного, смышлёного Нестора председатель колхоза определил по снабженческой части. И давай гонять в Курган, в Шатрово или Шадринск. Председатель из местных, но не двоедан, православный. Мирщина, называли старообрядцы православных за то, что отошли от истинной веры. Это к слову. Доставалы из Нестора не вышло. Когда на всех не хватает, проныра нужен, который без мыла в любую щель влезет, кого хочешь уболтает в свою пользу. У Нестора недобытчивый характер. Председатель и взъелся. Послал однажды запчасть достать для колбышечника – так окрестили в деревни трактор с газогенератором. Колбышки – маленькие полешки для него. Нестор вернулся из командировки с пустым мешком. Председатель разошёлся матюгами. Нестор возьми и резани правду-матку в ответ: «Другие председатели сами ездят! А ты задницу боишься оторвать. Харю отъел! Партиец называется!» Председатель взвился от критики. И накатал «телегу» как на врага народа, припомнил, что у Нестора свояк у колчаковцев воевал. Во времена обострения классовой борьбы чего проще от неудобного оппонента избавиться. Соответствующие органы быстро на «телегу» отреагировали. По врагам тоже план сверху спускали. Скоренько забрали Нестора.

И давай человека под закон подгонять. Сам-то сразу не хотел сознаваться во вражестве. Били его, в тёмной несколько месяцев держали. Чуть не ослеп. Потом в лагерях сидел, вернулся домой в 42-м под осень. От прежнего Нестора и половины не осталось. Доходяга. Сорок пять лет, самый расцвет для мужика, а он старик стариком: дряхлый, сторбленный. Жалко смотреть.

К тому времени старший сын Иванушко двадцати двух лет на фронте погиб, средний – восемнадцати годков – Манюша, полное имя Эммануил, в Кургане умер. Из-за правого глаза – бельмом обезображен – Манюшу на боевой фронт не взяли, мобилизовали бойцом трудового – на оборонный завод. Манюша возьми и с землячкой сбеги домой. Кто уж из двоих на побег подбил – неизвестно, только дезертировали, не выдержав голодной и холодной жизни, когда сутками не выходили из цеха. За ними тут же приехали.

А потом пришло известие – умер Манюша. Осудили его за побег, в лагере умер.

Когда Нестору заворачивали руки за спину заплечных дел мастера, детки арестанта сопли на кулак по малолетству мотали, вернулся из мест несвободы – двоих сыновей уже война прибрала. Но трое детей: Минька и Санька, четырнадцать да пятнадцать лет, и двадцатилетняя дочь Коздоя – при матери. Кстати, председатель, что благословил «врагом народа», на фронте сложил буйную голову. Определили Нестора по причине физической негодности на стариковскую должность – сторожем, склады с зерном и другим добром колхозного хозяйства стеречь. Это всё, на что был способен мужик после лагерной житухи.

С полмесяца походил вчерашний зек на службу, да в одну ночь пропал. Жена утром ждёт со скудным завтраком кормильца, а нет того. Поначалу грешили односельчане в предположении: порченный лагерем Нестор на воровство пошёл. Стажил колхозное имущество и рванул в бега. Склады проверили – ничего не пропало. Да и пропадать особо нечему было.

День проходит, второй. Нет нигде сторожа. Потом пастухи из соседней деревни сказали: на болоте видели мужчину, окликнули, тот убежал. Многокилометровое в длину и вширь болото в тот год сухим стояло. Обычно весной в половодье заливало, потом вода держалась всё лето, а тут одни кочки, как табуретки, торчат. Среди них скрывался Нестор. Неделю пропадал, потом сыновья разыскали, принялся и от них прятаться, да молодые шустрой родителя. Спрашивают при задержании: «Ты чё ел все дни?» «Хо! – отвечает. – Иванушко с Манюшей меня кормили, я же с имя ушёл».

Нехорошо Миньке с Санькой стало. Какие Иванушко с Манюшей, когда на Ивана похоронка полгода назад пришла, Манюша того раньше сгинул? Опасения вскорости оправдались неутешительным диагнозом. Проблемы с головой прогрессирующий характер начали принимать. Нестор на сыновей нападать не отважился. Больной, больной, да понимал – сил не хватит справиться, парни крепкие, а вот на жену, что ростиком полтора метра, кинулся с топором. Жена увернулась. Сыновья, недолго думая, в полати четыре скобы вколотили, папку по рукам и ногам привязали. Лежит родитель в ограниченном виде, одна возможность противодействия плену – язык. Кричит, ругается. Грозилась сыновья рот завязать, но всё же эту степень свободы оставили.

Особенно материл Нестор с полатай свою сестру Манефу. На какие только буквы не полоскал. В лагере подковался на нецензурное искусство. За колючей проволокой попадались затейливые учителя. Наслушалась Манефа от брата... Она ведь стала ходить молиться за него. Каждый Божий день как управится утром с хозяйством, так и идёт. Нестор на полатах навзничь лежит, она в переднем углу перед иконами молится.

«А он кричит ей в спину, ругат её, материт распоследними словами, – рассказывала мама Ксении. – Пить попросит – дадут, дак он в её плеснёт и хохочет. Месяца два изгалялся, а потом стал ждать её. Жена Лена утром станет управляться, печку топить, он спрашивает: “Где она, Манефушка? Где она долго не идёт. Она чё ли сёдни не придёт?” – “Да придёт, корова ведь у её, надо же управиться!” Потом калитка стукнет, обрадуется: “Идёт Манефушка”. По стуку узнавал, кто идёт. Меня раз бабонька послала, я зашла, стою под полатами, он меня не видит, но спрашивает: “Марька, чё пришла? Чё надо?” А я боюсь. “Тётку Елену”, – говорю, сама к двери жмусь. “Вон она, ведьма, вон в горнице сидит”»...

К весне Нестору лучше стало, его уже не привязывали. Манефа придёт, он спустится с полатай. «Коло тебя посижу», – разместится на лавке.

Она молится, он рядом, сгорбившись, слушает.

И вымолила сестра брата. Ни к каким врачам не обращались. Поправился, его тут же в апреле, будто ждали, в армию и забрили. Ведь сорок третий год шёл, войне мужики нужны. Определили не на передовую, при госпитале. «В Москву угадал», – рассказывала мама. Работящий мужик понравился начальству. Война кончилась, его не хотят отпускать. Только осенью 46-го в Турушево вернулся.

«Такой крендель пришёл, – вспоминала мама. – Здоровый, крепкий. Потом ходил в деревне маркитанил. Мужиков мало, так он скота резал, свиней, быков. Никаких отклонений с головой не было. Вымолила тётка Манефа. Лет двадцать потом жил, и никаких заскоков...»

«Не знаю, доченька, какие молитвы читала – каноны или акафисты? – отвечала мать на вопрос Ксении. – Спросить бы дуре, ведь она к нам приезжала. И я у неё гостила не раз. Да с этой жизнью непутёвой в голове только мирское было».

Тогда Ксения верила: знай те молитвы – смогла бы вымолить младенца, оживить плод.

Позже думала: ну, что бы она вымолила, что? Тётка Манефа богомолка настоящая. А она? Но ведь и тётка

небезгрешная: мать-то с отцом она свела обманным путём...

Клирос запел «Отче наш...» Прихожане подхватили, запели беременная и дочь, при этом девочка взяла братика за руку – дескать, стой. Он послушался. Ксения в одном порыве с остальными выводила слова Господней молитвы. «Отче наш» всегда на литургии поётся на подъёме: служба подходит к концу, Бог дал выстоять её, совершить для себя маленький радостный подвиг. Ксения вдруг подумала: её ребёнок сегодня был бы таким же, как этот мальчишечка. Как раз четыре года назад сделала аборт. Сейчас стоял бы в церкви вместе с ней...

В тот день Антонина Сергеевна сделала заключение: надо удалять яйцеклетку оперативным путём. Операцию Антонина Сергеевна делала под местным наркозом. Голова у пациентки «поехала». Но услышав: «Всё!» – Ксения попросила показать удалённое. Хотела своими глазами убедиться: в ней не осталось ничего. Антонина Сергеевна подняла пробирку с мутной вспененной кровью, и среди маленьких воздушных пузырьков Ксения увидела один – миллиметра три в диаметре, водянистый – плодное яйцо. Дома ревела и ревела...

Открылись Царские врата, диакон с чашей в руках произнёс: «Со страхом Божиим и верой приступите». Началось причащение. Ксения наблюдала со стороны. Мальчишечка без напоминания сложил крестообразно ручки на груди. «Не в первый раз», – подумала Ксения. Беременная хотела поднять его на руки к чаше. Священник остановил, сам наклонился к малышу. Тот старательно раскрыл ротик, вытянув губки... Следом причастилась девочка...

Ксения вышла из храма, подошла нищенка: «Подайте Христа ради». Ксения достала из сумочки мелочь, протянула: «За раба убиенного Петра». Нищенка взяла с поклоном и заспешила к дамочке в шляпке.

А Ксении вспомнилась нищенка Вея, тоже из двоедан. О ней мама рассказывала с теплотой. И сама грелась. «Веюшка», – называла. Уменьшительно-нежными именами двоеданы нередко называли даже взрослых.

Вея жила в соседней деревне, замужняя, но бездетная и блажененькая. Рассудком дитя дитём. Словно было определено ей оставаться разумом до конца жизни в наивной

солнечной поре. Не замазаться злобой, не заразиться хитростью, не испакоститься воровством и подлостью, не запятнаться осуждением, а жить Божьей птахой, каким-то уроком для окружающих.

«Отес от у меня учитель», – с гордостью повторяла Вея.

И на самом деле «отес» был учителем по имени Илья. Года два жил в деревне. Мать Веи без мужа четырёх дочек родила. Старшие – Ивановны, да не по отцам записаны, по деду, а Вея – та Ильинична.

Жила Вея подаянием, обходя деревни в округе. И не просто христарадничала, стуча в ворота. Руку не протягивала за милостыней...

«Зайдёт Веюшка в любой дом, – рассказывала мама, – и сразу к иконам, три поклона положит и начинает спасать».

«Спасать» – молиться за живых.

«Всех, кто жил в доме, начиная со стариков и кончая всеми взрослыми, перечислит. Каждого по имени Веюшка знала. Сколь деревень в округе, всех до одного помнила. Нас-то, детей, не называла, родителей перечислит и добавит «с чадами». “Спаси, Господи, и помилуй рабы Своих (назовёт имена), избави от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни, душевные и телесные, прости им всякое согрешение, вольное и невольное”. «Кто умер, тоже до одного помнила. Поспасаает, потом начинат покоить: “Покой, Господи, души усопших раб Своих (перечислит имена). Елика в житии сем, яко человек согреши, Ты же яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй. Вечные муки избави. Небесному царствию причастники учини. Душам нашим полезное сотвори”. Никто её не гнал. Поспасаает, попокоит, её за стол пригласят: “Садись с нами, Вея Ильинична”. Покормят или хотя бы чаем напоят. С собой обязательно дадут – хлеб или картошку. По праздникам праздничное – пирожок какой, шаньгу. А Веюшка может на улицу выйти и тут же раздать детям: нате, ешьте».

«Мужа её Тихоном звали, – вспоминала мама, – ни разу с ней не ходил. Мы, ребятня, увидим Веюшку и хихикаем: Тиша послал Вею поскиляжничать кусочков».

Однажды мама ехала с бабонькой на саях. Весна, солнце вовсю, снег горит в полях. Небо яркое. Вея стоит на дороге, голову к солнцу подняла. Молилась ли, просто нежилась под пригревающими лучами...

Вышла из церкви беременная с детьми. Все трое повернулись лицом к храму, перекрестились. Мальчишечка кланялся, подрубленно роняя голову вперёд. Мать взяла его



за руку, спустились по ступенькам, прошли мимо Ксении.

- Мама, у меня братик будет? - спросил мальчишечка.

- Вот и не братик, сестрёнка, - ехидно сказала, резко повернувшись к нему, сестра.

- Братик, братик! - успокоила сына мать. - Братик!

Андрей ФРОЛОВ

## ХРАМ РОЖДАЛСЯ ТЯЖЕЛО

### ВИДЕНИЕ

В котомке квас да мятный пряник,  
Большою думой светел лик —  
В моей отчизне каждый странник  
В своем убожестве велик.

Пряма, как лезвие, дорога.  
Бела, как помыслы, луна.  
Спокойно спит моя страна,  
В своем величии убога.

Со старины привычна к боли,  
К обилью жертвенных кровей...  
Обрывки снов пасутся в поле,  
Их караулит соловей.

### ХРАМ

Храм рождался тяжело,  
Туже истины.  
Собиралось всё село  
Возле пристани.

И стучали молотки  
Лето целое.  
Поднималось у реки  
Чудо белое.

В небеса взметнулся крест  
Ярким всполохом.  
Долгожданный Благовест  
Грянул колокол!

## СВАДЬБА

На два дома поделено счастье:  
Не взирая на серенький дождь,  
Шумно, весело едет венчаться  
Из обеих семей молодёжь!

Чинны сваты, задиристы сваты.  
Поцелуи — по-русски, взасос.  
На невесте шикарное платье...  
Море радости, толика слёз!

Всё путём, по обычаям древним:  
Пир — горой...

Да ведь речь не о том.

В этой Богом забытой деревне,  
Почитай, уже есть третий дом!

## ВОРОЖЕЯ

Ходили слухи: бабка ведьма,  
Мол, ей и сглазить — плюнуть раз.  
Давно пора ей помереть бы,  
Да ведьмам слухи — не указ.

Вот и жила неторопливо,  
Мирясь со злобой языков,  
И взглядом жгучее крапивы  
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,  
Копной волос белым бела  
И подозрительно здорова...  
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи  
Утихомирилась молва...  
А на девятый день округе  
Хватать не стало волшебства.

\* \* \*

Надсадно выла автострада,  
Горячим выхлопом дыша —  
Через шоссе валило стадо  
Размеренно и не спеша.

Тяжеловесны и угрюмы,  
Как будто спали на ходу,  
Коровы медленную думу  
Жевали словно лебеду.

И снисходительная жалость  
К людской извечной суете  
В глазах косящих отражалась,  
Как в застоявшейся воде.

### СЛУЧАЙ

...На глупость сетуя свою,  
Стоял возница, мокр и зол.  
А конь, попавший в полынью,  
Не шёл ко дну... Никак не шёл!

Острее бритвы кромка льда  
Кромсала выпуклую грудь,  
И чёрно-бурая вода  
Зияла, как последний путь.

А своеволие реки  
Влекло безудержно под лёд.  
И говорили мужики:  
— Такая сила пропадёт!..

### НАБАТ

Даже глухие его услышали.  
Даже немые вскричали в ответ...  
Он разрастался, уже не стихая,  
Мощной волною врывался в рассвет!

В небе клубился и падал отвесно,  
Людям до крови сжимал кулаки.

Волей своей заострял повсеместно  
Вилы и косы, и просто штыки.

Гулкий,  
тревожный,  
надрывный,  
натужный,  
Как предвещение близкой беды...  
Даже безрукие взяли оружие.  
Даже безногие стали в ряды.

### **ПРОВОДЫ**

Впереди был дальний путь,  
Провожали стонами.  
Плач прощальный «Не забудь!...»  
Бился над вагонами.

Тяжело вздыхал баян,  
На печаль настроенный,  
Пел о том, что нету стран  
В мире лучше Родины.

Так велось со старины:  
С поводом, без повода,  
Даже если нет войны –  
Со слезами проводы.

### **ПАМЯТЬ**

Отец шагнул в родимый дом  
Из огненного круга.  
Четыре года сын с отцом  
Не видели друг друга.

Война впечатала свой след  
В их судьбы, точно в глину.  
Отцу исполнилось сто лет,  
Четыре года – сыну.

Суровый, будто трибунал,  
Молчит в дверях мужчина.  
Пацан родителя узнал,  
Тот не припомнил сына.

\* \* \*

В период коротких закатов  
Кусается злее недуг.  
Туман под деревьями матов,  
А воздух холодный — упруг.

Ночная тревожная птица  
Клянёт ледяную росу...  
И очень легко заблудиться  
В себе, как в дремучем лесу.

\* \* \*

Теперь, как и прежде, зима неизбежна.  
Хотя не морозно ещё и не снежно,  
Но в сумерках рыжих запуталось время,  
Как спички, сгорев, почернели деревья.  
А небо готово на землю свалиться,  
И первыми это почуяли птицы  
И, вскинувшись, высь надо мной раскачали.  
И сердце застыло в предзимней печали...

\* \* \*

В деревне Коровье Болото  
Совсем не осталось коров,  
Да и от деревни всего-то —  
Двенадцать замшелых дворов.

Воюет старик-долгожитель  
С колодезным журавлём:  
— Помрём-то когда же, скажите?  
Ведь всё же когда-то помрём...

Горбатятся крыши косые,  
Хребтами белеют плетни...  
Храни, Вседержитель, Россию!  
И эту деревню храни.

## АГРОНОМ

Может, вы о нём слышали —  
Спорить не берусь:  
Просыпался с петухами,  
Брился наизусть.

Ставил мерина в оглобли,  
Отводил плетень,  
Понукал — вороны глохли  
В ряде деревень.

Вдоль дорог стога мелькали,  
Ёжилась стерня...  
Впереди всходили дали  
В свете трудодня.

## ГРУЗОВАЯ

### 1. УТРО

Дробный пробег трамвая,  
Окон неяркий свет —  
Улица Грузовая  
Гнётся под грузом лет.

Улочки невеликой  
Знатный абориген,  
Батя скрипит калиткой,  
Валенки — до колен.

Заново узнавая,  
Смотрит из-под руки:  
Улица Грузовая,  
Тусклые огоньки.

### 2. ВЕЧЕР

Пахнет вареньем клубничным  
И самоварным дымком.  
В ярком трико заграничном  
Вылез на свет уличком.

У доминошников ярых  
Неиссякаем задор.  
В местных, незлых, кулуарах  
Бабки ведут разговор:

— Давеча было такое,  
Даже не верю сама!..  
Сделав зигзаг над рекою,  
Сумерки лезут в дома.

### 3. ПОЛНОЧЬ

Улочка, наспех запорами клацая,  
Бредит, ко сну отходя.  
Пряный настой расплескала акация  
После шального дождя.

Неподалеку прононсом диспетчера  
Сонно бормочет вокзал.  
Стихло.

Стыдливо из Космоса вечного  
Месяц рога показал.

Дедова липа над крышей сутулится,  
Скрыв от напастей жильё...  
Если бы этой не было улицы,  
Я бы придумал её!

\* \* \*

Всю-то жизнь мой отец слесарил,  
Почитая свой труд за честь.  
Под руками его плясали  
Все металлы, что в мире есть.  
Размечал заготовки, резал  
И паял, и клепал — за грош.  
И шутил:  
— Я тебе из железа  
Чёрта сделаю, если хошь...

А теперь, как его не стало,  
Прихожу я с вопросом:  
— Бать,  
Из какого, скажи, металла



Мне для сердца броню склепать?  
Слишком много на нём отметин —  
Так болит, что уж мочи нет...

Прошуршал над погостом ветер  
И принёс мне отцов ответ:  
— Ты, сынок, только с виду умный,  
А на деле — как есть дурак.  
Тех, кто ходит с плитой чугунной  
Вместо сердца, полно и так.  
Ты подумай-ка головою:  
С железякой в груди ты б смог?  
А болит... Знать, оно живое,  
И ты этим гордись, сынок...

\* \* \*

Родина любимей не становится  
С добавленьем прожитых годов.  
По моей судьбе промчалась конница —  
Глубоки отметины подков.  
Выбоины тотчас же наполнила  
Светлая небесная слеза.  
Сердце от рождения запомнило  
Родины усталые глаза,  
Спрятанную в сумерках околицу  
И дымки лохматые над ней...  
Родина любимей не становится,  
Родина становится нужней.

Нина ЯГОДИНЦЕВА

## «Душа моя — к тебе...»

\* \* \*

*Михаилу Стригину*

...О, я угадаю, наверно, не скоро,  
Какими судьбами мы в небе носимы...  
Высокие амфоры зноя морского  
Везёт караван через душные зимы.

Сломать бы сургуч, приложиться губами  
К шершавому горлышку с привкусом глины —  
Но волны, что прежде несли и купали,  
Беззвучно уходят в ночные долины,

И амфора, ахнув, ложится на камень  
Тяжёлым округлым коричневым боком —  
И влажно блестит в полутьме черепками,  
Как частыми звёздами в небе глубоком.

И жажда моя неутешна отныне,  
И сколь ни мечтаю забыть — бесполезно,  
Как ветер качает мосты навесные —  
Пути караванов сквозь гулкие бездны.

\* \* \*

Как тополиный пух к протянутой ладони —  
Душа моя к тебе. Любого сквозняка  
Достаточно — о нет, хотя бы просто вспомни,  
И словно бы ко мне протянута рука.

Душа моя — к тебе... Тончайших этих линий  
В горячей пустоте прочерчено насквозь  
Бесчисленно, и я пушинкой тополиной —  
Нежданная печаль или незванный гость —

Тревожу твой покой, и вся его громада  
Колеблется, дрожит и рушится к ногам...  
О, тополиный пух – июньская досада,  
Прибитая дождём к дорожным берегам, —

Он всё ещё летит с закрытыми глазами!  
Вот так душа моя, не ведая обид,  
В июне как во сне, в миру как на вокзале,  
К тебе летит...

\* \* \*

В терпких, вороньих, ворованных сумерках,  
Словно в замызганных клетчатых сумках, —  
Яблоки, яблоки, солнечны, крутобоки:  
Смятые листья, надорванные оборки,  
Синее кружево с тёмною позолотой...

Вспомни меня в саду Твоём за работой  
Дотемна, до вороньих, до сладкой усталости —  
В августе, Господи, когда яблоки выспели,  
Ветви от тяжести вытянулись до хруста  
И невозможно печалью не задохнуться.

\* \* \*

Огонь неизбежного ада  
Неведомой клятвой заклят:  
Сквозь влажную ткань листопада —  
Закат.

О, эти небесные ткани  
Надёжнее стен крепостных!  
То пламя, то холод рывками  
Колеблют их —

Но падают в страшную бездну,  
Откуда нежданно пришли,  
И я замираю безвестно  
У края земли:

Ничем ни одну не меняя  
Из наших губительных тайн,  
Струится, сердца заслоня,  
Прозрачная ткань,

И многое видно за нею —  
Не в силах глаза отвести,  
Одно повторяю, немея:  
Прости...

\* \* \*

За три дождя одежда трижды промокла.  
На повороте была деревенька Ёква.  
Дальше стеной стояла тайга, и в неё река  
Уходила как птица под облака.

А в деревеньке было печально пусто,  
Только сырой смородины злое буйство  
У тёмных срубов, продавленных небом крыш...  
И казалось, ты не идёшь, а спишь:

Тропа на глазах зарастает гусиной травкой,  
В бурьяне в прах рассыпается ржавый трактор,  
По ветхим заборам струится ручьём вьюнок —  
И только над самой дальней избой дымок

И женский взгляд за белую занавеской —  
Беспечальный, пронзительный, занебесный...

\* \* \*

В печали ты ясна, а в радости жестока.  
Но я тебя люблю и помню лишь о том,  
Как сладко пить вдвоём твоё вино восторга,  
С неведомой войны вернувшись со щитом.

В печали ты ясна, в печали ты прозрачна,  
И тайной глубиной мерцаешь, как звезда —  
Но страшно пить вдвоём твоё вино удачи:  
Ты выбираешь раз и губишь навсегда.

Не родина, не мать — одной любви под силу  
Простор твоей души, пожар твоей крови.  
Но только для тебя я эту жизнь просила,  
И отдаю тебе — как хочешь, так крои.

В печали ты ясна — я повторяю это  
Как заклинанье — вслух, и вся печаль во мне  
Восходит словно свет, а то, что прежде света,  
Жемчужным холодком покоится на дне...

\* \* \*

Сквозная память, тайная беда,  
Извечное кочевье в никуда...

Бессонницы зелёная звезда  
Бессмысленно горит в пустых осинах,  
И низко-низко виснут провода  
Под тяжестью вестей невыразимых:

И острый скрип несмазанных колёс,  
И полуптичьи окрики возникших,  
И сладковатый вкус кровавых слёз,  
Из ниоткуда памяти возникших,

И слабый крик младенца, и плащи,  
Трепещущие рваными краями,  
Безмолвно раздувающие пламя  
Нощи...

Ты знаешь всё. Раскрыты небеса,  
Как том стихов, и смятые страницы  
Сияют так, что прочитывать нельзя,  
И силятся вздохнуть и распрямиться.

\* \* \*

Ещё в осеннем, выйдя из-под  
Сырого снежного крыла,  
Поблёскивая золотисто,  
Речушка мелкая спала,

Как будто с неба в сон упала,  
Как будто всю впитала тишь...  
Но задыхал весенним палом  
Сухой обветренный камыш —

И волны мечутся, и мнутся,  
И задыхаются у дна:  
О, как боится прикоснуться  
К спалённым берегам она...

\* \* \*

Покуда нет в тоске таинственного брода,  
Пока она стоит, как тёмный океан,  
И ты на берегу, и так проходят годы,  
Тебя из тишины зовя по именам —

Покуда нет в тоске ни паруса, ни лодки,  
И скользкого бревна не вынесет прибой,  
И все слова пусты, и все надежды кротки,  
И ты на берегу, и только Бог с тобой —

Покуда нет в тоске рассвета и заката,  
Зелёный сумрак сна и каменная гладь,  
Всё кажется: тебе какой-то смысл загадан,  
И если ты его сумеешь отгадать —

Как посуху пойдёшь! И только Бог с тобою,  
Когда из глубины, незримые почти,  
Проступят как прожгут пучины под стогою  
Диковинных существ холодные зрачки...

## ПРОЗА

Василий ОМЕЛЬЧЕНКО

## ОГОЛЬЦЫ\*

## 1.

Кто знает, чем он выделил ее из целого мира девчонок. Когда впервые увидел ее, на душе стало одновременно и грустно и весело. Ему хотелось, чтоб она смотрела только на него, разговаривала только с ним. И хотелось делать что-то такое, чтоб она обращала на него внимание.

Он не задумывался, что с ним происходит, но чувствовал — что-то новое, непривычное, необычное и несказанно приятное.

О том, что происходило в его душе, он никому не говорил и не хотел говорить. Это была тайна за семью замками. И у него впервые появилась потребность побыть одному. Если брат куда-то уходил, Сережку это не обижало, как раньше. Напротив, он радовался, что оставался один. Бывая один, он вдруг стал замечать то, что раньше не замечал. Он как бы прозрел, что ли. Хлебный магазин, например, что на углу и тот стал другим, раньше он был для него просто хлебным магазином, а теперь увидел, что в витрине — сказка! Лежат, красуются лоснящиеся, точно только вынутые из печи, булочки, батоны, бублики, калачи, рогалики, ватрушки, плюшки витые и все такое красивое!

А в сквере видел только скамейки да клумбы, а какие изумительные цветы — никогда на них не обращал прежде внимания. И росу на лепестках и пчелок никогда вроде не видел. Раньше ему казалось, что в сквере тихо-тихо, а теперь он слышал тысячи звуков: шелест, шорох, гуденье, подвист какой-то пичуги... и он, Сережка, останавливался, прислушивался и расплывался в улыбке — как хорошо-то вокруг! Как прекрасна жизнь!

Мир словно бы раздвинулся и он, Сережка, шагнул в него, изумляясь его многообразию и млея от какого-то приятного предчувствия чего-то нового и прекрасного, что вот-вот произойдет с ним. Или уже произошло, но должно быть еще лучше — прекрасному нет предела!

Он смотрел на мир новыми глазами и ему казалось, что все, что находится вокруг него — это его и для него: деревья, трава,

---

---

\* журнальный вариант

цветы, небо, облака, птицы, солнце — он вдруг обрел весь мир...

И ему очень сейчас хотелось, чтоб скорее наступил завтрашний день. И потому, что завтра они должны пойти в лес. И потому, что завтра всегда лучше, чем сегодня. И потому что подумал вдруг, что девчонка эта, Люда — самая красивая, самая лучшая! И когда он так подумал, его пронзило неистовое мучительно-сладостное желание — заступаться за нее, всю жизнь заступаться за эту девчонку!

## 2

То июньское утро было солнечное, томное и какое-то праздничное. Праздничным оно казалось Сережке потому, что из черной, услужливо наклоненной тарелки репродуктора лилась веселая маршевая музыка и в это утро они завтракали всей семьей, с отцом, то есть. Отец обычно вставал на рассвете и все еще спали, когда он уходил на аэродром. А сегодня было воскресенье и отец должен весь день быть дома.

Голый по пояс, широко расставив ноги в парусиновых сапогах, натянувшихся на коленях, стоял он, полусогнувшись над эмалированным тазом и кричал от удовольствия, когда Сережка поливал его шею и плечи холодной, с «иглолочками» колодезной водой. Спина и плечи у отца совершенно белые, а лицо и шея выше воротника темные от загара. И кисти рук темные, словно он в перчатках. Сережке нравится наблюдать как моется отец. Он всегда это делает неторопливо, со вкусом. И моется до тех пор, пока под его крепкими ладонями, растирающими спину и грудь, не раздастся хрустящий звук чистого тела. Тогда он удовлетворенно крикнет и скажет «Порядок!» Вообще-то он, Сережка, не любит, когда кто-нибудь крикает, как утка, но у его отца это получается по-особенному, как-то здорово и смачно.

Праздничным казалось это летнее утро Сережке и потому, что после завтрака они отправятся в лес. Предложение о походе в лес старший брат принял с энтузиазмом, но когда узнал, что с ними должна пойти и Люда, недовольно бросил:

— Терпеть не могу девчонок!

На завтрак мать приготовила вареники с творогом — любимое блюдо отца. И Сережки. И его брата. Они любят все, что любит отец. А мать обожает то, что обожают они все. Отец вареники похвалил. И ребята не замедлили сказать, что вареники мировейшие. Мать улыбнулась довольная, вышла на кухню и в это время музыка в репродукторе вдруг замолчала и после тягучей паузы диктор напряженным голосом сообщила, что работают все радиостанции



Советского Союза. Несколько раз сказала, что работают все радиостанции Советского Союза.

Застыла в настороженности мать, ступившая на порог с тарелкой лоснящихся от масла вареников. Перестал жевать отец. Он медленно кладет на стол вилку и становится очень серьезным. И суровым.

— Это война, — говорит он глухо.

Мать ничего не говорит, держит в руках тарелку с варениками и растерянно смотрит на черный репродуктор.

— Граждане и гражданки Советского Союза! — раздается знакомый голос Молотова, — Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке с самолетов наши города Киев, Львов...

У матери вздрогнули губы. Братья смотрят то на репродуктор, то на мать, то на отца. Отец чувствует, что все ждут, что именно скажет он и старается быть спокойным. Не поднимая глаз, он неторопливо, совсем обычно достает из кармана галифе пачку папирос, тоже совсем обычных, «Пилот» — отец имеет самое прямое отношение к авиации, готовит самолеты к полетам. Не закурив, откладывает пачку на край стола, застеленного цветастой клеенкой, пристально смотрит на пачку папирос, поправляет ровнее, чтоб края ее совпали с углом стола. Потом снова берет папиросы и переворачивает их лицевой стороной, на которой изображен быстрокрылый истребитель с красными звездами на крыльях и фюзеляже.

— Та-ак, — произносит он глухо и поднимает голову. Лицо у него суровое и словно отлито из металла. Приглаживает ладонями зачесанные вверх (под Ворошилова), чуть курчавившиеся волосы, медленно поднимается из-за стола, так же медленно застегивает наглухо воротник гимнастерки с тремя рубиновыми треугольниками и золотистой «птичкой» на петлицах, направляется к двери, снимает с вешалки широкий, простроченный восьмерками ремень, подпоясывается со скрипом свойственным хорошей коже, говорит обычное, привычное всем:

— Я — на работу...

И задерживает взгляд на сыновьях. Глаза у них вопрошающе распахнуты, уши — топориками. Отец понимает, что они еще не осознали до конца, что произошло. Да и вряд ли в эту минуту кто-то ясно понимал — что теперь будет.

## 3

Война!.. А во дворе солнечно и тихо.

Война!..

Где-то жужжит пчела, зудит муха, попавшая в паутину. С реки доносятся веселые голоса лягушек — на погоду. Возле сарая возятся в пыльной трухе огненно-рыжие куры, рядом с ними прыгают бойкие воробьи. В глубине двора спокойно дремлет в тени своей крытой железом конуры старый Дозор. Он свернулся калачиком и морду накрыл хвостом — спрятался от всего мира. Не знает страж двора, что через неделю ворвутся сюда чужие люди иль нелюди и когда он подаст голос, его пришьют к земле автоматной очередью. А пока он спокойно мирно дремлет.

Война!..

Кругом все так тихо. Даже листья не шелестят на деревьях. Иногда, правда, слышно как на акациях трескаются стрючки и просыпаются на землю семена будущих деревьев. По шероховатой коре груши торопливо и деловито ползет вверх радужная пушистая гусеница. Куда она так спешит? И на плече у Сережки гусеница. Он берет ее двумя пальцами. Она, маленькая, сворачивается в колечко, пушистое такое, прячет голову.

— Раздави ее, — брезгливо морщится Пашка.

— Зачем?

— Она приносит вред.

Сережка это слышал, но ему не очень верится, что она, такая махонькая и красивая, может приносить вред. И вообще, когда он видит вот такие крохотные существа, гусеницу, жука, муравья ли, ему иногда приходит в голову простая и страшная мысль: вот ползет, бежит это, живое и ему, человеку, ничего не стоит наступить. И в то же время ничего не стоит и не наступать. И все зависит только от него, от какого-то сопляка Сережки. Он предпочитает не наступать — жить лучше, чем не жить. Ему ведь тоже не хочется умирать. И он, может, никогда не умрет — все может быть... И гусеница эта пусть себе живет. Пусть все живое живет!

Сажает это ничего не подозревающее существо (жить ему или не жить) на трюхлявый сучок груши. Гусеница ползет сначала вверх, на край сучка, потом возвращается обратно, к стволу и, волнисто выгибая пушистую радужную спинку, торопливо бежит вверх. Где-то она найдет укромное местечко, уснет и потом проснется уже бабочкой, красивой-прекрасивой. И когда она проснется, войны уже, наверное, не будет. Что-то здесь не то — война... Какая-токая война,

откуда и зачем?

— Смотрите, смотрите! — раздалась голоса.

На улице народу... женщины, девчонки, пацаны, старики и старушки стоят группами и смотрят вверх. Небо безоблачно, темно-темно-синее. Братья ничего не видели пока, кроме неба.

— Это наш, — авторитетно произнес старик, опираясь на палку.

Братья переглянулись, смекая, что речь, конечно, о самолете. И их даже немного рассмешил тон старика, которым он сказал «это наш» — а чей же еще, немцев, германцев этих, что ли!?!..

— Вон он, во-он! — обрадовано крикнул Пашка. Тут и Сережка наконец заметил на синем фоне неба крохотный, словно игрушечный ярко-серебристый самолетик. Он летел высоко-высоко и очень медленно, как планер.

— А может и разведчик, — неуверенно обронил дед.

— По-моему, разведчик, — с непонятым азартом подтвердил Пашка.

В чем — в чем, а в самолетах он разбирается. И Сережка тоже. Они знают истребители «чайки» и «ишачки», которые испытывал Чкалов, бомбардировщики СБ (скоростные бомбардировщики) и ТБ (тяжелые), которые летчики называют гробами. Отец — моторист... Этот же самолетик, что парит сейчас в небе, не похож ни на один из тех, которые ребята знают. До боли в глазах вглядываются в махонький серебристый самолетик пока совсем безобидный — неужто там сидит фашист? Тогда почему не взлетают наши соколы?

Об этой думали все и кто-то с уверенностью сказал:

— Сейчас наши поднимутся и дадут ему чёсу!

Никто не поднялся, никто не дал «чёсу»... Самолетик покружил-покружил и, не торопясь, свалил к горизонту.

Вечером отец рассказал, что это был немецкий разведчик.

А на следующее утро город бомбили. Удивительная способность человека ко всему привыкать: первый разрыв бомбы Сережке показался таким жутким и страшным, что хотелось закрыть глаза и уши и превратиться в маленькую-маленькую букашку, забраться-заползти куда-нибудь подальше и поглубже от этого раздирающего тебя на части смертоносного грохота. А к вечеру того же дня он уже не затыкал ушей и смотрел, не моргая, как отрывались от самолетов с черными крестами темные сосульки-бомбы.

Первые бомбы упали на железнодорожный мост, аэродром и госпиталь. Мост остался цел, госпиталь тоже, а на аэродроме сгорело несколько самолетов и два ангара.

Дома теперь отец не ночевал. На несколько минут забегал днем, похудевший, в выгоревшей гимнастерке, пропахший бензином и полынью. Торопливо брился, менял майку и портянки, наскоро съедал борщ и бежал на аэродром.

Через несколько дней к дому подкатил запыленный грузовик, из кабины выскочил отец и, стараясь говорить спокойно, сказал:

- Давайте быстренько в машину!
- А вещи, – спросила мать.
- Вещи... потом...

«Потом» не было. Потом был эшелон. Мать что-то сунула Сережке в руку, что-то схватил Пашка, что-то кинул в кузов отец. И они поехали.

На руке у Сережки был браслет, которого он стеснялся. Браслет этот не имел ничего общего с обычными браслетами – ни красоты, ни изящества в нем. Сделан он был из обыкновенной клеенки, еще вчера лежавшей на кухонном столе. Клеенку порезали на ленточки – браслеты. Мелким, разборчивым почерком написали фамилию, имя, отчество, дату и место рождения – вдруг в пути случится что-нибудь, чтобы знали кто ты и что ты.

Ехали в теплушках. Кроме тети Веры, материнной подруги, было еще человек пятнадцать курсантов, занимавших всю другую половину вагона и верхние нары.

Эшелон, увешанный ветвями берез и тополей, тащили два мощных паровоза ФД (Феликс Дзержинский). Это был второй эшелон. Первый отправился раньше, на рассвете. В нем ехали семьи военнослужащих, в нем, наверное, ехала и Люда, потому что при погрузке в свой эшелон Сережка ее не видел. А их, второй эшелон, вез оборудование, приборы, несколько полуразобранных самолетов, курсантов летного училища и три-четыре семьи, которые не успели на первый эшелон.

В вагоне, у стены, рядом с ведром воды, в котором плавал мокрый фанерный кружок – чтоб не выплескивалась вода, стояли новенькие десятизарядные винтовки, под нарами в железных ящиках лежали вроссыпь патроны, гранаты и прямо на полу несколько дисков для ручного пулемета. Все это братья сразу же заметили и тайком успели пощупать, а один диск открыли и не смогли закрыть и теперь страшно переживали, что их шкода обнаружится.

Отец ехал на соседней платформе. Там стояли притянутые к бортам толстой ржавой проволокой какие-то высокие ящики, а по краям платформы были установлены два турельных пулемета, снятых с разобранных самолетов.

Никто не знал, куда идет эшелон. Ходили слухи, что в Сибирь. Мать боялась Сибири пуще огня да и для ребят это слово имело мрачноватый смысл. Сибирь — это непроходимая тайга, топкие болота, жуткие морозы, говорят, плюнешь — комочек льда упадет. А у них ни у кого нет валенок. Об этом мать уже не раз успела напомнить отцу. Он говорил, что валенки купят и шутил: какая, мол, там зима — сентяп, октяп, тяп-тяп и май... А курсанты подсказывали: двенадцать месяцев зима — остальное лето!

Все вели себя бодрее обычного и старались шутить.

#### 4

На одной из станций догнали первый эшелон. Он стоял на соседней линии — то ли менялась бригада, то ли паровоз набирал воду или пополнял запасы угля. Увидев знакомые лица, Сережка так обрадовался, что закричал что было мочи:

— На-ши, наа-а-аши!

Все прильнули к двери с необтесанной перекладиной, замахали руками, платками, пилотками. Пашка колотил кулаком по перекладине, Сережка с озаренным лицом во все глаза смотрел на пробежавшие мимо вагоны, ловил знакомые и такие родные сейчас лица и ему было так радостно видеть их всех, будто все, кого он видел, были самыми близкими ему и будто он не видел их тысячу лет. Радостно было еще и оттого, что он был уверен — сейчас увидит и Люду... И помашет ей рукой. И крикнет что-нибудь. Как приятно видеть знакомых людей! Он никогда еще не испытывал этого чувства так остро, как теперь. Он смотрел во все глаза, но ее, к своему великому огорчению, не видел. Вот промелькнул уже и паровоз, чадающий дымом. Не остановились...

Когда станция осталась позади, когда женщины переговорили о том, кто кого видел и кто что кричал, Пашка сказал брату:

— А я видел эту, из твоего класса.

— Кого? — спросил Сережка, хотя прекрасно знал, о ком речь.

— Людку, — небрежно обронил брат.

— А-а... — будто бы совсем равнодушно протянул Сережка, в душе мучительно завидуя брату и досадуя, что не он увидел Люду, а Пашка. Как же он, Сережка, проворонил ее? Интересно, а она его видела?

Стоя у шершавой перекладины, он смотрел на проплывающую степь, неровную, с плавно поднимавшимися холмами и так же плавно опадавшими, смотрел на редкие березовые рощицы, мелькавшие телеграфные столбы, по

которым неумолимо бежали солнечные блики и думал: почему Пашка увидел ее, а он нет? И еще пришла в голову мысль: а почему он думает об этом? Где-то идет война, а он думает о какой-то девчонке. Надо бы думать о чем-то другом, более важном, более значительном. О Родине. О Сталине. Интересно, как он там сейчас у себя в Кремле? Что делает? Сидит, конечно, над картой страны или ходит по кабинету в начищенных до блеска сапогах и трубкой в руке. Думает, думает, думает. О таких, как он, Сережка. О том, как быстрее разгромить врага. Какие же дураки эти немцы, нашли на кого нападать... Да Сталин их в два счета!..

В вагоне было жарко, но по спине у Сережки пробежали мурашки. Он не мог спокойно думать о вожде. При мысли о Сталине всегда хотелось выше поднять голову. По телу разливалось тепло при мысли о нем. От нежности к нему, от гордости за него. От счастья, что ты родился именно в этой стране, правит которой великий Сталин.

И сейчас Сережка чувствовал себя виноватым перед ним, что так давно не думал о вожде. Вспомнил, как недавно, когда у них дома собрались гости и все выпили, кто-то задал ему, Сережке, откровенно говоря уже прилично приевшийся вопрос: кого он больше любит, отца или мать. Иногда он, Сережка, говорил, что любит одинаково отца и мать, иногда говорил, что мать любит вот на столечко (показывал на кончике мизинца) больше, чем отца за то, что она — мама, а в последний раз, когда его спросили, кого он больше любит, отца или мать, он неожиданно для всех и даже для самого себя вдруг сказал: Сталина!

И все захлопали, будто он это сказал на сцене. Кто-то похлопал его, Сережку, по плечу: «Ну, молодец!» У матери на глазах выступили слезы. Отец приосанился, в душе, видимо, гордясь таким сыном. Был доволен и он, Сережка, можно сказать, был счастлив: он сказал правду! Действительно в последнее время дорогого вождя он любил больше отца и матери, его прямо-таки переполняло до краев чувство любви к великому Сталину. Каждый день в школе на линейке вместе со всеми он, Сережка, пел песни о нем, каждый день думал о нем и вот несколько дней голова у Сережки была занята какими-то другими, непривычными для него мыслями о... Он хотел употребить слово «какой-то», девчонке, то есть, но чувствовал, что это слово не лепится к ней, к ее светлому личику и доброму-доброму взгляду, всегда чему-то чуть удивленному, будто она каждый раз видела что-то новое и несказанно прекрасное.

Забыв великого вождя, он, Сережка, снова стал думать о

Люде, о том, что не увидел ее. О том, что, если опять их эшелоны встретятся, то он уже ее не прогавит.

И смотрел в степь, и вдруг ясно увидел ее лицо, прямо на вращающейся степи. И оно напомнило ему другое лицо. А может то, другое, лицо напомнило ее лицо. Она очень на кого-то похожа. На кого же? Сережка посмотрел на брата, на мать, перевел взгляд на курсантов. Как хорошо, подумал, что люди не могут слышать мысли других. И высунулся в проем двери: не покажется ли где-то первый эшелон...

Через несколько часов на одной из станций первый эшелон догнал их и теперь медленно-медленно проезжал мимо. В вагоне снова радостное возбуждение. Все высыпали из поезда, а он, Сережка, остался в вагоне: сверху было лучше видно. Он не пропускал ни одного лица. Он видел знакомых ребят и их матерей. Они махали руками, улыбались, что-то кричали. Увидел Толика Ромашку, смуглого, похожего на цыганенка, тот кричал: «Сережка! Сере-ежка!», а он — ему: «Толька! То-олька!» И столько было радости в этих когда-то обычных обращениях. Сейчас все обретало иную ценность.

И вдруг увидел ее, Люду. Она стояла на цыпочках, положив руки на такую же, как и в их вагоне, перекладину, а подбородок — на кисти рук. Она тоже заметила его и улыбнулась. Очень светло улыбнулась. У него аж под ложечкой запекло. И он улыбнулся, расплылся до ушей. Он хотел ей что-то крикнуть и помахать рукой. Но не сделал этого, а только смотрел на нее и улыбался. А потом ее, Люду, заслонила какая-то женщина. Она, Люда, еще выглянула, уже из-под перекладки и уже без улыбки. И исчезла. Ее, наверно, кто-то оттащил от двери.

Состав шел медленно, Сережка еще долго держал в поле зрения ее вагон — она не показывалась. Вагон, в котором он видел ее, был внизу в чем-то белом, с тормозной площадкой, самая нижняя ступенька которой была отломлена. Он запомнил его, чтобы в другой раз заметить издали.

Немного погодя поехал и второй эшелон. И Сережка снова смотрел на вращающуюся степь и снова видел Люду. Видел, как она улыбается. И тут он вдруг вспомнил, на кого она похожа. Она похожа на Василису Прекрасную, фильм о которой он недавно смотрел. Да, на Василису Прекрасную. У нее точно такие же глаза, светлые и добрые. И улыбка, как у Василисы Прекрасной, светлая и очень добрая. Когда он увидел, как Змей Горыныч похитил Василису Прекрасную, то сжал кулаки и чуть не кинулся к экрану. И когда Иванушка отправился ее выручать, то отправился ее выручать и он, Сережка. А когда Иванушка вступил в бой с

трехглавым змеем, то это уже был не Иванушка, а только он, Сережка. Это он, Сережка, рубил змею головы. Это на него, на Сережку, обрушивал Змей огонь и воду. Это он, Сережка, спас ее, Василису Прекрасную. А потом все исчезло, в зале загорелся свет и ему, Сережке, стало очень грустно. Что Василиса уехала с Иванушкой. Он, Сережка, ничего не имел против этого смелого доброго молодца. Он полюбил его. Но все-таки завидовал, что она уехала с ним. Потом подумал: это же в кино... И артистка, которая играла Василису Прекрасную, на самом деле ни с каким Иванушкой не уехала. Она где-то так же идет по городу, как он, Сережка и ничегошеньки не знает о его существовании. И в тот же день он решил, что обязательно найдет ее и женится на ней. Ничего, что ему мало лет. Подрастет. И непременно найдет и женится на ней. Вечером, укладываясь спать, он мечтал увидеть свою будущую невесту во сне. Но приснилась ему почему-то Баба-Яга. А потом он забыл о Василисе Прекрасной и вспомнил о ней лишь сейчас, когда минуту назад увидел улыбающуюся ему Люду. Она действительно точь-в-точь как Василиса Прекрасная. Только чем-то еще лучше. И он подумал, что это она, Василиса Прекрасная похожа на Люду, а не Люда на нее.

## 5

Сперва эшелон сопровождали несколько «чаек». Потом они улетели куда-то и появились другие самолеты, незнакомые, с черными крестами на крыльях и с неприятным воем. Захлопали зенитки, торопливо и сухо застучали на соседней платформе пулеметы. Курсанты расхватили винтовки и, устроившись на верхних нарах, открыли пальбу из окон. Что-то треснуло, с потолка посыпались щепки, одна упала в ведро и покачивалась на волнах лодочкой. В открытую дверь залетали комья земли, пучки травы. Эшелон, не сбавляя скорости, летел на полных парах. Паровозы неистово ревели, словно стараясь заглушить сиренный вой самолетов и трескуче гулкие разрывы бомб.

Вдруг вагон содрогнулся, будто споткнулся о что-то и резко затормозил — все вмиг оказались на полу. Сережка снова хотел забраться на нары, но мать прикрикнула: «Лежи!». Под нарами, громыхая и клацая ручкой, каталось пустое ведро. Еще раз содрогнувшись, вагон на секунду замер, оглушительно громко лязгнув буферами и пошел назад, сначала медленно, потом быстрее и быстрее.

— Мы едем назад, мама, — сказал Пашка.

— Да-а... — отозвалась она, и в ту же минуту вагон снова



споткнулся, рванулся вперед и остановился, скрежеща тормозами.

Все засуетились, устремились к двери с перекладиной. Сережка стукнулся об нее головой. Увлекаемый матерью, упал на хрустящую насыпь из желто-белых ракушек. Мать потянула его и Пашку под вагон, но Сережка боялся под вагон. Он вырвался и побежал в степь, подальше от этого поезда.

– Стой!! Куда? Ложись!

Он продолжал бежать. Он мчался к небольшой березовой рощице, которая была рядом и в которой он видел спасение. За спиной услышал топот чьих-то ног и оглянулся – отец.

– Ложи-ись, – кричал он, – ложи-ись!

То здесь, то там высоко всплескивалась от разрывов бомб земля и Сережке казалось, что стоит лечь и бомба угодит прямо в него. Не слушаясь отца, он продолжал бежать. Настигая, отец подставил ему ножку, и они вместе плюхнулись на землю. Отец навалился сверху и прикрикнул строго: «Лежи!» Он еще что-то сказал, но Сережка не расслышал. Мелькнула стремительная тень, он зажмурился и почувствовал, как вздрогнула земля и еще почувствовал, что отец вдруг стал очень тяжелым.

...Сколько продолжался налет? Может – минуту, может – час. Когда все стихло, Сережка открыл глаза. На травинку взбирался муравей, рядом суетились жуки-солдатики, черные, с красными крапинками на спинах. Он зашевелился, но отец не сделал ни одного движения, чтобы помочь подняться.

– Улетели, – сказал Сережка сильным голосом.

Отец ничего не ответил. Огромный и тяжелый, он лежал неподвижно, уткнувшись лицом в траву.

– Уже улетели, – повторил Сережка громче.

Отец молчал. И не двигался. Сережка осторожно выполз из-под него, тронул за плечо.

– Правда, улетели, – тише сказал он, почти шепотом сказал. И отец опять ничего не ответил, не шевельнулся даже.

– Да улетели же, ты слышишь? – закричал Сережка и в исступлении принялся трясти отца за плечи. – Па-па! Па-а-па!..

Чьи-то руки оторвали его от отца, поставили на ноги. Он снова бросился к недвижно лежащему отцу, но Сережку оттеснили курсанты. Появились брезентовые носилки, подбежала мать и Пашка. Плотнo сомкнув губы, она больно прижала Сережку к себе, потом кинулась к носилкам и когда их понесли, шла рядом, цепко держась за край носилок.

— По ваго-о-онам! — раздалась команда коменданта эшелона и все устремились к своим вагонам, мать растерялась, рванулась к санитарному, куда несли отца, потом в сторону своего вагона.

— Идите к детям, идите к детям, — кто-то сказал ей и она, схватив за руки сыновей, побежала к своему вагону, спотыкаясь и на ходу оглядываясь.

Долго, очень долго шел эшелон без остановки. Мелькали разъезды, проносились какие-то станции, домишки, огороды, окруженные цветущими подсолнухами, уже понуро склонившимися к земле свои тяжелые желтые шапки. Рядом долго бежала за эшеленом проселочная дорога. Потом она свернула в сторону, к дубовому леску, под которым, как-то по-заячьи уткнувшись в обочину носом, стояла полусгоревшая полуторка. И снова степь, степь, степь. Неубранные хлеба, ровные, спокойные, бурые от спелости, поросшие местами желтой сурепкой и синими васильками. Как только показывались новые строения, Сережка ждал, что эшелон вот-вот сбавит скорость и остановится. Но эшелон не сбавлял скорости и не останавливался. Он остановился лишь к вечеру, у семафора, в сосновом бору. Мать прыгнула на насыпь и побежала к голове поезда — к санитарному вагону. Братья тоже хотели последовать за ней, но один из курсантов их придержал: не надо, посидите здесь...

Мать вернулась скоро, в сопровождении знакомого ребятам военного и никак не могла попасть ногой на железную ступеньку шаткой лесенки, хотя ей помогали и сопровождавший, и курсанты.

— Ничего, ничего... — сказала она и погладила по голове своего младшего, потом старшего. Сережке не понравилось как это она говорила. И Пашке. Они смотрели на нее вопросительно-строго, будто она ничего еще и не говорила.

Через несколько минут снова раздалась тревожная команда «по вагонам!» и поезд тронулся.

Быстро спускались сумерки. В вагоне было полутемно и тихо. В проем двери заглядывала медная луна. Мелькали темные сосны.

На следующей остановке по эшелону пронеслась страшная новость, разбомбили первый эшелон.

— На-аш? — переспросил Сережка, не в силах представить это.

Такой длинной ночи Сережка не знал. Ночью мать плакала. Крепко прижимая его к себе, время от времени она вздрагивала. Сначала Сережка думал, что вздрагивает она от резких толчков вагона, но на остановках она тоже

вздрагивала и тогда он понял, что она плачет.

Душно было в вагоне. Он с удовольствием бы освободился от материнских рук, откатился бы в сторону, где не так жарко, но не решался пошевелиться: пусть мать не знает, что он тоже не спит.

Была уже глубокая ночь, а сон не приходил. Слишком большим и кошмарным был этот день, чтобы спокойно спать. Сережка лежал с открытыми глазами, вновь и вновь переживая заново то, что случилось, потом стал то зажимать, то открывать глаза, зажимался до боли и открывал резко, стараясь проснуться.

— Ма-ам, — произнес он тихо, едва слышно.

— Что, Сережа, — тут же отозвалась она.

Значит — не сон...

## 6

Было много остановок, коротких и долгих. На каждой остановке мать бегала проводить отца и, возвращаясь, говорила обычное свое: «ничего-ничего...» На каждой остановке Сережка, дожидаясь возвращения матери, жил еще одним ожиданием, не менее важным для себя: не покажется ли где первый эшелон... Говорили, что он, переформированный, тоже движется где-то за ними. На одной из станций первый эшелон догнал их. Но теперь никто не кричал радостное: «Наши! На-ши!». Все смотрели на пострадавший эшелон молча и хмуро. Сережка тоже смотрел на подкативший эшелон молча, во все глаза. Теперь эшелон был короче раза в два, в нем было много новых, чужих вагонов и Сережка никак не мог среди них отыскать того, в чем-то белом, муке или цементе, со сломанной ступенькой на тормозной площадке.

Эшелон постоял с полминуты и пошел дальше.

«Ты не видел ее?» — хотел спросить Сережка у брата, но не спросил. Боялся узнать самое страшное, что могло случиться, что, наверно, и случилось. Этого, говорил он себе, не должно быть. Ничего, что сейчас он не увидел ее. Увидит потом.

На этой же станции отца сняли с поезда и увезли в госпиталь. Пашка говорил, что они тоже могли тут остаться, если бы разрешил начальник эшелона. Но он сказал, что отцу надо подлечиться и что с ними у него прибавилось бы забот.

Пашка, заметил Сережка, за каких-то несколько суток сильно изменился. Стал неразговорчив и раздражителен. А с матерью напротив — стал ласковей. Он охотно бегал за кипятком, помогал стелить постель и, когда у матери ни с

того ни с сего появлялись на глазах слезы, он по-отцовски клал ей руку на плечо и говорил: «Ну, что ты, мама, не надо...»

Как-то среди ночи Пашка затряс брата:

— Да проснись же ты, слышишь, проснись!

Вскочив, Сережка открыл глаза и защурился от непривычно яркого света: эшелон горит, что ли... Однако в вагоне не было ни суеты, ни паники. Курсанты спокойно стояли у двери и воткрытую курили, не заботясь о светомаскировке. Все эти ночи эшелон шел в кромешной тьме, разъезды, станции и полустанки встречали затаенной темнотой — и вдруг сразу столько света. Яркие высокие прожекторы слепили глаза, их напористые лучи, проплывая, мягко ощупывали стенки вагона, шарили по нарам. Мимо пронесся весь в огнях пассажирский поезд. Поплыли дома с разноцветными окнами: голубыми, желтыми, розовыми, а за ними много-много лучистых точек, рассыпанных до самого горизонта, беспорядочных и вытянутых ровными цепочками, подвижных и неподвижных — жизнь!

Сережка спрыгнул с нар, протиснулся к двери, стал рядом с матерью.

— Война кончилась, ма-ам? Кончилась, да?

Мать обняла его за плечи, прижала к себе.

— Пока еще нет, сынок. Просто... сюда еще не долетают немцы.

— И не долетят, — авторитетно заверил Пашка.

Сережка торопливым кивком подтвердил заверение брата и одарил его влюбленным взглядом.

Привычно дернулся вагон, прокатилось по эшелону клацанье металла — поезд набирал ход.

## 7

Сережка никогда не думал, что страна, в которой ему потрафило родиться, столь огромна. Днями и ночами все ехали, ехали и ехали и она все не кончалась. Дома пошли другие, бревенчатые, серые. Мосты через реки стали длиннее. Станции все реже. Деревьев все больше: бесконечная зеленая стена — тайга... Слово-то какое мохнатое и дремучее. Раза два видели лося с целым кустом рогов на голове. А когда долго стояли на каком-то полустанке у закрытого семафора, на ветке сосны видели сову. С ветки свисали русалочки космы мха-бородача, а она сидела, как неживая, будто чучело кто поставил, сутулая такая и большеглазая. Если бы Сергей увидел это пугало не из вагона, а встретился бы с ним в лесу лицом к липу —

перепугался бы до смерти.

Серезка страшно переживал — как поезд переберется через Уральские горы? Они ж высокие и широкие... А гор, как таковых и не увидел — груды камней, на которых непонятно как примостились сосны. И опять тайга, тайга, тайга — Сибирь-матушка начиналась! Зная, что едет уже по необычным краям, по необычной земле, Сергей во все глаза смотрел вокруг и, к своему удивлению, ничего необычного не видел: те же телеграфные столбы, те же деревья и те же цветы вдоль железнодорожного полотна — только вот станции теперь попадались еще реже, а мосты через реки — еще длиннее. И вновь Серезка изумлялся: до чего же огромна страна, в которой он живет! И никак не мог уразуметь: как это такая маленькая Германия осмелилась пойти войной на вот такую без конца без края страну-громаду? И в душе крепла уверенность: ох и дадут же им наши!

Серезке казалось, что с той минуты, когда остановился эшелон (а остановился он где-то на тридцатые сутки), как бы приостановилось, притормозилось и все вокруг, вся жизнь. Все происходило в каком-то трудном, замедленном движении, точно во сне. Было такое состояние, словно он, Серезка, уже прожил одну свою жизнь (она осталась далеко позади), а новая еще не началась. И вот он сидит на полустанке и ждет поезда, который помчит их дальше. Или назад увезет. И еще Серезке казалось, что повзрослел он лет на пять, а то и на все десять. И когда кто-то из местных пацанов поинтересовался как его зовут, он впервые ответил по-взрослому — Сергей, а не Сережа или Серезка. Теперь он ощущал себя Сергеем — парнем, который уже кое-что видел в жизни.

Сибирь поразила ребят своей беспросветной серостью, грязью и грубостью, граничившей с жестокостью. Серым было все: дома бревенчатые, заборы некрашенные, тротуары дощатые и даже небо казалось все время было серым тяжелым — чужим. Когда шел дождь, на улицах грязь была непролазная. Может потому и улицы имели соответствующие названия: Болотная, Трясинная... В рытвины и лужи ссыпали из печек пепел, жужелицу. Прямо на улицы выливали помойные ведра и на дворе стоял такой удушающий запах, что хоть нос затыкай. В домах канализации не было и потому в туалет все ходили на улицу, где посреди или в углу двора стояло зловонное строение из драных досок. Зимой в сорокоградусные морозы мало кто

пользовался дворовым туалетом — у всех имелись ведра, которые утром выносились на помойку — ледяную вонючую гору из нечистот. Некоторые свои дела умудрялись делать дома на газетку и это выкидывали прямо в подъезд, на лестничную площадку, а обладавшие фантазией ловкачи умудрялись это приклепнуть к потолку, выходишь утром в школу, а над головой твоей висит, шелестя клочком бумаги замерзшее дерьмо. Если там, откуда приехали ребята, в подъезде могла напакоstitь кошка, то тут это делали люди.

В общем сибирский город здорово отличался от украинских городов. И внешне и внутренне. Резала слух густо пересыпанная бранными словами речь сибиряков. Всюду звучал мат-перемат. Сквернословили и взрослые и дети. Для любого сказать слово «блядь» было все равно, что чертыхнуться.

Грубо не только говорили, но и вели себя. Если в кинотеатре стояла очередь за билетами, то это стояла не просто длинная мирнотихая очередь, а сплошная дико ревушая толпа, где все давят друг друга, толкают, лезут по головам. В прямом смысле — лезут по головам: кого-то подсаживают и тот на брюхе, по-пластунски, не взирая на лица (девчонка там или старушка), рьяно работая руками и ногами, движется по головам к ободранному окошечку кассы. И попробуй кто-нибудь тронь этого «героя» — далеко от кинотеатра не уйдешь: в дело пойдут не только кулаки и ноги, но и палка, и гирька, и кастет, и молоток, и шило, и бритва, и финка.

Грубость давила на каждом шагу. Сергей не раз вспоминал аккуратный подъезд своего дома в том большом городе, где они дольше всего жили — отец был военный и им часто приходилось переезжать из города в города, из одной части в другую. Молочница приносила молоко очень рано и чтобы никого не будить, бидончик оставляла прямо у двери их коммунальной квартиры, в длинном коридоре которой было семь или восемь дверей, а за каждой дверью жила семья. Сколько было в подъезде людей, взрослых и пацанов и никто не смел тронуть бидончик с молоком, кроме того, для кого он был предназначен. А тут, в подъезде, ничего нельзя было оставлять, даже на минуту, если помойное ведро — перевернут, если хорошее — украдут, «ноги приделают».

Многое здесь казалось ребятам непривычным, странным, а кое-что и диким. Как и все, приехавшие с Украины, Сергей и Пашка, «шокали», здесь же говорили не «шо», не «что», а «чё». «Чё лезешь?», «Ничё, а ты — чё?!».

Дикими же были неписанные законы в отношениях между

ребятами. В кинотеатре, на базаре или просто на улице подходит какой-нибудь шкет к старшему по возрасту и требует: «Дай-ка, обшманаю!» Обыщу, значит. И тот, который старше и, разумеется, сильнее, беспрекословно подчиняется этому пацану, молча разводит руки в стороны, молча ждет, когда обшарят все его карманы, заберут деньги, перочинный нож, портсигар, расческу — все, что придется по душе шманальщику. В общем-то тюремные порядки... Сибирь — и страна тюрем и лагерей. Ребята этого тогда еще не знали, но понемножку ощущали близость преступного мира.

Однажды Сергей видел как пацан его лет остановил у кинотеатра взрослого парня и бесцеремонно обшманал его. Рядом стояла девушка с грустными глазами, она не смотрела ни на шманавшего пацана, ни на своего парня. Полуотвернувшись от них, она смотрела поверх голов прохожих и нервно покусывала чуть подкрашенные губы. Сергей ждал, что парень вот-вот схватит шманальщика за руку и даст ему подзатыльника. Но ничего подобного не произошло. Когда обыск был закончен, парень обескуражено пригладил опустевшие карманы и как ни в чем не бывало сказал своей спутнице:

— Ну, ладно, пошли...

Об этом случае Сергей рассказал брату, а тот и не удивился.

— Да ведь парень был сильнее его, — оказал Сергей.

Пашка ухмыльнулся:

— Да если бы тот парень посмел его хоть пальцем тронуть, то не ушел бы далеко от кинотеатра... Неужели ты не понимаешь, что шманальщик был не один, рядом была его шпана или сам атаман!

В городе существовали, так называемые, атаманы. Это были обыкновенные подростки, которые верховодили в городе. Между собой они враждовали, борясь за власть. Еще несколько месяцев назад атаманили их старшие братья. Теперь они были на фронте, а власть как бы по наследству перешла к их младшим братьям. Атаманили обычно заядлые голубятники. У кого голуби были лучше и кто мог постоять за них и за себя, тот и считался атаманом. Голуби были яблоком раздора. Из-за них отчаянно дрались, резались. Голубей отнимали друг у друга, воровали, сажали, то есть, когда голуби кружили в небе над чужими дворами, к ним подпускали голубку, та заигрывала с голубем, и он садился вместе с ней на ее голубятню, а хозяин потом брал за посаженного голубя выкуп.

В окрестностях военного городка, где обосновалась воинская часть, эвакуированная с Украины, атаманил Алька Черномор, худощавый русоволосый парнишка с холодноватым взглядом густо-синих глаз. Он тоже был заядлым голубятником. Ни один атаман не решался показаться без своей свиты в другом конце города, там, где жили его враги. Алька же ходил по всему городу чаще всего один. И никто не осмеливался тронуть его. Возможно, его уважали за смелость и холодное спокойствие, которым он отличался от других. Алька никогда не носил с собой ни гирьки, ни кастета, ни финки. Единственно, что всегда было при нем — это лезвие, завернутое в кусочек газеты, один уголок которого был открыт. За лезвие, если найдут, не заберут в милицию, а сделать им можно не меньше, чем чем-то другим, во всяком случае «пописать» можно так, что на всю жизнь хватит.

С Алькой Сергей и Пашка познакомились еще в первые дни приезда. Пришли в хлебный магазин. Сергей стал в очередь, а Пашка толкался у полупустых витрин. Вдруг подходит к Сергею какой-то пацан, весь в веснушках, он был чуть выше Сергея и, пожалуй, постарше. Оглядел с ног до головы, строго спросил:

— Таньга есть?

— Что, — переспросил Сергей.

— Во, не понимает, бя. Деньги, говорю, есть?

— Есть, — не стал скрывать Сергей.

Конопатый подобрел и артистически выкинул ладонь:

— Гони, сука!

Шутит, подумал Сергей и улыбнулся.

— Ну, не тяни резину, падло...

— Это мои деньги, — сказал Сергей.

Охотник до чужих денег посмотрел на него так, словно перед ним стоял не обыкновенный пацан, а папуас, неожиданно оказавшийся в сибирском магазине.

— Чё-чё? — протянул озадаченно.

— Мои, говорю, деньги!

— Во дает вахлак... — повеселел конопатый и потянулся к карману Сергея, как к своему.

Сергей тогда еще не знал о существовании в городе этих диких законов беспрекословного подчинения вот таким пацанам и, возмутившись наглостью шманальщика, резко отбил его руку и схватился за карман, в котором лежала тройка и хлебные карточки. Еще мгновение и они, конечно, сцепились бы, но тут появился Пашка, стремительный, с плотно сжатыми губами. А к шманальщику подоспел на



помощь худощавый русоволосый парнишка.

— Чё такое? — спросил Пашка, быстро оглядев всех. Брат сходу перенял это жесткое «чё».

Пашке был одинакового роста с русоволосым, но крепче сбитый. Сергей не сомневался: завяжись драка, брат в два счета разделается с этим русоволосым и придет на помощь, если ему, Сергею, самому не удастся одолеть этого конопатого.

Сергей был уверен: русоволосый испугается, струсит. Однако ошибся, русоволосый стоял совершенно спокойный, держа одну руку в кармане, другой крутил отделанный желтой медью кончик своего ремешка. Выдержав взгляд незнакомого пацана, он в свою очередь оглядел Пашку с ног до головы, точь-в-точь, как конопатый смотрел на Сергея.

— Чё такое, — жестче спросил Пашка.

В уголках тонких губ русоволосого наметилось что-то вроде недоуменной улыбки.

— Чё-чё? — нараспев спросил он с легким изумлением и угрозой в голосе.

— А ничё, — сказал Пашка, тоже с угрозой и сильно нажимая на «р», бросил вызывающе, — смотри, какой храбрый!

Русоволосый снова окинул взглядом Пашку с ног до головы и перестал играть кончиком ремешка. Пашка явно заинтересовал его, атамана: что за фрукт, кажется, несколько не боится его атаманского величества.

— Ты кто, — довольно мирно спросил русоволосый и его тон и манера держаться, кажется, немного сбили Пашку с толку.

— А ты кто?

Какое-то время они молча смотрели друг на друга, каждый стараясь подавить другого взглядом.

— Да это же Алька! — с возмущенным восторгом ответил за своего дружка конопатенький.

Братья переглянулись — Алька? Тот самый Алька Чернобров, о котором они уже столько были наслышаны — атаман?..

И Сергей и Паша представляли Альку другим. В их воображении он выглядел высоким здоровенным парнем с шеей борца, с большущими кулаками и жестоким взглядом.

Алька не считал нужным подтверждать, что он и есть Алька. Вместо ответа он снова заиграл кончиком ремешка и, чуть сузив глаза, густо-синие и холодные, пристально смотрел на смельчака и кажется немного наслаждался эффектом, который произвело его имя на незнакомых ребят и ждал,

что будет дальше. И то ли жалел их, то ли не мог понять, что это за птицы, которые не знают его, Альку и которые осмелились вести с ним такой равный разговор. Алька весь был спокойствие и легкое изумление. Он ждал, когда незнакомый пацан назовет себя и молча требовал ответа.

— А я — Пашок, — представился с достоинством Пашка. Он сказал это еще с большим достоинством, чем конопатенький только что говорил: «Да это же Алька».

Атаман перестал наигрывать кончиком ремешка, как бы припоминая, где он слышал это имя. Но так и не вспомнив, шагнул вперед:

— Чё нарываешься?

— А ты — чё?

Они стояли молча, лоб в лоб, как два бычка, каждый ожидая, что другой дрогнет.

«Ну?» — говорил Пашкин взгляд.

«Ну?!» — говорили Алькины глаза.

— Выйдем, стукнемся, — мотнул атаман головой на дверь.

— Я тебя с потрохами схавая и каблуки выплону...

— Выйдем, — тем же тоном сказал Пашка, и они, напирая друг на друга плечами, двинулись к выходу из магазина. Сергей и конопатый — за ними.

Не успел Сергей выйти наружу, как увидел брата и русоволосого барахтающимися в пыли и в тот же миг, потеряв бдительность, сам получил от конопатого удар в нос. Бросился на него, стараясь тоже угодить в нос, но промахнулся и в ответ получил еще удар, в грудь. Сергей все же достал до носа противника, но в это время чья-то сильная рука дернула его назад.

— Отцы ваши с немцами дерутся, а вы-то чего, вы ж свои... русские...

Драчуны неохотно расходились в разные стороны.

— Мы еще встретимся, — пообещал Алька, мстительно стреляя глазами.

— Обязательно встретимся, — заверил Пашка.

Конопатый погрозил Сергею кулаком. Тот ему — тоже.

Начиналась жизнь в новом краю, во многом непривычная, но вполне сносная, тем более, что человеку свойственно ко всему привыкать, даже к тому, к чему не следовало бы.

## 9

Военный городок, где жили ребята, стоял на окраине города, неподалеку от знаменитой сибирской реки, поразившей их своей необъятностью и крутыми берегами.

Все военные городки похожи друг на друга, где бы они

ни находились: корпуса для семей, казармы, ДК, столовая, стадион... Есть ходили в военную столовую. В один из первых дней во время завтрака Сергей встретил Толю Ромашку. Они обрадовались друг другу, словно всю жизнь были закадычными друзьями и не виделись сто лет. В чужих городах даже самые далекие знакомые при встрече сразу становятся почти друзьями.

— А Пашка где? — спросил Толя.

— Он уже давно на речке, я тоже сейчас пойду, айда вместе?

Толя собрал брови, виновато вздохнул.

— Я бы с удовольствием, — сказал он, — я еще ни разу тут не купался, но мне домой надо, мама у меня болеет, понимаешь?..

Он всегда говорил негромко, неторопливо, очень внятно, чуточку врасстяжку произнося каждое слово. Но теперь говорил он еще тише, приглушенно, словно рассказывал какую-то тайну.

— Понимаешь, после той бомбежки...

— Она ранена?

— Нет, она не ранена, просто... Ты же знаешь, что тогда было, — он замолчал, посмотрел Сергею прямо в глаза, но, наверное, видел не его, а то, что тогда было, и отвел взгляд. — Мне тогда совсем не было страшно, а теперь страшно, честное слово. Такого я даже в кино не видел. Как налетели они, поезд остановился, мать схватила Лариску на руки, побежали мы... Я видел, как подпрыгнул паровоз. Он, такой тяжелый, подпрыгнул, как игрушечный... Мы лежали под стогом соломы. Потом она загорелась, и мы побежали дальше. А потом я потерял маму и Лариску. Их швырнуло воздушной волной. Когда мама поднялась, она увидела, что Лариска лежит у воронки, почти вся засыпанная глиной. Мама закричала и потеряла сознание, думала, Лариску убили. А у Лариски даже ни одной царапинки, только куклу пробило осколком насквозь, — Толя помолчал, снова вздохнул. — И теперь мама болеет, ночью иногда схватывается и кричит: «Не смейте! Не смейте!», — он сделал долгую паузу. — Что они тогда делали... Ты Вовку помнишь?

— Комара?

— Комара... Его даже не нашли...

— Комара?!

— Комара... Только пряжку от ремешка... А вас, говорят, меньше бомбили? Да?

— Да, — сказал Сергей, и ему стало неловко перед товарищем, будто он виноват, что их бомбили меньше.

— А ты где живешь?

Сергей рассказал.

— А ты?

Толе повезло: им дали небольшую комнатку в двадцать втором корпусе, что возле водонапорной башни. В том корпусе живут семьи летчиков истребительного полка, который в первые же дни войны улетел на фронт.

— А здесь очень хорошо, правда? — сказал Толя. — Мне здесь нравится...

— Мне тоже. Здесь всю ночь горит свет... — Сергей хотел спросить о Люде, но удержался, а лишь посматривал по сторонам, надеясь, что вот-вот и она войдет в столовую.

— Давай будем дружить, — сказал Сергей.

— Давай, — ответил Толя и протянул руку. И Сергею показалось странным, что раньше они не дружили, а ведь Толя, наверное, очень хороший.

— А ты знаешь, — спросил Толя, — как еще называют корпус, в котором мы живем? Гвардейский!

Двадцать второй «гвардейский»... Корпус называли так потому, что там жили молодые вдовы, бывшие жены летчиков истребительного полка, от которого уже ничего не осталось — все летчики до одного погибли в первые же дни войны. И у всех молодых и красивых их жен остались от них лишь воспоминания и похоронки. Поплакали, погоревали, но жизнь есть жизнь, тем более молодая. Городок полон других летчиков и нелетчиков. И каждый холостой мужчина да и обремененный семьей, разогревшись спиртиком, вечерком направлял свои стопы в двадцать второй «гвардейский». Лихая слава об этом корпусе разносилась-разлеталась по соседним частям. Знали о двадцатой втором «гвардейском» и перелетчики, которые потом перегоняли самолеты с Аляски через эту базу на фронт. Когда подлетали, делали круг над двадцать вторым корпусом, приветствуя своих боевых подруг.

Пацаны были в курсе. Они уже многое понимали. И к гулящим молодым вдовам погибших летчиков относились по-разному. Одних называли лярвами, других жалели, третьих презирали. Однажды вечером, светя фонариком, кто-то из ребят в углу коридора за огромной железной печкой обнаружил странный предмет, похожий на маленького человечка. Пригляделись — и в самом деле человечек: махонький, скрюченный в три погибели, голенький, малинового цвета, высохший, запыленный. Кто-то выкинул... Выкидыш! Чего-то испугавшись, ребята водворили находку на место — за печку и разбежались, кто

куда.

Долго перед глазами Сергея потом стояло это маленькое, скрюченное в три погибели что-то человеческое. И долго мозг сверлила болезненная мысль: как же так — это ж человек! А его — за печку... в пыль и хлам... маленького человека... родная мать! Как же это?!

Выходит, любого могла постигнуть участь того, несчастного, у которого еще и имени не было, но были, разумеется, отец и мать. Выходит, матери тоже бывают разные...

Мозг сверлила мысль о случайности жизни и о том, что кому-то везет, а кому-то не везет.

В тот вечер за ужином мать спросила Сергея, почему он так смотрит на нее. Он не знал, как именно он смотрел, но с того вечера стал относиться к матери еще лучше, еще теплее, стал любить ее еще больше.

## 10

Каждое утро чуть свет мать поднималась и шла на базар. Двери военной столовой для семей закрылись и теперь пищу добывать приходилось самим — кто где мог. Денег не было и мать продавала кой-какие вещи либо меняла на продукты у приезжих колхозников. После завтрака ребята уходили гулять, а мать шла на поиски работы. С работой не везло, у матери не было никакой специальности. Но она говорила везде, что документы пропали при бомбежке эшелона и готова была работать кем угодно лишь бы что-то платили.

Самой лучшей работой в то время для женщины считалась столовая: и сама сыта и детей накормит, а голод уже давал знать.

Наконец и мать устроилась в столовую на лесозаводе. В первый же день поздно вечером принесла домой бидончик горохового супа. Разбудила ребят. Похлебку они вылакали мгновенно. А утром Сергей спросил, в самом ли деле он ел ночью гороховый суп или это ему приснилось. Мать сказала, что не приснилось. Он все равно не поверил. Тогда мать показала еще не мытые тарелки. Он оглядел их, понюхал, да, действительно они пахли горохом.

— И придумала же ночью дать суп, — сказал он с обидой, — я даже не запомнил, какой он.

И теперь Сергею часто снится, что он ест гороховый суп.

На лесозаводе мать проработала недолго — завод сгорел. В городе часто случались пожары.

Через какое-то время мать устроилась в другую столовую, правда не в городе, а военном лагере, который находился

километрах в семи от города, в сосновом бору. Его, Сергея, отправила в пионерский лагерь, а Пашку взяла с собой. В пионерлагере было неплохо, но кормили там до того скудно, что уже через несколько дней Сергей затосковал по дому и позавидовал старшему брату, который, конечно же, рядом с матерью не голодает. И не мог дожидаться конца пребывания в лагере.

За это время с ним произошли два стыдных эпизода, связанных с едой. В одно из воскресений приехал Пашка, как всегда веселый, жизнерадостный. По его округлившейся физиономии было видно, что в военном лагере питаются лучше, чем в пионерском. Привез несколько кусков хлеба и комочек творога, завернутого в тряпицу. Хлеб Сергей умял одним духом. Потом накинулся на творог и чуть не удавился, по-настоящему чуть не подавился. Творог был мягкий, но сухой, как мел. Его надо было хорошенько разжевать, но желудок при близости такого невиданного лакомства не мог долго ждать, требовал: быстрее, быстрее! Комочек творога пробкой застрял в горле и ни туда, ни сюда. Глаза полезли на лоб, пытался что-то сказать брату и не мог. Брат принялся колотить кулаками по спине — и это не помогло. Сергей совсем задыхался, схватился за горло и принялся кататься по земле. Казалось, еще секунда и что-то разорвется в нем. В отчаянии он издал свистяще-хрипящий утробный звук и творожная пробка вылетела вон, а он с невероятной жадностью хватанул воздуха.

— Эк-ой, П-Пашка-а... — произнес он икая и жалостливо улыбаясь сквозь слезы. — Я чуть не умер, да? Правда, я чуть не умер.

С тех пор к творогу у Сергея появилось отвращение.

А после возвращения из лагеря Сергей объелся. По-настоящему. Мать и Пашка жили в небольшой землянке вместе с еще двумя работницами военной столовой. При виде прибывшего к ним в гости изможденного пионера женщины запромокали глаза и тут же кинулись ставить на стол, сбитый из сосновых досок, все, что было из съестного в землянке. А было несколько кусков хлеба, большая миска квашеной капусты и еще одна миска, тоже большая, вареных макарон. Таких огромных порций Сергею в лагере не приходилось видеть. Там всегда всего давали — кот заплакал. А тут... перед ним стояло столько еды сколько, наверно, не видел сам Сталин.

— Эт-то все мне? — спросил он, расцветая до ушей.

— Все тебе, ешь на здоровье, сыночек, — сказала мать, присаживаясь рядом и обнимая сына за плечи.

Помятутя случай с творогом, ел неспеша, тщательно прожевывая. Съел весь хлеб. Опустошил деловито и одну миску и другую. А через минуту его замутило, затошнило. Зажимая рот, он выскочил из землянки и тут же все, что только что съел, извергло из него фонтаном.

И стыдно было, и горько.

Воинскую часть вскоре отправили на фронт, и мать снова принялась искать работу.

## 11

Работы-то в городе хватало, но хотелось опять устроиться в столовую, однако свободных мест нигде не было и мать пошла учеником токаря на канатный завод. Это был чуть не единственный в стране завод, который делал для боевых кораблей различные снасти, а также мешки под песок для укреплений окопов, дотов и дзотов. С поступлением на канатный завод мать сразу выросла в глазах ребят.

А война в этом сибирском городе почти совсем не ощущалась. И если бы не сообщения Совинформбюро, которые утром и вечером напоминали, что где-то горят города и зверствуют фашисты, что наши войска отступают и отступают, можно было бы подумать, что никакой войны и нет, что все это просто слухи.

И если бы отец был рядом...

Город жил своей обычной мирной жизнью. Люди ходили на работу, как и до войны. Мальчишки играли в войну и дрались между собой, как и до войны. Над городом не носились зловещие фашистские самолеты. Тут не рвались бомбы. И по ночам ребята не просыпались от надрывного тревожного воя сирены: «Воздушная тревога!»

Внешне тут было спокойно. И можно было бы в самом деле поверить, что нет войны, если бы не эшелоны с ранеными, если бы не плакаты, развешанные по всему городу: «Родина-мать зовет!», «Все для фронта, все для Победы!»; если бы не новое жуткое слово «похоронка», рожденное войной.

Это только поначалу казалось ребятам, что война тут совсем не ощущается.

## 12

Сергей раньше не очень радовался началу занятий в школе. Не такое уж большое удовольствие сидеть на уроке и ждать, вызовут тебя или не вызовут, наблюдая за тем, как палец учителя медленно ползет по журналу. Да и дома, вместо того, чтобы бегать по улице, приходится снова

корпеть над книжками и тетрадками, ломать голову над задачами. И так целый год.

Однако теперь был настроен иначе. Первое сентября он ждал. Ждал по-своему, с робкой надеждой, в которую сам до конца не верил. Как только приехал сюда, ни на день не покидала надежда, что вот сегодня увидит Люду. Чем дальше не видел ее, тем сильнее хотелось увидеть. Он высматривал ее в столовой, в ДКА, когда ходил в кино, на асфальтированной площадке военного городка, где по утрам выстраивались курсанты, а днем девчонки играли в «классы» или прыгали через скакалки, а проходя с ребятами по городским улицам, вглядывался в лица встречных девчонок. И нигде ее не видел. И ее мать тоже. Может, Люда появится в школе?

С этой мыслью и ждал первое сентября.

Утро было прохладное, почти холодное, хотя не было на небе ни одной тучки и солнце светило ослепительно ярко. Ночью были заморозки, железные крыши домов блестели от влаги, и деревянный тротуар был мокрый, а под тополями лежали еще совсем зеленые листья. Слабый ветер лениво шуршал ими.

В школу Сергей и Пашка шли в обновках — на них шелестели новые белые рубахи из парашютного шелка. В длинном коридоре школы построили на первую линейку. Было много-много девчонок, а одной не было. Или, может, Сергей проглядел, не заметил ее. А может, она пошла в другую школу.

С Толей Ромашкой он попал в один класс и очень обрадовался этому.

Они сели за одну парту и, боясь, чтобы их не рассадили, договорились сидеть тихо. Классным руководителем был мужчина невысокого роста, худой, в больших очках, придававших ему сходство с японцем из кинофильма «Граница на замке».

— Будем знакомиться, ребята, — негромко сказал он, — зовут меня Иван Тимофеевич.

Рядом раздался смешок Юры Лавровского. Все зашевелились, зашумели: над головами ребят летела муха, волоча за собой кусочек белой нитки. Сергею тоже стало смешно, и он едва удержался, чтобы не прыснуть от смеха, но заставил себя не смотреть на муху, неистово метавшуюся по классу. А учитель, казалось, ее не видел, он сидел молча, держа в кулаке подбородок, и глядя в журнал. Сергею вдруг стало жалко учителя, нельзя же так... Встанет еще и уйдет. Он действительно встал из-за стола, но уходить не собирался.



Подождал, когда класс немного утихомирится, и сказал что-то. В классе было довольно шумно, Сергей сидел на последней парте и не расслышал, что именно сказал учитель.

— Ребята, — негромко продолжал он, когда стало тише, — этот год необычный для нашей Родины, для ваших отцов и матерей, для нас с вами. Вы знаете: фашистская Германия вероломно напала на нашу любимую Родину. Фашистские изверги разрушают городам и села, уничтожают памятники культура, там, где ступает их грязный сапог, остаются руины и пепелища и тысячи зверски убитых мирных советских людей — женщин, стариков, детей...

Он помолчал немного, чуть склонив голову, собираясь с мыслями. В классе теперь было тихо-тихо. Потом учитель медленно поднял голову, поправил очки, обвел ребят твердым взглядом.

— На фронте сейчас чрезвычайно трудно, ребята. Ваши отцы и старшие братья, не жалея сил и самой жизни, сдерживают натиск фашистских полчищ, ваши матери на заводах и фабриках заняли места ушедших на фронт, чтобы своим трудом помочь скорее остановить врага и изгнать его с нашей земли. Вы все, ребята, повзрослели на год, стали серьезнее, умнее. Вы знаете: плохо учиться — вообще стыдно, а сейчас, в такое время — тем более. Отличной учебой и достойным поведением и мы, в свою очередь, поможем приблизить час победы. А он не за горами, ребята. Завоеватели не однажды покушались на нашу Родину и всегда получали сокрушительный отпор. Получат и сейчас! — твердо произнес он и плотно сжал губы.

Сергей смотрел на учителя, и он уже совсем не казался похожим на японца, ему даже стыдно стало, что так подумал. И стыдно стало за того, кто пустил муху; Сергею казалось, что он сам это сделал. Взглянул на Юрку, тот сидел теперь прямо, с каким-то глуповатым выражением лица и ногтем большого пальца ковырял уголок парты.

После уроков Сергей одним из первых выбежал из школы, сказав Толе, что будет ждать Пашку, а когда появился Пашка, сказал тому, что ждет Толю. Сергей стоял неподалеку от ворот школьного двора и терпеливо ждал, когда выйдут все. Лишь потом пошел домой. Уже сворачивая за угол, оглянулся и увидел удаляющуюся в противоположную сторону девочку в белом платье, с портфелем в руке. Сергей знал, что это не Люда, но повернулся и пошел за девочкой. И когда она вдруг оглянулась, быстро и опасливо, он остановился как вкопанный — она! А девочка прибавила шагу. Хотел окликнуть ее, но, боясь обознаться, не окликнул, а тоже

пошел быстрее, потом почти побежал.

Людей было мало, и она отчетливо слышала нарастающий стук его каблуков на дощатом тротуаре. Возле аптеки остановилась, взялась за длинную деревянную ручку двери и резко обернулась:

– Чего тебе нужно?

Почему она показалась похожей на Люду? Абсолютно никакого сходства. Злая, и голос хриплый, как у старухи.

– Что-о? – спросил Сергей тоном, по которому она должна понять, что не за ней он бежал два квартала, что есть у него свои дела, поважнее.

На всякий случай она все-таки зашла в аптеку, а Сергей побрел дальше. По центральной улице шагали в новенькой форме красноармейцы, штыки винтовок колыхались над их головами. Они шли в сторону вокзала и громко, отрывисто пели:

Кипучая, могучая,  
Никем непобедимая,  
Страна моя, Москва моя,  
Ты самая любимая.

Несколько кварталов Сергей шел вместе с ними. Он завидовал красноармейцам. Ему так мало лет, и он не идет с ними в одном строю, не сжимает приклад винтовки. Через час-два эшелон умчит их на запад, а он, Сергей, останется в этом тихом сибирском городе, где почти совсем не чувствуется война. И будет ходить в школу, получать пятерки или двойки... Будет смотреть, как идут на вокзал с песнями красноармейцы... Он был уверен: наши не сегодня-завтра остановят гитлеровцев и так дадут им, что те долго будут помнить. Но ему было досадно – все самое интересное совершается без него. На его долю ничего не останется. Была революция – без него, гражданская война – без него. На Халхин-Голе воевали – без него, с испанскими фашистами и финнами – тоже без него. И сейчас...

Тихими, дальними переулками он побрел домой.

### 13

К новичкам всегда заедаются. И к Сергею тоже стал на переменках цепляться один мальчишка из другого класса. Сергей ничего плохого ему не делал, но тот лез и лез к нему, то ущипнет, то по затылку стукнет и отвернется, словно не он, то иголкой пырнет и снова будто не он, а когда Сергей засек его, то выпятил вперед грудь и предложил после уроков «стукнуться», то есть подраться.

Вышли после уроков на улицу, вокруг сразу образовался кружок ребят. Заходили, как петушки, друг перед другом. Силы, были, кажется, равные, а может, Сергей даже чуточку сильнее своего противника, потолкались-потолкались, можно было бы уже и расходиться, но тот вдруг подхватил кусок кирпича и, отбежав немного, яростно замахнулся... Ребята замерли, а Сергей стоял не шелохнувшись, решив, что противник хочет его напугать, как это делали ребята на Украине. И сейчас он, конечно, выпустит кирпич за своей спиной и махнет пустой рукой в его сторону. Сергей испугается, а ребята посмеются. Но Сергею не хотелось, чтобы над ним смеялись, и он стоял, как на дуэли, правда, уверенный в том, что его только пугают. И вдруг он ощутил дикую боль под ложечкой, и перед глазами вспыхнули серебристые искорки. Хватаясь руками за живот, задыхаясь и скручиваясь в три погибели, он медленно стал оседать на землю, все еще глядя прямо в глаза противнику с изумленным недоумением — как, как он мог со всей силы запустить в него кирпич?

Ни тогда, ни после, ни спустя много лет Сергей так и не смог этого объяснить.

С тех пор он понял, что доверчивость — хорошая вещь, но иногда за нее можно поплатиться.

## 14

Пошли слухи, что казармы переоборудуют на жилые квартире, то есть из каждой большой комнаты сделают две или три, перегородят, пробьют двери в коридор. Война войной, а мать немного повеселела, да и ребята обрадовались, что скоро будут жить в отдельной комнате. Но потом пошли и другие слухи, говорили, будто в военный городок должна прибыть какая-то новая часть и что для нее будут нужны казармы, а семьям дадут квартиры где-нибудь в другом месте.

Спустя некоторое время действительно прибыла новая авиационная часть — школа штурманов, тоже с Украины. Пришлось оставить казармы и, к сожалению, вообще перебраться из военного городка. К сожалению — потому, что Сергей и Пашка уже привыкли к военному городку. К тому же ребята переживали, что теперь поселят их где-нибудь в другом конце города, но им повезло: улица, на которой предстояло жить, была рядом. Повезло вдвойне: дали целых две комнаты. Это было большой неожиданностью, особенно для матери.

Как только впервые переступили порог новой квартиры,

Пашка сказал:

— Вот это да-а!..

Комнаты были огромные-преогромные, мать растерянно опустила плечи и тихо проговорила:

— Что же мы... что же мы будем делать с ними?..

До этого у них никогда не было двух комнат. Все время жили на частных квартирах или в больших домах с длинными коридорами, в которых налево и направо было много дверей, как в бараках.

Вообще-то эти две огромные комнаты были, пожалуй, не такие уж огромные. Большими они казались потому, что, кроме двух красноармейских коек, массивной табуретки с овальным отверстием-ручкой в центре и высокой тумбочки, никакой мебели в этих хоромы не имелось. Кажется, только теперь мать впервые пожалела, что там, на Украине, осталась вся домашняя утварь, с таким усердием упакованная ею: стол, стулья, совсем новый шифоньер с зеркалом, его купили как раз накануне эвакуации, этажерка с книгами. Все осталось, захватили с собой лишь самое необходимое — одежду. Обо всем этом подумала мать, когда в беспомощной растерянности опустила плечи и какое-то время стояла молча, неподвижная и жалкая, глядя то на ребят, то на голые стены новой, большой и пустой квартиры.

— Лишь бы отец вернулся, — проговорила она, отвечая своим мыслям.

— Скоро вернется, — сказал Пашка по-взрослому.

— Конечно, — подтвердил Сергей, — скоро вернется.

Мать улыбнулась печально. У них теперь всегда так получалось: то она успокаивает их, что отец скоро вернется, то ребята успокаивают ее. Вестей от отца не было.

На другое утро, когда мать ушла на работу, ребята вышли во двор и сразу почти лицом к лицу столкнулись с Алькой.

Он еще и пацанов привел с собой, они стояли в стороне, на всякий случай. Сергей потянул Пашку за рукав, пошли, мол, домой, чего с ними связываться, но Пашка раздраженно стряхнул руку и остановился с таким видом, что Сергей понял: сейчас его и трактором не оттащить назад.

— Вот и встретились, — нараспев сказал Алька, чуть откидывая назад голову, и на его губах обозначилась спокойная, но ничего хорошего не обещающая улыбка.

— Встретились, — коротко сказал Пашка.

Алька в упор смотрел на Пашку, стараясь уловить в его лице смятение, надеясь, что тот не выдержит взгляда. Но Пашка тоже смотрел на него прямо в упор, только не свысока, а исподлобья, прищутив глаза. В другой раз он, быть может,

и сдрейфил бы немного, однако рядом был младший брат, и самолюбие не позволило трусить.

— Отшейтесь, я сам, — бросил Алька своим товарищам. Пашка сделал полшага вперед.

— Чё тебе надо?

Подобные вопросы Алька привык задавать сам, и он был несколько ошеломлен, но быстро взял себя в руки, тоже сделал полшага вперед и как можно тише и спокойнее спросил:

— Ты чё заявился сюда?

— А твое какое дело?

— Мы живем здесь, — торопливо сказал Сергей, опасаясь, что Пашка сейчас отмочит что-нибудь такое, после чего сразу пойдут в ход кулаки.

— Скажи это своей бабушке, — небрежно бросил Алька и, окидывая Пашку взглядом с ног до головы, нетерпеливо полез в карман.

— Марродер ты! — подхлестнул себя Пашка.

Алькины глаза еле уловимо настороженно сузились. Казалось, он вдруг забыл что-то очень важное и нужное сейчас, а вернее всего, это презрительное слово — марродер — было для него незнакомым, и он усиленно пытался проникнуть в его смысл и не мог.

— Поговори-поговори, — выигрывая время, сказал Алька, не спуская с Пашки глаз и что-то нащупывая в кармане.

— А ты меня на храбр не бери, — сказал Пашка, — видел таких.

Алька чуть заметно вздрогнул, его оскорбили эти слова, он заставил себя улыбнуться, подчеркивая свое спокойствие, и даже вынул из кармана руку, как бы говоря: да я с тобой и так... — и шагнул к Пашке, стараясь схватить его за воротник, но Пашка отбил руку.

— Не лезь! — крикнул он Сергею, который уже был рядом с ним. — Я сам! — и отпрыгнул назад, готовясь к защите и нападению, однако в этот момент раздался чей-то спокойный и насмешливый бас:

— Эй, суслики! Чё грызетесь?

Рядом появился высокий, чуть покачивающийся на ногах парень с добродушной улыбкой во все лицо и с такими же, как у Альки, густо-синими с холодком глазами. Он был в хромовых сапогах с отворотами, в широких, напущенных на голенища брюках и щеголеватой вельветовой курточке с тоненькой змейкой-застежкой. Откинув со лба русую челку, он сказал Альке немного усталым голосом:

— Кончай, братишка, — положил ему на плечо свою

большую руку, на пальцах которой было выколото «Миша», а на самой руке — восходящее солнце. Он сжал плечо Альке. — Тебе чё, делать нечего? — И тут же его рука обмякла: он сжал сильнее, чем хотел, и теперь, заглаживая свою невольную грубость, похлопал брата по плечу и спросил: — Голубей кормил?

Алька кивнул, кивнул неохотно, недовольный тем, что брат появился не вовремя.

— А как Монах?

— Да ничё, уже ходит по крыше, только припадает на правую лапу.

— Монах оклемается... — сказал парень и быстро оглянулся на легкий приглушенный стук каблуков, раздавшийся за его спиной.

С высокого, чисто вымытого крыльца соседнего дома неторопливо сходила девушка. В одной руке она несла два ведра, в другой — отшлифованное до глянца коромысло. На какой-то миг она задержалась на последней ступеньке. Лицо у нее было строгое и красивое, смуглое-смуглое, густо усеянное родинками, как веснушками, а глаза — голубые. Алькин брат вдруг стал стройнее, встряхнул плечом, поправил куртку.

— Подожди, Том!

Темные брови девушки дернулись.

— Некогда мне, — внятно и независимо произнесла она и, взяв ведра и коромысло в одну руку, поспешно направилась к настежь открытым воротам.

— Томка!

Девушка не оглянулась. Незлобиво, с легким укором и грустью он проводил ее взглядом, чему-то кивнул головой, как бы говоря: «Ну, ладно, ладно...», кашлянул в кулак, спросил Альку:

— Она тебе чё-нибудь говорила?

— Нет, не говорила.

— Та-ак, — он пожевал губами, обвел ребят взглядом, остановился на Пашке, потом на Сергее. — А это чё за пацаны?

Пашка не стал объяснять, сказал Сергей.

— И уже поцапались? Лишнее все это, огольцы... — Он, кажется, хотел еще что-то сказать, но передумал и только куснул губу, глядя куда-то вдаль, потом снова улыбнулся и приказал: — А ну, дайте друг другу пять!

Сергей, может, и протянул бы Альке руку, чтобы не драться, но ни Алька, ни Пашка не сделали ни малейшего движения к примирению, и Сергей вопросительно

посмотрел на парня. А парень с грустью, ласково глядел то на Пашку, то на Альку и, прекрасно зная характер младшего брата, не стал настаивать.

— Чтоб тут было тихо, ясно? — только и сказал он и пошел в глубь двора, доставая на ходу из заднего кармана брюк портсигар. Когда он скрылся за скрипнувшей дверью дома с высокой голубятней на крыше, один из пацанов подстрекнул Альку:

— Да чё ты с ним рассусоливаешь...

— Заткнись, тебя не спрашивают, — кинул Алька и, заправляя выбившуюся из брюк рубаху, сказал Пашке: — Пошли за дом, покалякаем без свидетелей...

Сергей двинулся за ними.

— А ты потеряйся, пацан, — бросил Алька.

— Побудь здесь, — сказал Пашка, — или домой иди.

Сергей не мог быть здесь, не мог и домой идти. Он отстал немного от них, но как только те скрылись за глухой стеной дома, подошел ближе. Он почему-то всегда больше переживал в таких случаях за брата, чем за себя. И прилип к стене дома, обратившись в слух, готовый в любую минуту кинуться на помощь. Пацаны тоже были тут как тут.

За домом пока было тихо, не слышно ни криков, ни возни. Они «калякали» минут пять, полусшепотом, потом донесся спокойный Алькин голос:

— Ну, ладно, брось дуться, пошли. В футбол играешь?

— Играл.

Когда они вернулись, Алька, поигрывая кончиком ремешка, ни на кого не глядя, сказал строго:

— Не трогать их, это эвакуированные...

Для Альки слово «эвакуированные», видимо, звучало гордо, а для Сергея унизительно, да и для Пашки, кажется, тоже: когда Алька сказал это «эвакуированные», Пашка едва заметно скривился, как бы говоря: ну и что, если эвакуированные?..

Все пацаны смотрели на них с восторгом, наверное, впервые видели эвакуированных, и в их глазах эти ребята были почти героями.

— А немцев видели? — спросил кто-то.

— Видели, — ответил за них Алька, и Сергей понял, что Алька сам об этом спрашивал у Пашки, а тот не сказал, что не видел.

— А какие они?

— Да что вы, не знаете, какие немцы? — применил свой обычный прием Пашка, и пацаны прониклись к нему еще большим уважением.

## 15

Во дворе не было ни травы, ни деревьев, и выглядел он очень серым: серая, плотно утоптанная земля, серые, заборы и ворота, серые дома и сараи. На фоне всей этой серости приятно выделялись голуби — белые-белые, они гордо разгуливали по серой, с прозеленью мха, крутой крыше одного из домов. Их хозяином был Мича. И Алька. Это имя, Мича, Сергею сначала показалось странным и забавным, но вскоре он понял, что здесь почти у всех ребят имена переименованы. Мича — это значит Миша, Ваца — это значит Вася, Грича — Гриша, Пека — это Петя. Если ты Валя, то здесь тебя зовут Валек. Пашка теперь был не Павлик и не Пашка, а Пашок. Сергей только теперь смекнул, почему брат при первой встрече с Алькой так отрекомендовался: Пашок. А Сергея стали называть Серьга.

Пашка сразу стал своим во дворе. Возможно, здесь сыграла роль его неожиданная дружба с Алькой, к которому относились все с уважением, а может, просто боялись. Пашка не рассказывал брату подробно, о чем они говорили в тот день за углом дома, а только сказал, что, видимо, понравился Альке. Говорил, что Алька первым делом расспросил, откуда он приехал и видел ли немцев. Потом потребовал поклясться, что никому никогда не скажет, о чем хочет спросить. Пашка поклялся. Алька спросил, что оно такое — мародер. И позеленел, когда узнал. И он бы, пожалуй, кинулся на Пашку, если бы это был кто-нибудь другой, а не пацан, собственными глазами видевший немцев и на себе испытывавший бомбежку. Он лишь потребовал, чтобы Пашка взял слово назад.

— И ты взял? — спросил Сергей, твердо уверенный в том, что тот не взял.

— Да, взял. И не смотри на меня так. Алька не мародер, он хороший пацан, вот увидишь, он только заступается. Ему просто нравится заступаться, он сильный и смелый, мы обязательно будем дружить с ним, вот увидишь.

Сергей всегда немного ревновал Пашку к его друзьям, а теперь тем более. Они действительно крепко подружились. О чем бы Пашка ни говорил, все Алька да Алька. «Мы с Алькой ходили, мы с Алькой сделали, мы с Алькой решили...». А Сергея будто и не существовало. Конечно, если кто-нибудь пыгался обидеть его, — Пашка тут как тут. К тому же он никогда не прогоняет брата, если тот увяжется за ним, но вместе с тем никогда и не зовет с собой, разве только за водой. И Сергею иногда становилось грустно: он-то тянулся



к брату, а тот ноль внимания. И если бы Пашка не был братом, Сергей бы, пожалуй, еще подумал — дружить с ними или не дружить. Другом, наверное, быть лучше, чем младшим братом, думал Сергей. Эти мысли ему обычно приходили в голову, когда Пашка неожиданно куда-то исчезал с Алькой.

Пашка теперь носил такую же, как у Альки и других ребят, косую челку и Сергею тоже посоветовал сменить прическу. Легко сказать — сменить. Хорошо Пашке, у него волосы, как проволока, куда зачесал, там и лежат, а у Сергея никакой косой челки не получилось, волосы у него мягкие и на правой стороне лба почему-то лезут вверх, сколько их не приглаживай. Пашка смеется, говорит, что это корова языком лизнула, когда он был маленький. А Сергею не до смеха, ему тоже хотелось иметь косую челку, как у всех. А когда подошли холода и ребята надели пальто, Пашка посоветовал брату сорвать с пальто пуговицы. На его вопрос «зачем?» он ответил:

— Какой же ты... здесь все так ходят.

Так здесь ходили взрослые парни и подростки. Так ходили Мича и Алька.

Мича работал на литейном заводе. Домой иногда приходил подвыпившим, но никогда никого не трогал, не то что долговязый Вача Лебедев или Грича Расписной, которые вваливались во двор с разухабистыми песнями и гоняли всех, кто попадал им под руку. Однако при появлении Мичи становились смиренными, и каждый из них наперебой торопился угостить его папиросой.

Зимой и летом Мича ходил в хромовых сапогах с подвернутыми голенищами. Алька говорил, что Мича не носит зимой валенок потому, что они и так надоели ему, в них он работает в литейном цехе, зимой и летом, чтобы не обжечь ноги расплавленным металлом. Алька же зимой щеголял в валенках, именно щеголял, потому что почти все ребята носили катанки — самодельные валенки, которые быстро превращались в какие-то бесформенные лапти. Валенки были Мичины, местами покрыты рыжеватыми пятнами и крапинками — следами ожогов расплавленным металлом — они всегда вызывали у ребят зависть.

Сергей и Пашка частенько бывали у Альки. Он хорошо играл на гитаре и знал много таких песен, о существовании которых ребята даже не предполагали. Играть его научил брат. Гитара у них была старенькая, с потертым грифом, но когда раздавались первые аккорды, Сергей уже этого не замечал, его целиком захватывала песня, которую негромко

напевали Алька или его брат. Иногда они играли вдвоем, это обычно случалось в те дни, когда Мича приходил навеселе. Слегка пошатываясь, он клал Сергею на плечо руку и спрашивал, не смотается ли он к тете Клаве, попросить на вечер гитару. Тетя Клава считалась во дворе самой красивой, и она гордилась этим. Муж ее с первых дней был на фронте, но она не унывала, и женщины за это относились к ней с неприязнью. Сергей недолюбливал ее тоже, но ради Мичи он мог пойти к кому угодно. Для него было счастьем принести еще одну гитару. «Молодец-оголец, — скажет Мича и кивнет на стул, — садись».

Вокруг усаживались парни, друзья Мичи, и пели песни, негромко, задушевно и красиво. Сергей не очень внимал словам, он слушал мелодию. Песни он начинал любить с мелодии. Если мелодия пришлась по душе, то слова запоминались сами собой. Лучше всего Мича пел песню об Охотском море. Это была его любимая песня. Вполголоса напевая ее, он слегка раскачивался в такт мелодии, и печальные глаза его были устремлены вдаль.

Говорили, что Мича за что-то сидел. Но он совсем не был похож на вора или бандита, а если пел воровские и всякие блатные песни, то кто их в то время не пел? Все ребята пели. И хотя никто их них не был вором, больше всего нравилась песня, которая начиналась со слов:

Не вором я на свет народился  
Не вором родила меня мать.  
Я в красивую девчоночку влюбился  
Из-за нее и пошел воровать...  
Любил петь эту песню и Мича.

Когда совсем темнело, Мича отводил Альку в сторону, тихо говорил ему:

- Вызовешь ее, братишка...
- Если выйдет, — отвечал тот и удалялся.

Все знали, что Мича неравнодушен к Тамаре. Она побаивалась его, а может, родители запрещали встречаться с ним. Иногда она выходила, но чаще нет. И тогда Мича до полуночи сидел на бревнах напротив ее дома и смалил папиросу за папиросой.

А Сергей злился на Тамару: что ей стоит выйти?

Во дворе жили еще одногодки Сергея Руслан, Ромка и Славка. Белобрысый Руслан жил в крохотной комнатке самого старого дома. Он был мастером на все руки: делал прищепки, паяльники и даже электрические плитки. Отец его тоже был на фронте. Мать, очень худая женщина, с желтоватым лицом, работала на табачной фабрике, а по

выходным дням носила на базар изделия сына, которые он заготовил за неделю.

Славка, пожалуй, самый рослый из ребят да, наверное, и самый сильный, и самый счастливый — отец его не был на фронте, и самый жадный — зимой снега не выпросишь. Когда был маленьким и у него просили попробовать конфету или булку, которую он ел, он протягивал и говорил: «На, пробуй, только не кусай!».

Самым добрым был Ромка, веселый, не унывающий никогда, с косой челкой на лбу, густой и черной, как вар. Что ни попроси — отдаст. Он тоже недавно приехал сюда, и ему очень хотелось, чтоб ребята его любили. Наверно и потому, что он был еврей. Он был хороший еврей и его никто никогда не дразнил.

Вообще-то, если говорить о нациях, то во дворе кого только не было: Сергей и Пашка — украинцы, большинство во дворе — русские, а Ваня — татарин, Вовка по кличке «Гапон» — мордвин, Сеня Шайник — беларус, младший брат Тамары. Шайник не фамилия, а кличка, дело в том, что Сеня вместо «счастье» говорил «шастье», а вместо «чайник» — «шайник», были даже немцы. Была, так сказать, этакая интернациональная республика в миниатюре. И что удивительно, все прекрасно ладили. Даже с немцем. Ну, бывали недоразумения, потасовочки, но ненависти друг к другу ни у кого не было. Даже к немцам! И Сергею однажды пришла в голову мысль: если бы миром правили мальчишки — войн бы никогда не было!

Немца не обижали, но, правда, и не дружили с ним, просто не лежала душа — воевали же с немцами... Он был самым нелюдимым во дворе, Немец. Имени его никто не знал: просто — Немец... Приехали они в начале войны из Приволжья, говорят, что переселили силой. Жили они беднее всех: на ржавых койках вместо матрацев — доски, на них какая-то рвань. У них не было никакой посуды и картошку они жарили прямо на плите: веником сметут мусор, еще и губами сдуют и кладут нарезанные белые дольки картошки на черную плиту... И эта «жареная» картошка была такая вкуснятина — пока жарилась — слонки текли.

Сергей относился к Немцу с любопытством и настороженностью, не верилось, что это — немец.

По всегда поджатым губам паренька было видно, как он переживал, что он — немец, и как завидовал всем остальным ребятам, что они не немцы.

Жил во дворе еще разнузданный, растрепанный, очень

неаккуратный, вечно с чавканьем и прищелкиванием жующий серу, державшийся сторонкой Шеля — высокий, худощавый, смуглый или просто грязный. И хотя он был со всеми ребятами примерно одного возраста, казался гораздо старше, быть может, потому, что сторонился своих сверстников. Бывало, его целыми днями не было видно во дворе, и никто не знал, где он болтается. Ходили слухи, что он на базаре «нахапок» конфеты ворует и даже по карманам лазит. Это и отгаливало ребят от него. Шелю побаивались, как и Альку, но Альку, побаиваясь, уважали, а Шелю — нет. Шеля еще славился своей жестокостью, он умел драться головой, бил резко и так сильно, что никто не мог устоять на ногах. Если кто-то начинал перечить ему, он собирал плечи, будто ему вдруг становилось зябко, и говорил:

— Ты что, на калган хочешь?

Никто не хотел на калган.

Алька его не любил, а он — Альку, но жили они более-менее мирно, так сказать, мирно сосуществовали. Только однажды немножко поцапались, но до драки не дошло. Шеля стал задираться к новенькому, но Алька заступился за него.

— Чё трогаетшь огольца?

— А тебе-то чё?

— Он ничего тебе плохого не сделал, Шеля! — шагнул к нему Алька, высоко держа голову, показывая, что не боится его, мало того — презирает.

— Ну, ладно, — огрызнулся Шеля и, по-волчьи зыркнув на ребят, отошел в сторону.

— Блатной, — бросил ему вслед Алька, — босиком и нож за голенищем...

Ребята засмеялись, а Шеля сделал вид, что не расслышал или не понял, к кому это относится. А новенький, Веня, смотрел то на удаляющегося Шелю, то на Альку и, кажется, ничего не понимал. Веня приехал с бабушкой совсем недавно, тихий, незаметный и странный. И его сразу Шеля окрестил Веней-дурачком.

Веня в самом деле вел себя очень странно. Если на него замахивались, он не пугался и не обижался. Что б с ним ни делали, он тихо улыбался.

В компанию к себе ребята его не принимали и вообще не относились к нему всерьез.

Когда Сергей спросил однажды у матери, почему Веня такой, она ответила, что приехал он из блокадного Ленинграда, где от голода умерли его дедушка, мать и две сестренки, и что он сам всех схоронил, и что эта бабушка не его бабушка, а совсем чужая.

В школу Веня не ходил, был все время при бабушке, а если она иногда ненадолго отлучалась, ребята обступали Веню и грубовато шутили над ним.

## 16

В одно из воскресений почти всей школой поехали поездом на экскурсию. Девочки оккупировали сиденья внизу, а мальчишки забрались на верхние полки, будто им предстояло ехать не каких-то две остановки, а несколько суток. Сергею удалось захватить среднюю полку, на ней было лучше: с верхней полки, кроме своего купе, ничего не увидишь, а со средней можно смотреть в окно. Он лежал на животе, подперев кулаками подбородок, и глядел в окно на длинное одноэтажное здание вокзала и снующих по перрону пассажиров. На левом крыле вокзала, у двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен», висел надраенный до блеска медный колокол. Сергей смотрел на колокол, ожидая, когда выйдет дежурный и даст отправление.

Девчонки сразу зашуршали газетами, разворачивая свои свертки с едой, и принялись завтракать, треща, как сороки.

— Тише, девочки, — раздался голос пионервожатой, — тише и немного потеснитесь, пожалуйста, это новенькая, будет учиться вместе с вами, ее зовут Люда.

«Люда?..»

Сергей даже вздрогнул, когда услышал «Люда». Хотел оглянуться, но что-то удержало его. Он не сомневался, что эта девочка совсем другая Люда, вовсе не та, о которой он сразу подумал. Но оглянуться ему не позволила внезапная мысль: а вдруг она? Если бы он точно знал, что новенькая — Люда Запашная, или бы точно знал, что это не она, он непременно бы оглянулся. Но ему приятно было это временное состояние неопределенности, и он не торопился убедиться, кто это, боялся разочароваться. «Нет, это, конечно, не она», — говорил он себе, потому что в глубине души повторял: она, она, она... Ему очень хотелось, чтобы этой девчонкой оказалась она. Это было бы чудо, самое настоящее чудо. Сжав кулаки и затаив дыхание, он лежал не двигаясь, весь обратившись в слух. Дежурного он прозевал, не видел, как тот звонил в колокол, — вагон уже дернулся, и за окном поплыл перрон. Сергей боялся услышать ее голос: произнеси она несколько слов — и вмиг рухнут иллюзии. И вместе с тем он с нетерпением ждал, когда она заговорит. Заговорила она почти сразу. Ей, видимо, предложили кусок бутерброда или еще что-то.

— Спасибо, я не хочу, — сказала она.

«Нет, это не ее голос», — быстро сказал себе Сергей. Но это потому, что ему вдруг почудился именно ее голос.

«Нет, не ее, — уже раздраженно повторил он. — Выдумываешь всякое, откуда бы она взялась здесь...»

Приподняв голову, чуть было не наклонился, чтобы посмотреть на новенькую и наконец убедиться, что это не Люда, но снизу снова раздалось:

— Честное слово, не хочу!

У Сергея даже мурашки пошли по спине, приятные-приятные: голос был чистый, звонкий, переливающийся — ее голос!

«Она, конечно, она!»

Он был на седьмом небе от счастья: это она, она здесь, она жива! Ему вмиг представилась картина, как после бомбежки эшелона контуженную или слегка раненную подбирают ее санитары, везут в госпиталь. С ней ничего опасного, абсолютно ничего! Подлечилась и вот приехала сюда и пришла в их школу... Он приподнялся на локтях. Он сейчас заглянет вниз и скажет: «Людка, здравствуй!». Нет, он сейчас не заглянет и ничего не скажет. Пусть едет и говорит с девчонками, а когда поезд будет подходить к станции, Сергей незаметно спустится с полки, проскользнет в тамбур самый первый, спрыгнет на перрон, и как только она сойдет со ступенек, он потихоньку подойдет сзади и ладонями закроет ей глаза...

Всем телом он прижался к жесткой, чем-то пахнущей полке, неотрывно смотрел в окно. Поезд шел быстро.

Вагон качнуло, занесло в сторону — поворот. Впереди показалась река и железнодорожный мост, длинный-предлинный.

— Пароход, смотрите, пароход!

— Какой большой...

— Разве это большой, — раздался знакомый переливчатый голос, и Сергей насторожился: теперь он показался ему не таким уж и звонким.

— Вот у нас ходят пароходы, — продолжала девочка, — они раз в десять больше этого, трехэтажные есть, четырехэтажные и даже пятиэтажные.

— Ну уж...

— Честное слово...

У Сергея снова пошли по спине мурашки, только теперь холодные, неприятные. Какой он дурак, и совсем это не она. Там, где они жили, пароходов не было. Да и не стала бы хвастаться Люда. А голос все-таки похож, здорово похож. У них у всех голоса немножко похожи, у девчонок.

Он злился на себя и на эту новенькую. У него было желание наклониться и крикнуть ей: «Хвастунишка ты!». Но снова его что-то сдержало. Он не наклонился и ничего не крикнул — он не мог так сразу расстаться со своей иллюзией, ему хотелось хоть немного еще проехать вместе с ней, с Людой Запашной.

Когда поезд остановился, Сергей увидел новенькую. Это была невзрачная на вид, щуплая темноволосая девчонка, с независимым, чуть вызывающим взглядом. С грустью он смотрел на нее. Быть может, она была и неплохой девчонкой, однако он сразу же невлюбил ее и на экскурсии по заводу все время держался от этой Люды подальше. Ему просто неприятно было стоять с ней рядом. Он злился, что у нее такой же, как у Люды, голос, злился, что ее тоже зовут Людой.

## 17

«А далековато ездит мама...» — сочувственно и уважительно подумал Сергей, когда увидел впереди решетчатые ворота канатного завода, а за ними приземистые цехи и долговязую кирпичную трубу с клубящимся черным шлейфом дыма.

В ноздри ударил резковатый, но приятный, знакомый запах паленого металла и пеньки, знакомый потому, что так пахло от матери, когда она приходила с работы. Странно, сначала Сергею не нравился этот запах, а потом он привык к нему, и теперь ему был даже приятен запах маминой спецовки. Так же, как и отцовской тяжелой куртки, которая вобрала в себя самые вкусные запахи: бензина, полыни, ветра и солнца.

На проходной ребята вмиг стали серьезней. И, кажется, взрослей. И потому, что впервые были на заводе. И потому, что отсюда начинался мир, неведомый им, мир их родителей, мир взрослых, в который полущутя-полусерьезно шагают уже и они. Здесь, чувствовали они, начинается что-то большое, серьезное, настоящее.

— Смелей, братва, смелей! — подбодрил их высокий сухопарый мужчина, припадавший на одну ногу, носком глядевшую внутрь, из-под растянутого ворота гимнастерки у него выглядывал треугольник тельняшки.

— Моряком был, — восторженно шепнул Сергею Пашка, — смотри, и якорь на руке...

— Дорогие ребята, — хриловато заговорил он, жестом остановив всех. Наверное, и взрослые волнуются иногда: он надолго замолчал, оглядывая ребят, сначала одну руку сунул за пазуху, потом сложил руки перед собой, прикрывая

большим пальцев якорь. — Дорогие ребята, вы только что переступили порог самого старого в нашем городе завода — канатного. На первый взгляд он вам, быть может, и не совсем понравился: пыль тут, дым, шум, грохот — на то и завод. Но вот что я хочу сказать вам, ребята... Испокон веков шумит-бушует океан. Вдоль и поперек бороздят его тысячи судов, больших и маленьких, начиная от утлой лодчонки и кончая многоэтажными плавучими городами — теплоходами. И каждое из них в своем дальнем или недалнем плаванье, будь то стремительный сторожевой катер или тихоходный тяжелый танкер, рыболовный сейнер или ледокол, боевые корабли всех рангов: подводная лодка, линкор, миноносец, эсминец, крейсер — все они не могут обойтись без такой простой на первый взгляд и вконец необходимой древнейшей на нашей планете снасти, как обыкновенный пеньковый канат...

Потом ребята смотрели и трогали эти канаты, жесткие, грубые, тонкие и толстые, из пеньки и стали.

Сергею очень хотелось увидеть мать, но он, к стыду своему, не знал даже, в каком она цехе. А у Пашки спросить постеснялся. В одном из цехов, где было очень пыльно, кругом трещало, мелькало и грохотало, он увидел бабушку Пелагею, что жила у них на первом этаже, она тут совсем не была похожа на бабушку, быстро и споро что-то делала у станков, которые неистово стрекотали и дергали в одну-другую сторону ровненькие толстые нити. Она улыбнулась Сергею и тут же забыла о нем.

В следующем цехе было не так пыльно и немного тише.

— А вон мама, наша мама! — крикнул Пашка и побежал к матери, стоявшей у продолговатого станка, на котором что-то быстро-быстро вращалось.

— Мама! — также обрадовано крикнул Сергей и тоже бросился к ней.

Что-то делая у станка, мать не видела и не слышала их. И обернулась только тогда, когда Пашка тронул ее за локоть.

— Ой! — вскрикнула она от неожиданности. — Вот молодцы...

Ни ребята, ни мать ни о чем больше не говорили, смотрели друг на друга, словно тысячу лет не виделись, улыбались, потом мать опять вскрикнула, что-то сделала со станком, и откуда-то полилась белая, как молоко, жидкость.

Мать была очень рада им, но уделить детям больше ни минуты не могла.

— Так мы пойдем, мама, — сказал Пашка.

— Идите, идите, — ответила мать и тут же отвернулась к



станку.

И ребята побежали догонять товарищей.

Когда снова вышли на улицу, уши, казалось, заложило — тишиной.

И Пашке, и Сергею завод понравился. И потому, что здесь работала их мать. И потому, что он выполнял важные заказы — для фронта.

## 18

Наконец пришло от отца письмо. Когда мать развернула потерянный треугольник и начала читать, Сергей слышал не ее голос, а голос отца, ровный, густой, со смешинкой, и ему показалось, что стоит на миг закрыть глаза, а потом открыть, и рядом с матерью увидит отца. Он писал, что чувствует себя хорошо и что скоро, через полмесяца, примерно, приедет. Его письмо получили в середине сентября. Сергей и Пашка исследовали штемпеля на конверте, учли дату на письме и, сделав скидку на дорогу, пришли к выводу, что в первых числах октября они обязательно увидят отца. Они любили встречать его. Почти каждое лето он уезжал в военные лагеря. Перед отъездом отыскивал в календаре дату, когда примерно должен вернуться, и ставил на листке синим карандашом птичку. Отрывая по утрам очередной листок календаря, ребята каждый день смотрели, сколько еще осталось листков до того, который пометил отец.

Однажды Сергей (он тогда не ходил еще в школу и не умел считать) перед сном потихоньку от всех оторвал от календаря несколько листков, оставив перед помеченным птичкой только один, и оторвал его на другое утро, считая, что в этот день приедет отец. Отец, конечно, не приехал, но весь день Сергей ходил счастливый и терпеливо ждал его до позднего вечера. Он и теперь с удовольствием оторвал бы от календаря все листки до первого октября.

Из госпиталя отец выписался в конце октября и, не побывав дома, уехал на фронт. Он не писал, почему не приехал, мельком упомянул, что не мог поступить иначе.

Вместе с чувством досады, которое охватило Сергея, когда он прочел письмо отца, появилась и гордость за него. Он на фронте, он воюет, он тоже бьет фашистов! Его отец!

Когда грузились в эшелон, ехали сюда, в Сибирь, когда Сергей видел проносящиеся навстречу эшелоны с танками, пушками, с полуразобранными самолетами на платформах, ему становилось не по себе. Ему стыдно было за их эшелон, за всех, кто ехал в нем.

И даже за отца. Сергей никому не говорил об этом.

Конечно, на войне, кроме фронта, должен быть и тыл, и тыл тоже очень нужен. И все равно было стыдно за свой эшелон. И перед знакомыми ребятами, чьи отцы с первых дней были там, на фронте, Сергей чувствовал себя немного неловко. Да, отец ранен, да, он сейчас в госпитале и скоро выпишется. И приедет сюда, в этот авиационный городок. Сергей стеснялся говорить, где и как ранили отца. Понимал, что это нечестно по отношению к отцу, что это почти кощунство, и было стыдно за свои мысли перед ним, но мысли такие были, и Сергей злился на себя, что так может, так смеет думать. И мысленно не раз извинялся перед отцом и просил его только об одном: «Приезжай, приезжай скорее, папа».

Говоря откровенно, Сергею совсем не хотелось, чтобы отец попал на фронт. Он даже потихоньку надеялся, что пока отец вылечится, война уже закончится. Да, надеялся, мечтал об этом, однако, узнав, что отец теперь на фронте, вместе с горькой досадой и тревогой Сергей почувствовал и гордость, настоящую гордость за своего отца. И теперь в душе он свысока смотрел на Славку, отец которого не воевал.

Прочитав письмо, они с Пашкой сразу засели писать ответ, а мать с отцовским письмом в руке молча вышла в другую комнату и тихонько притворила за собой дверь. Сергей написал уже: «Здравствуй, папа!» потом загнул и аккуратно оторвал полоску бумаги с этими словами и написал: «Здравствуй, дорогой папа!». А дальше не писалось. Сергей усиленно думал, что написать дальше. Еще минуту назад он знал, что именно будет писать, а теперь все мысли вдруг улетучились. Он думал об отце и слышал за дверью тяжелые вздохи мамы.

Можно сейчас встать, подойти к матери и сказать что-нибудь ласковое. Но они не хотели ее обижать — она всегда стеснялась своих слез, ребята это знали. И они продолжали сидеть за столом, уткнувшись в совсем еще чистые листы в голубоватую клеточку. Мать всхлипнула, и тут же ребята услышали глухой удар в дверь, за которой она стояла. Пашка настороженно взглянул на дверь и привстал в нерешительности. Сергей тоже поднялся.

— Мам! — не выдержал он.

— Что, Сережа? — не сразу отозвалась она.

Он не знал — что, он просто хотел услышать ее голос.

— Мы ходим за водой, мама, — сказал Пашка.

— Я сама, Павлик, сама, — проговорила она и, кажется, отошла от двери.

Пашка кивнул: пошли...

— Да я сама, — снова сказала мать, когда они сразу втроем

взялись за ручку ведра.

— Ма-ма... — сказал Пашка, как отец, с укором и деланной обидой.

— Ну, ладно, — сдалась она, — только не набирайте полное...

Она все еще считает их маленькими.

Воду обычно привозил во двор водовоз. Появлялся он два-три раза в неделю. Если бы у них, как у всех жителей двора, были кадки для воды, они бы не ходили с одним ведром за полкилометра к водоразборной колонке. Воду почти всегда приносила мать. Ходили за водой и ребята, но это, по обыкновению, случалось тогда, когда они чувствовали в чем-нибудь себя виноватыми перед матерью и хотели задобрить ее.

По дороге к колонке и назад ребята шли молча. Сергей только один раз спросил Пашку, долго ли будет война. Тот, казалось, не слышал вопроса.

— Давай, — сказал он, — всегда будем ходить сами за водой.

— Давай, — согласился Сергей.

## 19

Зима наступила сразу: однажды утром выглянул Сергей в окно и не узнал двор — все было белым-бело. Светило солнце, но снег не таял. К вечеру потеплело, надвинулись тучи, и снова пошел снег.

Спустя недели две в окно уже ничего не было видно — стекла замерзли, и в комнате даже днем было как в сумерках. А город посветлел, вся его серость, кроме заборов и стен домов, теперь была спрятана под снегом. В школьных коридорах стало тише — почти все носили валенки и катанки.

С приходом зимы жизнь у ребят стала разнообразней, потому что в сильные морозы в школу не ходили. И теперь каждое утро Сергея и Пашку больше всего интересовало, сколько сегодня градусов. Как только мать уходила на работу, ребята прикручивали к валенкам белыми сыромятными ремешками коньки и целый день катались по уезженным машинами и санями улицам, совсем не замечая мороза, и не понимали, почему отменены в школе занятия, да и не старались понять. Побольше бы таких морозов, думали они.

Домой возвращались за час-два до прихода матери с работы. Растопив печь, сушили в духовке рукавицы, валенки, ремешки, насухо протирали коньки, чтобы мать не

догадалась, что они катались на коньках. В сильные морозы она запрещала кататься, чтобы не обморозились.

А у ребят имеется про запас немало таких игр, для которых не требуются ни мяч, ни бабки, ни битки, лишь бы кто-то был рядом с тобой. Замерз? Давай в «петушки» сыграем! Стал на одну ногу, руки согнул в локтях и айда в наступление на противника, а ну его плечом, а он тебя — кто кого собьет наземь!

А если тут целая компания, тогда давай в «жучка»: кто последний сказал «чур не я!» — становись спиной ко всем и подставляй левую ладонку под правое плечо, чтоб не так больно было, когда тебе со всего маху влепят, а правой ладонкой лицо прикрывай, чтоб не видно было, кто именно жучит. А потом попробуй угадай, кто бил. Перед тобой дюжина больших пальцев. И лица у всех невинные.

Алька и Пашка били открыто, влепят «бомбочку» и, сияя от удовольствия, смотрят тебе прямо в глаза: ну, как, мол, чувствительно? В эту игру иногда принимали и Немца. Он обычно бил легонько, наверное, не ощущал себя равным среди ребят и даже опасался прогневить их или кого-то настроить против себя. Поэтому чаще всех и голил. Хитрее всех действовал Юра: то под Пашку и Альку работал, вкладывая в удар всю силу, то под Немца, и лицо у него всегда выражало то невинность, то наивность. Толя, Сергей и Руслан били как получится, смеялись и этим выдавали себя.

В крепкий мороз хорошо и в «коробочку» гонять. Под рукой, вернее, под ногой, всегда найдется ледышка или консервная банка, и футболят ее ребята. Кто голит, старается задеть ледышкой или консервной банкой кого-нибудь по ноге. Но тот старается поджать ногу или подпрыгнуть. Не так-то просто попасть, семь потов с тебя сойдет, пока другой голить станет.

Мороз тридцать пять-сорок градусов... Да какой это для ребят мороз?! Мороз для них дело привычное и даже радостное. Это для фрицев мороз — так то мороз. Как началась настоящая русская зима, сразу пыл поубавили. А еще на Урал и Сибирь поглядывают. Ну и фрицы, не видали они сибирских морозов и с сибиряками по-настоящему не встречались.

Теперь ребята были глубоко убеждены, что Гитлер просто дурак-дураком, ну, куда он прется, тут и мальцу ясно — не видать немцам России, как своих ушей...

## 20

В один из таких морозных «нешкольных» дней пришло от отца сразу шесть писем. Письма были написаны в разное время, из разных мест. В одном была маленькая-маленькая фотография, на которой возле винта самолета стоял с двумя военными отец. На фотографии он выглядел строгим, почти сердитым. Он всегда на фотографии получался таким. Письма были короткие, в шутовском тоне, казалось, он писал не на фронте, а в доме отдыха. Он совсем ничего не писал о себе, кроме того, что жив-здоров, и что все хорошо. В каждом письме спрашивал, как они, Сергей и Пашка, учатся, как ведут себя, как здоровье. А в одном письме сообщал, что, наконец, добился того, о чем мечтал с первых дней войны, — теперь он летает.

Ребята обрадовались этому, а мать была недовольна; она сказала, что летать опасней, чем возиться с самолетами на аэродроме, и что зря отец перешел на самолет. Ребята не стали спорить, зачем в такой радостный день портить матери настроение. Пашка даже успокоил ее, он сказал, что, судя по мотору и винту, возле которого снят отец, этот самолет транспортный, и отец летает по тылам, доставляет продовольствие, забирает раненых, и что на таком самолете летать совсем не опасно. Говоря все это, Пашка чуть заметно подмигнул Сергею, и тот тоже подтвердил, что самолет транспортный, хотя сразу заметил, что это «СБ» — скоростной бомбардировщик. Кто знает, насколько поверила мать, но минутное недовольство на ее лице сменилось улыбкой — жив-здоров, главное!

Вечером собрались соседки, мать наварила полную кастрюлю картошки в мундирах, кто-то принес огурцов, кто-то в кулечке — ржавой камсы, а тетя Клава — целую бутылку водки. Ребята знали, что мать даже от глотка вина кривилась, словно это был уксус. А теперь она взяла свой стакан и первая сказала, как говорил отец:

— Ну, будем...

И первой выпила. Закашлялась до слез, но выпила. Она была очень веселой. Разрумянившись, в крепдешиновом платье, которое впервые надела за это время, обняв Клаву, она что-то оживленно рассказывала ей и раз за разом говорила:

— Да ешьте, ешьте, картошки я достала!

Потом пели песни. И плясали. Да так плясали, что с первого этажа пришла бабушка Пелагея и принесла кусок штукатурки, который еще больше развеселил всех. Бабушке пообещали не плясать так сильно, но когда она узнала, по

какому поводу торжество, гнев сошел с ее лица. Она сунула отвалившийся кусок штукатурки в карман халата и, моргая редкими ресницами, долго-долго рассматривала треугольники отца и его фотографию. Всплакнула, видимо, вспомнив своего младшего сына, пропавшего без вести, потом сказала тихо:

– Я все равно по ночам не сплю – пляшите...

– Да вы побудьте с нами, Пелагея Кирилловна, – попросила мать, загораживая собой дверь.

И все стали упрашивать ее остаться, но она сказала «спасибо, спасибо» и сколько ни упрашивали, ушла все-таки. Теперь можно было снова плясать, но почему-то никто больше не плясал. И не пели песен. А вскоре стали расходиться. Когда мать убрала со стола и принялась мыть посуду, в дверь кто-то постучал. Сергей даже приподнялся – а вдруг отец?!

Нет... не отец... Вернулась тетя Клава. Сергей не слышал, о чем она тихо говорила матери, но мать время от времени отвечала:

– Да нет, Клава... да что ты... все равно... – и уже раздраженно: – Да куда я не пойду, что ты!..

– Ну, ладно, – сказала громче тетя Клава, – дело твое, а я... война все спишет... Ты думаешь, они там...

Сергей все понимал, он абсолютно все понимал и очень переживал за мать, и презирал и ненавидел сейчас эту тетю Клаву, которая так ласково всегда улыбалась ему. Мать никогда не узнает, как он переживал в те минуты за нее, и как он был горд и как любил ее, когда она совсем громко и твердо сказала это «Клава», после чего та сразу ушла. За дверью она запела «Синенький скромный платочек». Сергею нравилась эта песня, но теперь он ненавидел ее и презирал, как тетю Клаву. Какая же она... Война все спишет...

Уснул Сергей быстро. Едва закрыв глаза, он сразу увидел маленькую-маленькую фотографию и строгое, почти сердитое лицо отца. Улыбнулся ему. Лицо отца ожило, он тоже улыбнулся. Засыпал Сергей под крепкий спокойный рокот двухмоторного самолета, на котором летел отец на очередное боевое задание.

## 21

Грустно, когда уходят поезда. Особенно, когда они уходят на фронт.

В погожие дни ребята часто отправлялись на вокзал провожать эшелоны. На перроне гул, толкотня, заплаканные лица женщин и подбадривающие улыбки солдат, слезы и

смех, песни и хлесткие выкрики команд, тревожные гудки паровозов. Сергей стоял в шумной толпе и махал рукой совсем незнакомым людям в шинелях. И был бесконечно счастлив, когда какой-нибудь боец на долю секунды задержит на нем взгляд и помашет рукой. Ему, Сергею, помашет рукой.

В одном из таких эшелонов уехал на фронт Иван Тимофеевич. В классе давно ходили слухи, что он просится на фронт, а его не отпускают. Сергей не мог представить своего учителя солдатом, Иван Тимофеевич — и вдруг солдат... Но однажды он не пришел на урок, а вместо него в сопровождении завуча вошел в класс новый учитель, подтянутый, совсем молодой, в темно-синем морском кителе без погон, на груди у него были три желтые и одна красная полоски, что они означают, ребятам уже было известно: значит у него три легких ранения и одно тяжелое. Кисть правой руки у нового учителя не гнулась, писал он левой рукой с сильным наклоном букв влево. Ребята сразу прониклись к нему уважением. А после уроков зашел в класс Иван Тимофеевич в военной форме.

— Ну вот, друзья, будем прощаться, — совсем обыденно проговорил он, но все видели, как он волнуется.

Он чувствовал себя неловко и смущенно в военной форме. Он, видимо, собирался сказать что-то чрезвычайно важное, и Сергей переживал за него.

— Ну вот, друзья, — повторил он и сделал рукой непроизвольный жест, сказал, кажется, не совсем то, что хотел. — Теперь у вас новый классный руководитель, Виктор Александрович, фронтовик, бывший моряк Черноморского флота... Я думаю, что вы... что вы покажете себя с хорошей стороны, — он снова сделал жест рукой, недовольный тем, что и как говорит, улыбнулся, — а я вам непременно напишу, ребята, и вы, пожалуйста, пишите мне...

Провожали Ивана Тимофеевича всем классом. В новом белом полушубке, с вещмешком за плечами, он шел с винтовкой на плече в самом последнем ряду колонны бойцов — замыкающим. Очки на его носу подпрыгивали в такт шагам. Таким он и запомнился, Иван Тимофеевич. Писем от него ребята не получали и больше никогда его не видели.

А спустя несколько дней уезжал на фронт Мича. Алька был горд и печален. Он держал на плече вещмешок и неотрывно смотрел на брата. Мать, уже выплакавшая все слезы, стояла молчаливая, с горькой лаской в глазах и крепко-крепко держалась двумя руками за его локоть, словно надеялась, что когда эшелон тронется, она удержит сына,

не отпустит его туда. А Мича был беспечен, весел, шутил и громко смеялся, сверкал своими ослепительно белыми зубами, и весь его вид говорил: я знаю, что меня ждет впереди, знаю, но за меня не беспокойтесь — не пропаду! И только во взгляде его пряталось что-то вроде глубокой тоски и досада. Особенно это было ясно видно, когда он время от времени осматривал кишачий людьми перрон. Сергей знал, кого искал Мича, и разделял его настроение. Они так и не помирились. Она не пришла. Сергей уже несколько раз шнырял по толпе, надеясь увидеть ее. И в душе ругал ее.

— По ва-го-нам!.. — эхом прокатилось по перрону.

Толпа колыхнулась, Мича взял у Альки вещмешок, легко закинул его за плечо, обнял и поцеловал мать, брата.

— За голубьями гляди, братиша...

И вдруг рванулся, мягко отстраняя от себя Альку, мать, — Тамара... Она словно с неба свалилась, но вернее всего, она все время находилась где-то рядом и не решалась подойти. Голубые глаза ее были влажны.

— Ты... — проговорил он, кажется, нисколько не удивляясь, и бережно взял в свои большие руки ее смуглое, густо усеянное родинками лицо.

Эшелон уже тронулся, увлекая за собой живую, гулко ревушую толпу. Сергей потерял из виду Мичу, и Пашку, и Альку, и его мать, и Тамару. Он бежал за толпой, пока не скрылся в морозном тумане белый от снежной пыли последний вагон эшелона.

## 22

Где-то шла война, пылали дома и целые города, гибли люди. Солдаты и несолдаты. И даже те, кто не знал, что это за слово — война. И к Сергею снова и снова приходила одна и та же мысль: зачем люди воюют? Война — самое плохое, самое страшное, на что способен человек. Потом... все войны когда-то кончаются, бесконечных войн не бывает. Все равно когда-нибудь наступит мир. Зачем же тогда убивать столько людей?!

Сергей не мог понять ни Гитлера, ни немцев. Как и его брат. Как и их друзья. И к немцем крепла ненависть.

Юра и Славка достали огромный плакат, на котором был нарисован красноармеец, закалывающий штыком фрица, внизу броский гневный призыв: «Хочешь жить — убей немца!». Плакат хотели приколоть на дом Немца, но тот, услышав стук, выскочил из комнаты и, дрожа от обиды, сорвал плакат и кинулся на Юру и Славку. Они бы здорово поколотили его, если б не подоспел Алька — он терпеть не



может, когда двое на одного. Немец кричал: «Бейте, бейте, вы сами фашисты, бейте...».

С Немцем Сергей учился в параллельном классе. Однажды после того случая им выпало в один день дежурить в школе: перед занятиями они топили печи в коридоре. Принеся охапку дров и сложив ее у печи, Немец спросил с какой-то робкой надеждой на участие: «Скажи, разве я виноват, что родился немцем?». Сергею не очень хотелось разговаривать с ним, он пожал плечами, но, взглянув на его лицо с огромным синяком под глазом и припухшими губами, сказал, что, конечно, не виноват. И впервые о себе подумал: как все-таки здорово ему повезло, что родился он не где-то в фашистской Германии, а в Советском Союзе.

## 23

Вести с фронта приходили одна тревожнее другой. И все больше и больше прибывало в город раненых. Госпиталей не хватало. Незадолго до Нового года ребята перебрались в другую школу, потому что их школа теперь стала госпиталем. И теперь из дому ребята выходили на четверть часа раньше, когда было еще совсем темно. Только сейчас Сергей понял, почему ребята не застегивают пальто на пуговицы, а запахиваются им, как тулупом. Застегнешь пальто и чувствуешь, будто на тебе не пальто, а пиджачишко — мороз так и щиплет за спину, а запахнешься — теплее. Морозы с каждым днем становились сильнее. Ноги и руки здорово коченели, пока добежишь до дверей школы, из которых валит пар, и войдешь в теплый-теплый класс.

В новую школу Сергей входил с тем же настроением, с каким шел первого сентября. Его не покидала надежда, что где-то когда-то он все равно увидит Люду. Он ругал себя, что не догадался раньше придти сюда и вообще подежурить у всех школ. Как это раньше ему не пришло в голову? И он ходил потом и дежурил. Но ее не видел. И говорил себе: ничего, ничего... Зато однажды он встретил ее маму. Это случилось совсем неожиданно. Из дому Сергей вышел раньше обычного, он дежурил в тот день, и до начала занятий нужно было растопить в классе печь. Он шел по пустой темной улице и вдруг на углу, возле газетного киоска, слабо освещенного фонарем, столкнулся с ней лицом к лицу. Она улыбнулась:

— Сережа?!

Если бы она не улыбнулась, он бы ни за что не узнал ее. Перед ним стояла совсем пожилая женщина, ссутулившаяся, в огромных валенках, темной короткой шубе, в большом

сером платке, концы которого были перекрещены на груди и уходили за спину. Лицо у нее было худое, нос заострился, под глазами темные круги... Совсем не она. Только улыбка знакомая, точь-в-точь как у Люды.

— Здравствуйте, — сказал Сергей.

— Здравствуй, Сережа, здравствуй, — проговорила она негромко, и улыбка исчезла с ее лица. И теперь она показалась совсем старой. — Как мама, как Павлик? — безучастно спросила.

— Ничего, — сказал он, — спасибо. Вы на работу?

— С работы, — растерянно ответила она.

Она смотрела на него отрешенным взглядом, смотрела молча и так долго, что у него невольно шевельнулись в валенках пальцы, и он сказал, точно оправдываясь:

— Вот... в школу иду...

— В школу? — она моргнула ресницами, и с них слетел иней.

— В школу.

Она кивнула головой и чаще заморгала ресницами.

— Так рано?

— Пашка еще дома, а я дежурю сегодня, — сказал Сергей и, как бы подтверждая это, легонько встряхнул плечом, за которым висела вязанка сосновых дров — с топливом в школе было туго, и, кто мог, приносил свои.

— А-а, — сказала она и вздохнула порывисто.

На ее щеку села крупная снежинка и медленно-медленно таяла.

— А сегодня теплее, — сказал Сергей, потому что не мог молчать под ее взглядом.

Она ничего не ответила, должно быть, не слышала потому что немного погодя спросила:

— А Павлик где?

— Дома еще...

Она снова кивнула, обвела его неторопливым взглядом и раз, и другой, черты лица ее стали мягче. А когда она положила ему руку на плечо, уголки губ ее тронула слабая, едва заметная улыбка. И у Сергея снова зашевелились в валенках пальцы, он сжал их, чтоб они не шевелились. Сергей понял: она не ему положила руку на плечо, она не его сейчас видела.

— Иди, — с трудом проговорила она, опуская голову и прикладывая руку к груди, и еле выдавила: — Иди... мальчик, иди...

— До свидания, — сказал он и хотел уже было уходить, но рука ее все еще не отпускала его плечо, и она теперь

смотрела тем же взглядом, потерянным, отрешенным, как тогда, когда говорила: «Здравствуй, Сережа, здравствуй». Потом ее рука вяло сползла с его плеча, повисла на мгновение в воздухе, поднялась вверх и поправила на нем шапку. — Хотя, постой, Сережа...

Сняв пушистую рукавичку, она достала из внутреннего кармана шубки что-то завернутое в клочок газеты, положила ему в руку:

— Возьми это, скушаешь на переменке...

Наощупь он понял — кусочек сахара. В другой раз он бы обрадовался, но сейчас ему было не до сахара, и он сказал:

— Не надо, я не хочу.

Она мягко сжала его кулак и, уже не глядя на него и не слыша его, сказала глухо:

— Иди, мой мальчик, иди...

И вдруг прижала к себе.

Так плачет и его мать — беззвучно, совсем неслышно.

Он зажмурил глаза.

Он стоял, уткнувшись в ее мягкую шубку. Сначала она была холодной, как железо, потом потеплела. А Сергею было холодно-холодно, он весь дрожал.

После уроков Сергей вышел из школы последним. Толя куда-то его звал, но он сказал, что надо домой, и побрел переулками. Он не чувствовал крепнущего к вечеру мороза, не слышал, как бухает лед на реке, и, кажется, ни о чем не думал, на душе было пусто, страшно обидно и хотелось плакать. Он шел по улице, сжимая в кармане кусочек сахара, шел, глядя прямо перед собой.

«Этого не может быть! — говорил он себе, все понимая. — Не может быть!»

До встречи с ее матерью еще теплилась надежда. Он-то чувствовал, что больше никогда не увидит ее, девочку, на которую похожа Василиса Прекрасная, девочку, за которую хотел заступаться. И не верил в это. Не мог поверить, не хотел. Есть вещи, в которые невозможно поверить.

Сжимая в кармане кусочек сахара, он шел по улице, не отворачивая лица от жгучего мороза. С болью и непониманием он вдруг пожелал: хотя бы не кончилась война так скоро, он подрастет и отомстит. Отомстит!

## 26

Кроме хлеба, на карточки ничего не давали. Крупа, макароны, мясо, жиры — все это, напечатанное на хорошей лощеной бумаге, складывалось в коробку.

Чтобы легче было жить, чтобы как-нибудь свести концы

с концами, на следующую зиму мать пустила квартирантов — пожилую чету артистов эвакуированного театра. Раньше и Сергей и Пашка думали, что артисты — самые богатые люди. Все во дворе так думали. И завидовали им. А завидовать было нечему. Артисты жили несколько не лучше других.

Квартиранты попались хорошие, они бесплатно провели ребят на спектакль «Шельменко-денщик». Это был первый спектакль, который ребята не смотрели, и он им очень понравился. И театр тоже. И квартиранты, которых сразу узнали, когда увидели на сцене. И ребята даже решили, что, когда вырастут, обязательно станут артистами.

Кем они уже только не были в своих мечтах... Посмотрев кино «Истребители», решили, что будут летчиками-истребителями, посмотрев кино о танкистах, мечтали стать танкистами, посмотрев кино о моряках, решили быть моряками. А когда увидели фильм «Комсомольск», то загорелись желанием строить новые города. А однажды к ним в гости приезжал дядя Андрей, брат отца, геолог, и весь вечер рассказывал о том, как они блуждали в якутской тайге, как нашли самородок золота на три килограмма. Тогда ребята решили, что нет ничего интереснее в жизни, как быть геологом... Мать же хотела, чтобы Пашка стал учителем, а Сергей врачом.

Последнее время мать запрещала кататься на коньках, чтобы не худели. Что-что, но коньки ребята не могли оставить, тем более, что любимое место, где все обычно собирались, было возле пекарни: дыши хлебом, сколько хочешь.

Когда показывалась машина, они, чтоб не заметил шофер, немного пропускали ее вперед, затем догоняли и, закинув за борт длинные проволочные крючки, мчались на буксире, мчались до тех пор, пока машина не увозила далеко за окраину, где снег был рыхлее и коньки вязли, или пока, притормозив, не выскакивал из кабины шофер — все врассыпную, а кто не успел убежать, у того водитель финкой срезал коньки...

Вечерами ребята сходились обычно у Толи — у него был репродуктор. Прослушав сообщения Совинформбюро, усаживались возле печки, вспоминали довоенное время, гадали, когда, наконец, кончится война. А Руслан своим таинственно-вкрадчивым голосом сообщал городские новости, которые он всегда неведомо от кого узнавал первым

и которые были одна страшнее другой.

Говорили, что люди находят отравленные конфеты, папиросы, колбасу, что на толкучке продают отравленную губную помаду, что торгуют котлетами из человеческого мяса, что в городе действует банда «Черная кошка»...

Одним словом, город был полон всяких разных слухов, и каждый день ребята говорили о них. И много теперь говорили о еде. Руслан все сетовал: раньше у них столько было хлеба, целые буханки, а он, дурак, ел все без хлеба. Если бы он только знал... А Толя, как только придет к Сергею, все жалуется на свою сестренку, пятилетнюю Лариску: «Ну, прямо диверсант. Что с ней делать?». Дело в том, что его сестренка, несмотря на свои пять лет, была весьма сообразительна. Она съедала половину супа, который оставался на вечер, а потом доливала его кипяченой водой. А то исчезали вдруг кусочки сахара, предназначенные на следующий день, то еще что-нибудь.

Руслан придумал новый способ питания — дешевый и сытный. Утром он выпивал пять-шесть стаканов чая, без сахара, разумеется, а потом съедал кусок хлеба и говорил, что чувствует себя абсолютно сытым. Сергей и Пашка тоже провели такой опыт, однако он не пришелся им по душе — желудок полон, а есть все равно хочется. Видно, не хватало самовнушения, к которому прибегал Руслан.

Но больше всего, забыв даже о еде, ребята любили смотреть кино про войну. Как только появлялся на экране фашист, они из самодельных деревянных пистолетов стреляли в него и были страшно довольны, когда «выстрелы» совпадали с выстрелами наших бойцов.

Ребята очень любили петь и знали много песен. Запевал обычно Толя. Его голос, негромкий, но задумчивый и звонкий, крепко брал за сердце.

Отец Толи летал на «У-2», должно быть, поэтому Толя обычно начинал со своей любимой:

Пусть «У-2» свою песню затянет,  
Ветер будет ему подпевать,  
Если дальше мотор не потянет,  
Значит, будем на нервах летать...

И, подтягивая Толику, каждый видел голубое небо с белыми клочками разрывов, видел двукрылый самолет и мужественное лицо летчика. Толик видел своего отца, Сергей и Пашка — своего. Да и все ребята видели своих отцов или братьев, даже если те не были летчиками.

Песни помогали ребятам коротать долгие зимние вечера и не думать о войне, о том, что на фронтах каждый день

гибнут советские люди и что также могут погибнуть их родные.

Местные ребята ничем особенно не отличались или почти ничем от Пашки и Сергея. Они так же чувствовали себя виноватыми, что в такое время им так мало лет: на фронт нельзя и на работу нельзя, ходи себе в школу, как и до войны, сиди за партой и не думай, что где-то твой отец ведет самолет на таран или со связкой гранат идет один на один с танком... А ты смотри в книгу и ломай голову над задачей о двух пешеходах, вышедших из пункта А в пункт Б.

А кто-то ползет в это время, — думал Сергей, — к насыпи и зарывает под рельсы тол. А фашистский снайпер, быть может, в это мгновение берет его на мушку.

И, может, зарывает сейчас под рельсы тол не бородастый партизан, а такой же мальчишка, как он, Сергей, и это его фашист берет на мушку!

А Сергей сидит в теплом классе и ломает голову над какой-то задачей и боится двойки. А тот мальчишка чего боится? Он самой смерти не боится! И в такие минуты Сергею становилось не по себе, ему очень неловко и больно, что он уже и не совсем маленький, но все же ни на работу не берет, ни на фронт тем более.

А тех ребят, которые сейчас воюют, разве взяли на фронт, — однажды пронзила его неожиданная мысль. И он даже закрыл книгу от неожиданности: а что, если убежать на фронт? Собрать кое-какие вещицы, запастись продуктами и рвануть на фронт, а? Он совсем не маленький, он абсолютно все понимает и стрелять может не хуже других.

Но все эти мысли были такими робкими, что он вскоре забывал о них или же лишь тайно мечтал. А мечтается лучше всего, когда поёшь. Поэтому он и любил петь, и поэтому все ребята очень любили петь: в песнях они были сильными, смелыми, добрыми, щедрыми, великодушными и мужественными. В песнях они выросли.

А в жизни оставались пока обыкновенными мальчишками, у которых одной из главных забот была самая обыденная забота — сыто поесть, и, если подворачивался случай, они его не упускали. И Сергей — тоже.

В войну кусок хлеба был на вес золота. Есть хотелось постоянно. И порой Сергею до горечи делалось обидно, что до войны у них дома столько было хлеба — целые буханки, а он, дурак, все ел без хлеба.

С нетерпением ребята ждали лета. И оно наконец пришло.

Теперь и в школу не надо было ходить. И, кроме своих трехсот граммов «горбушки», теперь они имели еще кое-что: соседние и дальние огороды, которые успели изучить не хуже собственного двора.

Летом любимым местом для игр, кроме, конечно, реки, было кладбище самолетов, оно находилось на краю аэродрома и никем не охранялось.

В военном городке организовалась еще одна часть — авиационная база. И теперь появилось новое слово — перелетчики, то есть летчики перегончного полка, они перегоняли самолеты с Аляски через базу на фронт.

Перелетчики ребятам нравились. Все молодые, веселые, в орденах и медалях. Сергей смотрел на них с восторгом, потому что они были там, на фронте, потому что каждый из них сбил не одного фашиста, а теперь они поведут новые самолеты. Почти каждое утро или к вечеру небо раскаливалось от грохота моторов — это летели широким клином на американских «кобрах» перелетчики, впереди обычно шел ведущий «Бостон» или «Боинг», двухмоторный бомбардировщик. Теперь на аэродроме самолетов было не сосчитать: от горизонта до горизонта стояли они, выстроившись в красивые ровные ряды.

Играя на кладбище самолетов, ребята встречали перелетчиков громким троекратным «ура!» и махали им руками. Целыми днями лазили по списанным полуразобраным машинам, отвинчивая от них все, что еще можно было отвинтить, выпиливая остатки плексиглаза, а когда карманы были набиты, устраивались на массивном крыле четырехмоторного «ТБ-3» (летчики эти самолеты называли гробами) и наблюдали за «дугласами», которые, сделав несколько кругов над аэродромом, сбрасывали курсантов-парашютистов. Сергей любил смотреть затяжные прыжки: казалось, сам летишь. Потом вдруг кто-нибудь командовал: «Воздух!», все мигом забирались в свои «кобры» или «Яки» и «взлетали» на перехват «противника». У каждого, как и положено летчику-истребителю, было условное имя, позывные. Сергей был «Чайкой», Пашка — «Звездой». Ребята кричали: «Чайка, Чайка, с солнца заходит «мессер»! Или Сергей кричал: «Звездочка, прикрой хвост, беру левого». Больше всего Сергей любил лобовые атаки. Ему нравилось, стиснув зубы, нестись навстречу фашисту. Сергей видел сквозь колпак его лицо — суженные глазки, длинный нос, бледную полоску губ, дрожащий подбородок.

Вот с таким выражением лица он пикировал на эшелон... «Ну, держись, гадина!» — кричал Сергей и увеличивал обороты до предела. Еще мгновение — и он врежется винтом в его винт, но тут лицо фрица сводит судорога: не выдержали нервы! Машина фашиста взмывает вверх, и Сергей нажимает на гашетку: получай гад! Когда кончались боеприпасы, шли на таран...

Летом ребята часто ходили и на озеро. Рыбы в озере было немного, колхозники давно переловили ее бреднями, и осталась лишь мелюзга. В реке-то рыбы было больше, но после каждой речной рыбалки приходилось добывать новые крючки — дно было каменистое, течение — быстрое. Добыть же новые крючки — дело сложное. Поэтому и предпочитали озеро. Наловив с дюжину золотисто-рыжих гальянов, разводили костер, накальвали на прутья рыбешек, поджаривали на огне, щуря от удовольствия глаза, смаковали их, горяченьких, хрустящих. Ромка ел сырых и доказывал — так вкуснее и полезнее.

— Если бы еще с картошкой, — говорил Пашка и цокал языком.

— С шпоре, — добавлял Руслан.

Толя утверждал, что с жареной лучше. Сергей тоже был на его стороне: конечно, с жареной лучше.

— Ну, пусть с жареной, — соглашался Руслан, — только на масле, на сливочном.

Против сливочного масла никто не возражал.

Сергей давно не видел такого чудесного утра. Тихое-тихое, в синем небе ни облачка. А воздух пахнет горячим хлебом и сосновой смолой. Хлебом, может, и не пахло, но Сергей явно слышал этот приятнейший в мире запах, наверное, потому, что видел, как мимо двора проехал хлебный фургон, а смолой пахло от свежих сосновых бревен, которые высокой горкой возвышались в глубине двора. У Сергея давно не было такого хорошего настроения. Хотелось кричать и петь. И совсем не хотелось есть.

— Руслан! — крикнул Сергей, в одно мгновение очутившись возле его окна.

Можно было и не кричать, можно было просто зайти к нему, но было так хорошо на улице, что хотелось крикнуть.

Руслан высунулся в окно, протер кулаком глаза, улыбнулся:

— Я сейчас, — сказал он.

Через минуту вышел и, поддернув плохо державшиеся на его худых бедрах штаны, ткнул Сергея острым кулаком в



бок.

- Ну?
- Что – ну?
- Ты сразу уснул?
- Нет, а ты?
- А я сразу, – немного хвастливо сказал Руслан.

Сергей усомнился в его искренности, но не подал виду, стало только досадно, что выдал себя.

Подошел Ромка. Он смачно жевал серу и за этим занятием пытался спрятать улыбку. Должно быть, он стеснялся вспоминать о том страхе, который охватил всех, когда съели яблоко. Теперь-то казалось это смешным, было стыдно вспоминать, и ребята могли заговорить о чем угодно, только не о яблоке.

- А Пашка где? – спросил Ромка.
- Спит еще, – ответил Сергей.

– Алька тоже, наверное, дрыхнет, – сказал Руслан, – голубей-то не выпускал... – и кивнул на крышу Алькиного дома, голубей действительно не было видно, на чердачном окне висел замок.

- Зайдем к Альке, разбудим его, – предложил Руслан.

Алька не спал. Двери в сени и в комнату были распахнуты настежь, и ребята сразу увидели его. Он сидел на койке с гитарой на коленях, смотрел на товарищей и, кажется, не видел их. Сергей улыбнулся ему, сказал привычное «Здоров!». Тот не ответил.

Он по-прежнему смотрел на товарищей и, кажется, не видел их.

- Чё, голубей забрали? – участливо спросил Руслан.
- Алька медленно покачал головой.
- А чё тогда?

Алька моргнул и, прикусив губу, опустил голову.

- Мича... – едва выдавил он и провел рукой по гитаре, – вчера вечером... получили... п-п-похоронку...

На гитару упала слеза. Алька не заметил ее. Никто никогда не видел, чтобы он плакал. Ребята молча смотрели на друга. Сергей хотел сказать, что Мича, быть может, вовсе не погиб, а попал в плен или, может, воюет в партизанском отряде, но промолчал. Ребята, видимо, все думали об этом, ибо это было единственной утешительной мыслью, а Руслан вдруг и высказал ее, высказал тихо и робко, очень неуверенным тоном.

- Конечно, – подтвердил Ромка тоже неуверенно. – Многие попадают в плен.

Алька проглотил слюну, и по его осунувшемуся лицу

прошла чуть заметная тень.

Всю ночь он, видимо, плакал, потому что веки у него были припухшие. Порывисто вздохнув, он, не стесняясь, вытер глаза рукавом рубахи, поднялся, аккуратно повесил над Мичиной кроватью гитару и, ни к кому не обращаясь, проговорил глухо:

— А голубей я еще не кормил...

В это утро ребята никуда не пошли: ни за ягодами, ни на рыбалку, ни на кладбище самолетов, ни к Толе, который сегодня почему-то не пришел. Все время были с Алькой и неумело, как могли, утешали его. Когда он бросил голубям корм и спугнул их в небо, то не стал, как обычно, любоваться их полетом, не махал шестом, не хлопал и не свистел в два пальца...

— Может, на речку сходим? — предложил Пашка, чтобы отвлечь Альку от тяжелых мыслей.

Через полчаса ребята сидели на высоком обрывистом берегу Оби, в тени обшарпанной густой черемухи. Вниз по течению шел совсем крохотный катерок, еле тащивший за собой два огромных «кармана» леса, на невидимой отсюда волне покачивались бакены, а там, где река делала поворот, показался из-за лесистого утеса белый-белый двупалубный пароход «Зюйд». Он резво шел по течению, догнал катерок, загудел отрывистым басом и прибавил ходу, оставляя за собой длинный веер волн.

— На таком хотел плавать Мича, — сказал Алька, — завод ему не нравился.

— На таком? — переспросил Пашка.

Алька, казалось, не услышал его. Он смотрел на белый пароход и, наверное, видел на нем своего брата...

### 30

Минула еще одна студеная зима.

Дела на фронте шли немного лучше, гитлеровцев местами уже крепко теснили, похоронки, правда, приходили по-прежнему и не реже, если не чаще, но пришла весна, и все ей были рады, особенно ребята.

Весной сильнее хочется есть. Ребята прямо-таки не могли дождаться, когда появится «подножный корм»: щавель, грибы, ягоды, собачий чеснок — черемша, или хотя бы крохотные «палянычки» в спорыше, или сладкие желтые цветы акаций.

Как только прошел ледоход, ребята отправились на Обь на рыбалку.

Там, где река делала крутой изгиб, было самое глубокое

место — омут. Глинистый берег тут был обрывист и высок, тяжелая вода безустали ворочала под ним крутовитые воронки, с легким журчаньем увлекала воронки, увлекала в таинственную бездну все, что попадало в воду: листву, щепу, кору с деревьев, пучки травы, окурки, птичий пух.

Издали обрыв был похож на огромный слоенный пирог усыпанный маком. Маковками издалека казались темные норки стрижей, которых тут была тьма-тьмущая. Ребята ловили рыбу чуть ниже по течению, где река, выравнивая свое русло, спешила к широкому и шумному перекату — там хорошо клевал крупный пескарь и елец. Когда клева не было, ребята любили наблюдать за носившимися над обрывом стрижами. Крошечная пичуга, а какая быстрая, какая ловкая, какая смелая!. Каждый раз Сергей пытался проследить за полетом стрижа и это никак не удавалось. Лишь несколько секунд держал юркую птицу в поле зрения и тут же терял, потому что уж больно стремителен был ее лет: миг и нету ее. Стриж — самая быстрая птица после сапсана. Сапсанов Сергей, кроме как в зоопарке, никогда не видел и не имел никакого представления об их быстром полете, но наблюдать полет стрижа для Сергея было превеликим удовольствием. Он подходил ближе к обрыву, ложился на его краю и часами смотрел на мельканье этих маленьких существ, одаренных природой такими быстрыми крыльями.

Иногда ловили их. Устраивая гнезда, стрижи, подхватывали налету с земли пух, перья, тонкие травинки. Кто-то из ребят изобрел ловушку: на обрывке нитки, длинной с карандаш, с одной стороны привязана маленькая пуговица рубашки, а с другой перо или пушинка от подушки. Это нехитрое устройство бросается на землю неподалеку от обрыва. Стриж, стремительно проносясь над землей, замечает пушинку и на втором заходе налету подхватывает ее, а вместе с ней и нитку с пуговицей, которая от резких виражей птицы, качнувшись, захлестывает одно крыло стрижа, захватывает его и бедная птаха, не понимая, кто ее вдруг поймал за крыло на быстром лету, мягким живым камушком падает в траву, тщетно бьет о землю одним свободным крылом, пытаясь взлететь в спасительную высь, но хитроумные ловцы уже тут как тут: кепкой мягко накрыл птичку, снял с крыла нитку и вот он самый-самый быстролет у тебя в руке. Теплый, махонький такой, а сердечко колотится, будто он сам весь — сердце. Пустишь его себе запазуху под рубашку, пока другого ловишь, мечется он там, крохотными коготками царапает тебя, от страха перепачкает,

а ты ликуешь — поймал! Зачем ребята их ловили, ведь потом снова выпускали на волю. Просто, наверно, интересно было ловить, видимо живет все-таки в каждом охотник, добытчик. И все же самое приятное в ловле стрижей — пуск их на волю. Нашаришь за пазухой уже притихшего пленника, извлечешь его на свет божий, внимательно рассмотришь уже смирившегося со своей судьбой бедолажку, его иссиня черные крылья, белую грудку, черные с розовинкой глаза-бусинки, бухает, просится на волю сердечко, притронешься губами к головке, поднимешь руку и не успеешь разжать до конца пальцы — юрк и только ты его и видел! Стриж в небе, а ты весь восторг и ликование, будто сам вместе с ним взлетел.

Однажды после ливневых дождей вода в реке сильно поднялась и местами вышла из берегов. Только небо очистилось от туч, ребята побежали на речку, по теплым лужам. Остров, на который они иногда плавали, был скрыт под водой, песчаной косы, где они обычно купались, не было, высокий берег с темными норками стрижей сделался ниже. И вода теперь плескалась у самого обрыва, а над ним всполошено носились, видно чуя беду, стрижи: течение, круто поворачивая у высокого берега, подмывало и понемногу рушило его, кусками, а то и целыми глыбами. Ребята последовали дальше, вдоль берега, туда, где еще недавно была песчаная коса, а Сергей стоял у кромки воды и, как замороженный, смотрел на всполошенных птиц. Пища и мельтеша, стрижи металась над водой, ныряли в свои норки и тут же испуганно из них выпархивали и взмывали к небу, словно моля его о чем-то. И вдруг прямо на глазах у Сергея огромный высокий берег сдвинулся с места и грозно шипя, пошел вниз. На миг завис, словно споткнулся о что-то и затем всей своей немисленной тяжестью, бухнув, обрушился в воду, поднимая к небу тысячи брызг и все стрижинное семейство.

Ничего не понимая, истошно крича, в отчаянии стрижи металась над тем местом, где еще минуту назад было их пристанище. Вместо родных норок теперь на проволочных корнях висели куски желтой глины да струйками еще сыпался песок в темную алчную воду. Дождем брызг обдало Сергея, ноги окатило волной, запоздало он отступил назад, вытер ладонью лицо, мокрое то ли от брызг, то ли от слез, которые он не в силах был сдержать: что же это, как же это, там же в норках были маленькие стрижата...

Услышав неожиданный звук рухнувшего берега, ребята подбежали к тому месту, где стоял, прижав руки к груди, Сергей и долго молча смотрели на обновленный обрыв, над

которым мятежно носились птицы.

После, помнится, вновь появились в обрыве норки. Вода спала, ребята снова ходили купаться на обнажившуюся и обновленную песчаную косу, помнится, они, наивные, носили и укладывали камни у подножья высокого берега, испещренного новыми стрижиными норками, так сказать, сооружали дамбу, чтоб в другой раз в ливневые дожди иль в половодье лихая вода не нарушила бы мирной жизни крылатых шустрых жильцов.

И не сговариваясь, перестали «на ниточку» ловить стрижей. Только наблюдали за их чудесным полетом — высший пилотаж!

Любовь к голубям и этим вольным быстрым птицам выпестывали у ребят военного городка и любовь к небу, к полету. Исподволь у каждого из них незаметно созревала вполне естественная мечта — тоже летать!

### 33

От отца долго не было вестей. Мать несколько раз собиралась написать командиру части, чтобы узнать, что да как, и все откладывала: вдруг сообщат, что погиб. И ребята советовали еще подождать, на фронт письма идут долго, а с фронта тем более.

Почтальона встречали и с радостью, и со страхом: письмо достанет из сумки или похоронку. Сергею снились плохие сны об отце. Ни брату, ни матери он их не рассказывал, Руслан говорил, если плохой сон никому не расскажешь — не сбудется. Но, кажется, сбывался...

Эта жуткая весть обрушилась на братьев весенним, солнечным днем. У Пашки было шесть уроков, и Сергей не стал дожидаться и пошел домой один. Мать еще не ушла на работу, ей на вторую смену. Войдя в комнату, Сергей сразу понял: что-то случилось. В комнате был беспорядок, печь не топилась. Мать сидела за столом спиной к двери, уронив голову на сложенные крестом руки.

Она не обернулась, когда он вошел.

— Мама, — сказал Сергей.

Она даже не шевельнулась, казалось, не слышала его.

— Мама, — снова сказал он и шагнул к ней.

Она медленно-медленно, будто сонная, повернулась, но не взглянула на него. Голову держала прямо, а смотрела вниз, беспомощная, отрешенная.

— Что случилось, мама?! — крикнул Сергей, хотя уже и так понял. — Ну, говори же!..

Как слепая, она провела рукой по его лицу, закрыла глаза

и прижала к себе сына.

– Сереженька...

Ни в тот день, ни много лет спустя Сергей не мог примириться с мыслью, что отца нет в живых.

Когда Сергей слушал сообщения Совинформбюро, он с горечью думал, что наши снова и снова потеряли тысячи и тысячи бойцов, но все эти тысячи были для него просто каким-то обобщающим числом, к которому он не относил своего отца. Да, Сергей знал, что там, на фронте, каждый день, каждую минуту погибают люди, но он даже мысленно не мог допустить, что может погибнуть его отец, как не мог допустить, что нет больше Люды. И Сергей думал, что весть о гибели отца – какое-то недоразумение, какая-то жуткая ошибка, что если его действительно сбили, то он остался жив и попал в партизанский отряд, пусть даже в плен, но он жив, и он непременно вернется. Да об этом и Алька говорил на другой день и все ребята, когда узнали о похоронке. И Сергей и Пашка хотели верить в это, хотя верить было нелегко, потому что понимали: их просто утешают.

Вечером, укладываясь спать, Сергей подумал: если бы можно было ту смертельную дозу, которая выпала отцу, поделить на несколько человек, на него, на Пашку, на людей, которым отец так же дорог, – всем бы досталось понемножку, а отец был бы жив. Хотелось сказать об этом Паше, но промолчал: ни к чему это говорить... А потом Сергей все равно не верил, что больше никогда не увидит своего отца. Уезжая куда-нибудь, отец обычно брал с собой ключ от квартиры. Он любил возвращаться поздно вечером, без телеграммы, неожиданно. Приедет, потихоньку откроет дверь, скажет, улыбаясь:

– Ну, здравствуйте...

Сергей верил, что однажды вечером послышатся за дверью нетерпеливые знакомые шаги, щелкнет замок, и на пороге появится отец, загорелый, с большими жилистыми руками, которые пахнут бензином и полынью.

## 34

Ничто так ее сближает людей, как горе. Общее горе.

Раньше Сергей и Паша были просто братьями, а теперь стали еще и друзьями. Вчера же поздно вечером, уже лежа в постели Пашка вдруг сказал:

– Я убегу на фронт, Сережка.

– На фронт?.. – Сергей приподнялся на локтях. Он и сам не раз думал об этом. Думал, когда узнал печальную весть о втором эшелоне, в котором ехала Люда. И когда

встретился с ее матерью. Думал, когда провожал эшелон на фронт. И когда погиб Мича.

Во сне Сергей часто шагал с винтовкой в солдатском строю, ехал в теплушках, стоял в заснеженном окопе и до боли в кистях жал гашетку пулемета, поливая свинцом фашистов. И был глубоко разочарован, когда просыпался не в окопе, а в своей тихой комнате. И сколько раз приходила ему в голову мысль: возьму и убегу на фронт... Это была просто мечта, очень робкая, и он мало верил в ее осуществление. Один он не осмеливался бежать, да одному-то и плохо, а поделиться с ребятами стеснялся — засмеют, какой из него вояка...

Мечтая о фронте, Сергей не однажды видел себя и разведчиком, и танкистом, и десантником, и летчиком. Провожая воинские эшелоны, он не однажды думал: «Заберусь сейчас в тамбур и укачу на запад... Или попрошусь в вагон к бойцам, скажу, что у меня никого нет, не выбросят же, в конце концов». Сергей прекрасно понимал всю несбыточность своих мечтаний и только вздыхал, с тоской и грустью глядя вслед уходящим эшелонам.

И теперь, приподнявшись на локтях, он смотрел на Пашку с недоверчивым восторгом и нескрываемой радостью, что старший брат поделился с ним, что появился вдруг единомышленник...

«А не шутит ли он?» — на миг усомнился Сергей. Нет, тот не шутил, об этом говорила Пашкина рука, крепко стиснувшая его локоть. В большое — хорошее оно, плохое ли — верится не сразу. И потому Сергей все-таки не удержался:

— А ты не свистишь?

Пашкина рука вдруг ослабла, и тогда Сергей схватил его за руку и сказал, что это здорово, что он тоже мечтает об этом и что Пашка ему не брат, если они не убегут вместе.

Пашка медлил с ответом.

— Я не маленький, — сказал Сергей, — ты слышишь?

— Подумаю, — ответил он.

Сергей не любил это «подумаю». Когда люди говорят «подумаю», значит, они не согласны, и он сказал Пашке, что здесь и думать нечего, что он имеет такое же право, как и Пашка, и что Сергей и сам сможет добраться до передовой.

— Между прочим, мы с Толей тоже собираемся... — соврал он на всякий случай.

Эти слова Пашка пропустил мимо ушей, Сергей не умел врать. Пашка снова молчал какое-то время, взвешивая все «за» и «против», и, возможно, уже пожалел о том, что

признался. Нет, кажется, не пожалел, потому что сказал:

– Вдвоем, конечно, лучше, ладно, Сережка... Только никому об этом, понял?

– Могила, – поклялся Сергей.

Только теперь Сергей впервые по-настоящему почувствовал, что Пашка – брат. И еще в одном признался Пашка в тот вечер, он сказал, что однажды уже пытался убежать на фронт, это когда отстал от эшелона. Оказывается, он отстал намеренно.

– Теперь-то удастся, – сказал Пашка.

Сергей не сомневался. И в эту минуту Сергей любил своего старшего брата, как никогда в жизни.

А утром к ним зашел Алька, он был какой-то необыкновенный, Сергею даже показалось, что тот сейчас скажет: «Мича живой, вы слышите?!». Но он вдруг спросил:

– Вы одни?

Пашка кивнул. Алька закрыл на крючок дверь, зачем-то оглядел комнату и потребовал шепотом:

– Побожитесь, что никому не скажете!

Пашка оскорблено пожал плечами.

– Честное слово, – сказал Сергей, – могила!

Алька оглядел их с ног до головы, словно прикидывая еще раз, можно ли довериться им.

– Я еду на фронт.

– На фронт? – в один голос переспросили они и переглянулись.

Глаза у Пашки торжествующе сияли. И Сергей сейчас понял: Пашка ему, Сергею, первому сказал. И теперь смотрел на брата вопросительно: скажет ли он Альке, что они тоже собираются бежать? Сергею хотелось даже самому сказать об этом, но Пашка опередил его. Он протянул Альке руку:

– Вот здорово! Мы тоже с Серьгой решили!

Весь этот день они провели втроем. И, наверное, самым счастливым был Сергей. Весь этот день они только и говорили о побеге на фронт. У Альки есть отличная финка, которую подарил ему перед уходом в армию Мича. Неплохо было бы достать пистолет и ружье. И, конечно, нужны деньги на продукты, ехать ведь придется не одни сутки. Вспомнили о Руслане, который мастер делать прищепки, паяльники и даже электроплитки. Если бы и он загорелся желанием ехать на фронт, то вчетвером за какую-то неделю смогли бы смастерить и продать столько прищепок, что наверняка хватило бы денег. Но самое главное – у Руслана есть ружье, отцовское, настоящее ружье!

Руслана посвятили в тайну в тот же день. Сначала он



отнесся не совсем доверчиво, а когда убедился, что его не обманывают, стал очень серьезным:

– А Толька и Ромка не знают?

– Вчетвером легче добираться, – сказал Алька.

– Но если нас будет шестеро – это почти отряд... – добавил Пашка.

Алька неопределенно кивнул, прикидывая что-то.

– Это само собой, – сказал он, – но такой кагалой вряд ли мы сможем добраться до передовой, вот если бы...

– А мы поедем в разных вагонах, – предложил Пашка.

– Это можно, можно даже разными поездами, а на каких-то станциях собираться, чтобы не потерялись. Только если кто-нибудь попадется, не продавать других: ты меня не знаешь, я – тебя.

– Ясно.

– А может, и Юрку взять? – предложил Сергей. – У него тоже отца убили...

– Вообще-то он вроде ничего, – поддержал Алька.

А Пашка сказал, что Юрка ему не нравится.

– Это потому, что ты его мало знаешь, – возразил Сергей.

При обсуждении кандидатуры Юры никто не задумывался, согласится, осмелится ли и он поехать, и есть ли у него вообще такое желание, не задумывались потому, что у ребят даже в мыслях не было, что кто-нибудь из ребят не мечтает о фронте. После долгих споров кандидатура Юры была утверждена.

На другой день поговорили с Толей, Ромкой и Юрой. Толя, мечтательно улыбаясь, приговаривал: «Это, ребята, здорово, это просто здорово, ребята!».

Ромка коротко сказал:

– Я согласен.

– Если кто боится, – предупредил Алька, не глядя на Ромку, но говоря именно ему, – пусть решает сразу, чтобы потом...

– Я согласен, – твердо проговорил Ромка.

– Я тоже, – сказал Юра, сказал как-то не очень уверенно.

«Командир» отряда сразу определился – Алька. Пашка стал «комиссаром». Очень нужны были деньги, и ребята целыми днями сидели в крохотной комнатенке Руслана, которая теперь напоминала маленький цех. Мастерить прищепки – дело несложное, Руслан быстро обучил товарищей этому ремеслу. Сергей откусывал плоскогубцами проволоку, Алька с Пашкой делали пружины, Толя и Ромка

вырезали дольки прищепок, а Юра собирал их. Руслан же занимался делом более сложным — паял кипятильники. К воскресенью были готовы три кипятильника и две сотни прищепок. И сразу же начали продавать. Выручка была небольшой, но это не очень огорчало, прищепки решили продавать ежедневно, торговлю поручили Ромке к Юре. Потом на базаре уже появились кедровые шишки, и ребята тоже решили отправиться в тайгу за шишками.

Однажды, когда все были занята работой, в дверь кто-то постучал — дверь запирали на крючок. Ребята на всякий случай прибрали инструменты, и Руслан пошел открывать дверь.

За дверью был Немец... С чего это он вдруг? Никогда не приходил к Руслану, ни с кем не дружил, потому что с ним никто не хотел дружить...

— К вам можно? — робко спросил он.

— Заходи, — холодно сказал Руслан.

Невысокий, щупленький, с белесыми ресницами, Немец нерешительно переступил порог и негромко поздоровался. Ему никто не ответил.

— Тебе чё? — спросил Алька.

— Я так, — проговорил коротко тот, переступая с ноги на ногу, но по глазам было видно, что пришел не просто так.

Все молча смотрели на него.

— Вы ненавидите меня, я знаю, — сказал он.

Никто не стал разубеждать его, может, у ребят и не было к нему настоящей ненависти, но неприязнь была искренняя.

— Зачем пришел? — спросил Алька, вставая из-за стола.

— Хочу с вами.

— Что с нами?

— Вы сами знаете...

Ребята переглянулись, они не совсем понимали его, а Сергею он показался даже немножко ненормальным — такие были у него глаза: бегающие, шальные, кроткие и вместе с тем решительные.

— Я все знаю, — тихо проговорил он и опустил глаза.

— Чё знаешь?

— Все... И я хочу с вами, — он поднял глаза, посмотрел в окно, — туда, на фронт...

— На фронт?..

Алька обвел всех взглядом, полным недоумения.

— Кто тебе натрепал это?

— Сам догадался.

— Не ври, говори — кто?

Немец наморщил лоб в редких бледных веснушках,

спросил:

– А возьмете с собой?

Алька сказал, что никто никуда не собирается ехать, и снова спросил, кто ему наговорил это.

– Никто, – ответил тот.

– Врешь, – сказал Алка.

Немец не сказал ни «да», ни «нет», он понял, что зря пришел сюда, и молча стоял посреди комнаты, одинокий и чужой. Потом вздохнул и заключил:

– Не берете, значит...

– Мы никуда не собираемся, – сказал Пашка.

– Натрепал кто-то, – прибавил Алка. – Так ты скажешь, кто? Ты чё, боишься?

– А чего мне бояться...

– Дадим сейчас тебе, так будешь знать – чего...

– Можешь бить, – проговорил Немец с хрипотцой в голосе и, кажется, стал еще меньше, но через мгновение выпрямился и вдруг посмотрел доверительно и с робкой надеждой. – Я же знаю немецкий, – шепотом сказал он. – Понимаете?!

Сергей посмотрел на Пашку, Пашка – на Альку. А тот на Немца, потом на Пашку.

– Ну и знай себе, сколько хочешь, – сказал Алка и повысил голос, – и рви отсюда! Рви, пока не поздно!

Немец сник, заморгал ресницами и, неловко повернувшись, пошел прочь.

Кто рассказал Немцу? Алка и Пашка поговорили с каждым с глазу на глаз, и каждый поклялся, что ничего никому не говорил.

Немец сказал, что он просто догадался, а догадался потому, что сам думал об этом. Алка пригрозил, что если не признается, то пусть лучше не выходит на улицу... Но тот клялся своей матерью, что догадался сам, и снова просил взять его с собой.

– Посмотрим, – сказал вдруг Алка.

Сергею было жалко Немца, и когда узнал, что тот поедет с ними за кедровыми шишками, очень обрадовался.

На вокзал они прибыли к десяти утра. Сергей любил вокзалы, их суету, многолюдность, но такое он наблюдал впервые. Такой суеты ему еще не приходилось видеть. Там была сплошная кутерьма: солдаты, женщины, старики, ребяташки... С мешками, узлами, корзинами... Смех, ругань, крики, улыбки, слезы... Надрывные гудки паровозов,

лязганье буферов, пронзительные свистки милиционеров. Везде лица — смеющиеся и полные отчаяния, угрюмые и равнодушные... И все это мелькало, как в калейдоскопе.

— Серьга!

— Пашка! Руслан!

— Сюда давай! Этот скоро пойдет. Да не сюда, под вагон...

— Челита, сюда!

Со стороны перрона сесть в поезд нет никаких шансов, надо пристраиваться с другой стороны поезда. Ребята перелезли под вагоном, но там тоже было много людей. Подножки вагонов уже облеплены пассажирами, но пристроиться есть где. Не успели взобраться на подножку, как раздался милицейский свисток.

— Агас! — крикнул Алька.

Все шуганули на насыпь, к товарняку, но стоило милиционеру промчатся дальше, как вся толпа снова на своих местах. Снова свисток милиционера, снова перебежка, и снова ребята на подножках. Так повторялось несколько раз. И с каждым разом на площадке становилось все теснее, милиционер ничего не мог поделать с такой массой безбилетников.

Вагон, наконец, тронулся, и Сергей облегченно вздохнул, крепче обхватив поручень.

Поезд набирал скорость. Линий становилось все меньше и меньше. Стрелки, перестук колес, рядом уже бегут только две линии, еще стрелка, теперь только одна...

— Ну вот и поехали, — сказал Руслан и улыбнулся.

— Два пролета — и будем на месте, — сказал Алька и потрогал мешок.

Поезд, взобравшись на подъем, шел теперь легко и быстро. В ушах свистел ветер.

— Шишкар? — участливо спросила женщина, стоявшая выше ребят.

— Шишкар, — гордо ответил Алька.

— Сейчас только и ездить за шишками, — ворчливо сказала она. Ей никто не ответил. — Если бы мой поехал, я б ему таких надавала шишек...

Ей, видимо, хотелось говорить, потому что до этого она все время молча переживала: уедет или не уедет. И вот, наконец, едет, и у нее радостно на душе. Никогда раньше не приходилось ей так ездить, а все это война, будь она трижды проклята. Тут еще висят на подножке ребята, которые могли бы сидеть дома...

Перед Большой Еланью поезд остановился у семафора. Это было мальчишкам на руку, так как на Елани была

милиция, об этом сказал мужчина, стоявший рядом с Алькой. Ребята спрыгнули на насыпь, огляделись. Впереди серели бревенчатые избы поселка. За ним раскинулась тайга. Вечерело. От поезда отделилось несколько групп шишкарей и направилось в тайгу.

Ребята начали совещаться, где ночевать. Толя и Пашка предлагали на станции, Сергей тоже поддержал их, но Алька возразил. Он сказал, что лучше ночевать в тайге, так обычно все делают. Ведь и сегодня же можно дойти на место. Они сэкономят время и не так устанут. На том и порешили.

Шли по узкой петляющей тропке. Она то поднималась вверх, то опускалась в густо заросшие кустарником низины. В тайге было прохладно и сыро. Все вокруг казалось таинственным: и старые замшелые пни, и беспорядочно поваленные деревья с вывороченными корнями, и длинные космы бледно-зеленого мха, свисавшие с ветвей деревьев, и полосатый бурундук, стремительно взбежавший по наклоненной березе, и странные непривычные звуки. На одном дереве Сергей увидел огромные царapiны и спросил у Пашки, что это такое. Но тот притворился, что не расслышал, и Сергей понял, что он тоже не знает.

— Обыкновенные медвежьи задиры, — сказал Алька, — это они во время гона друг перед дружкой показывают свою силу.

— А зачем?

— Подрастешь — узнаешь, — ответил Алька.

— Вон шишки, смотрите, — сказал Толя почему-то шепотом и показал пальцем на ветку, свисавшую прямо над тропой.

Все остановились, задрав головы вверх.

— А вон еще, — сказал Пашка, — и еще, и еще! Залезем?

— Да вы чё, разве это шишки, — улыбнулся Алька, — пошли дальше, вы еще увидите шишки.

В глубь тайги шли, пока не стали сгущаться сумерки. Свернув с тропы, облюбовали место для ночлега — небольшую полянку. Сложили под сосной мешки и отправились за дровами. Алька сказал, что лучше не ветки собирать, а найти несколько сухих палых стволов деревьев, таких, чтоб можно было дотащить, сложить их в один ряд и посередине развести костер: хвороста на всю ночь не запасешься, а целые стволы можно будет всю ночь подвигать друг к другу. И заботы меньше, и теплей. Когда костер запылал, ребята наломали еловых веток и устроили себе постель.

Как всегда, принялись рассказывать страшное. Когда это

надоело (да и жуть брала: ночь, тайга... кто там в темноте стоит невидимый за кедром?..), решили песни петь, просто так, на самом же деле — чтобы не было страшно.

Толя запел повеселей:

Ехал Гитлер на машине  
В партизанские леса,  
Подорвался он на mine  
Подскочил, как колбаса.

Ребята смеялись, храбрились, но страх покидал их довольно неохотно.

Ночь была холодная. Ребята все время ворочались: повернешься к костру спиной — спине жарко, а колени и грудь мерзнут, повернешься к костру лицом — спина мерзнет.

Чуть свет они уже были на ногах. Позавтракав хлебом и печеной картошкой, тронулись в путь. За каких-то полчаса пути все стали мокрыми с головы до ног: трава, папоротник, кустарник — все было в росе.

Впереди шел Алька. Когда взошло солнце, он остановился на взгорке, кивнул головой:

— Видите? Вот это и есть шишки...

По склону спускались высокие кедры, и на них было столько шишек, сколько бывает яблок на хорошей яблоне.

— Ух ты... — сказал Толя.

Алька предложил разбиться на группы и сказал, чтобы далеко не расходились и время от времени звали друг друга. Сергею не терпелось забраться на кедр. Пока ребята выбирали кедр, где шишек побольше, он полез на первый попавшийся. На нижних ветвях шишек почти не было, он забирался все выше и выше. Увидев рядом шишки, торопливо принялся срывать их — увесистые, липкие от смолы — и рассовывать по карманам, а потом за пазуху. Руки тоже стали липкие, как шишки. Он собрался было спускаться вниз, как услышал голос Руслана:

— Что-то долго ты там.

— Спускаюсь, — крикнул Сергей.

— Там же есть шишки, — сказал Руслан.

— Еще сколько!

Сергей спрыгнул на мягкий мох и, довольный, предстал перед Толей и Русланом.

— Вот чудак, — сказал Руслан и покачал головой, — да кто же кладет их за пазуху, мы так и за неделю не наберем... Надо бросать их, а мы бы подбирали, да и рубаха теперь... а ну, вытряхивай...

Вывалив в траву шишки, Сергей снял рубаху, она была

вся в темных липких пятнах смолы, живот и грудь тоже. Удрученный, натянул рубаху, и она сразу прилипла к телу.

– Ничего, постираю, – сказал он.

– Керосином надо, – посоветовал Руслан, – мыло не возьмет, Приедем – и сразу ко мне, чтобы мать не видела.

Сергей кивнул, радость утра омрачила испачканная в смоле рубаха, он знал, что от матери здорово влетит за нее.

– Да чепуха, – сказал он, бодрясь, словно у него таких рубах была, по крайней мере, дюжина.

Теперь на кедр полез Руслан. Перед тем, как лезть, он срезал длинную палку с крючком на конце и на кедр полез с ней. Он был опытный шишкарь и не пропускал ни одной шишки, и если она была далеко, сбивал палкой. К полудню набрали столько шишек, сколько смогли нести. Потом развели костер, перебрали добычу, шишки помельче поджарили в костре и теперь лакомились еще не совсем спелыми мягкими и сочными орехами. Ребята прикидывали сколько вырчат за них. По расчетам сумма получалась приличная.

– Еще пару раз съездим и хватит, – сказал Пашка.

– Сколько надо, столько и съездим, – негромко проговорил Немец и опустил глаза, так как никто не обратил на его слова внимания.

– Надо раз десять съездить, – сказал Руслан.

Толя улыбнулся.

– Ну уж – десять... Алька, сколько раз еще поедим?

– Будет видно, – уклончиво ответил тот, подкидывая на ладони дымящуюся шишку, – смотря почему продавать. Посмотрим. Ну, поехали, надо к вечеру попасть на станцию.

Все порядком устали, но шли быстро, не хотелось еще одну ночь коротать в тайге. Вереочные лямки резали плечи, мешки становились все тяжелей и тяжелей, и каждый думал, что можно было взять шишек поменьше.

– А может, немного отсыпем шишек... – проговорил на одном из привалов Ромка и с надеждой оглядел товарищей.

– Можешь все высыпать, – сказал Пашка.

– Да я просто так...

– Просто так... Каждая шишка дорога.

– Конечно, – подтвердил Немец и смутился.

Сергей предложил взять по десятку шишек у Немца, так как тот самый слабый, а шишек у него больше всех.

– Конечно, – снова сказал Сергей и потянулся к мешку Немца, но тот отстранил его руку.

– Как все, так и я, – сказал.

– Всего десять штук...

— Не дам ни одной.

— Давай-давай, чего уж там, — останавливаясь, проговорил недовольно Алька.

— Сам понесу, — Немец обхватил мешок, точно у него хотели отобрать его. И все поняли, что он ни за что никому не даст ни одной своей шишки.

— Как хочешь, — сказал Алька.

Конечно, если бы слабее всех был не Немец, а Сергей, Толя, Ромка или Руслан, ребята бы настояли на своем, но тут не стали настаивать; как-никак, чувство неприязни к нему, которое каждый старался скрыть, все-таки было. Единственное, что они сделали, — это поставили его первым. И привал теперь делали только тогда, когда видели, что тот пристал. Всю дорогу подхваливали его: мол, ничего, не слабак. И хотя у него уже подкашивались ноги, он прибавлял шаг: не хотел ударить лицом в грязь перед Алькой и его друзьями. Сгорбившись под тяжелой ношей, Немец не шел, а тянул и тянул вперед, как лошадка. И когда Алька скомандовал опять привал, тот, не оборачиваясь, спросил:

— А не рано?

— Нет, — сказал Алька и первым скинул на траву мешок. Неровно дыша, Немец прямо с мешком привалился к толстой лиственнице и медленно опустился на мягкий мох. Лицо его осунулось еще больше и стало землистого цвета. Руки он сложил на коленях, заплатах неоднажды, его тонкие длинные пальцы вздрагивали.

— Кажется, где-то ручей, — проговорил он, глядя вверх. Ребята прислушались. Сергей услышал за спиной едва различимое журчание.

— Правда, ручей, — сказал он и поднялся. — Где фляга?

Сергею не хотелось идти за водой, но он пересилил себя, хотя страшно устал. Пашка сказал, что за водой ходит он, однако Сергей настоял на своем. Фляга была у Толи. Пока он доставал ее из мешка, рядом с Сергеем оказался Немец.

— Давайте я схожу, — попросил он.

— Я сам, — сказал Сергей, — отдыхай.

— Я быстренько, — тот протянул руку к фляге, — я правда быстренько.

Глаза Немца блестели, вид у него был такой, словно он просил о чем-то очень большом и боялся, что ему откажут.

— Пусть идет Серьга, — проговорил Алька, — а ты сидел бы да отдыхал, идти еще далеко.

Немец покорно опустил руку, Сергею стало жаль его, и он сказал Альке:

— Мы ходим вместе.



— Дело ваше.

Ручей оказался не так уж близко. Спустились в ложбину, поднялись на усеянный черникой холм, снова прислушались, журчанье ручья теперь слышалось яснее. Потом продирались сквозь заросли малинника, дальше через подлесок и по ложбине пришли к ручью. Упав на руки, они прильнули к холодной чистой воде. Немец, на миг оторвавшись от ручья, проговорил:

— Я никогда еще не пил такую вкусную воду.

Сергей тоже никогда не пил такую вкусную воду, но почему-то сказал:

— А я пил, — и, как это всегда с ним бывало, солгав, он тут же пожалел и подсадовал на себя.

Когда пошли назад, Немец легонько тронул Сергея за руку.

— Давай я понесу...

Он взял флягу, и лицо его посветлело, и он пошел быстрее. Что-то Сергею сейчас в нем не нравилось. Было в нем какое-то навязчивое желание всем услужить, что ли.

Он принес флягу, и ребята, схватив ее, принялись на все лады расхваливать воду, а Немец отошел к своему мешку и присел на корточки, с едва заметной улыбкой наблюдая, как ребята пьют из фляги.

Перед следующим привалом у Немца потекла из носа кровь. Он старался скрыть это, но Сергей шел за ним следом и заметил.

— У Немца кровь идет, — сказал Сергей Пашке.

— Это просто так, — сказал Немец и прибавил шагу, зажимая нос рукой.

Ему посоветовали лечь на спину, он лег на сухую мягкую хвою, запрокинув голову к небу. Алька распорядился всем развязать мешки и взялся за мешок Немца.

— Я не дам, — сказал Немец и, как в тот раз, обхватил руками свой мешок.

Пашка улыбнулся:

— Вот человек...

— Да у тебя же кровь идет, — сказал Алька.

— Она больше не будет идти.

— Ну, ладно, — раздраженно сказал Алька, — развязывайка свой сидор и отсыпай половину, нечего тут выпендриваться — пора идти, — и решительно потянулся к его мешку.

— Не тронь! — с каким-то отчаянием крикнул Немец, казалось, он готов был зубами вцепиться в свой мешок. — Я сам понесу. Мне не тяжело, — я же не отстаю от вас!

В голосе его звучали обида и решительность. Он сидел ссутулившись, обеими руками обняв свой мешок с шишками, и глядел в одну точку — на порыжевший носок Алькиного ботинка.

— Пусть сам несет, — сказал Пашка.

— Ну, хорошо, пошли!

Сумерки быстро упали на тайгу. Немец по-прежнему шел быстро, как упрямая лошаденка, идущая в гору. Откуда у него взялось столько силы? Сергей едва поспевал за ним, и если бы это был не он, а Пашка или Алька, Сергей не раз бы уже сказал: «Давай передохнем немного».

На станцию пришли поздно вечером. Подсобрали дровишек, Алька достал аккуратно завернутое кресало, «катушу».

Разворошив губку и приложив ее палеными краями к одной из граней камня, Алька чиркнул по нему железкой раз и другой, высекая искры. Почти сразу запахло паленым, и ребята оживились, засуетились, грудясь у костра.

Все страшно устали и сейчас полудремали в ожидании поезда. Облокотившись на свой мешок, Сергей посмотрел на Немца. Тот полулежал на боку и устало глядел в костер. Кулаки его были черны от кедровой смола и грязи, а может, у него снова шла носом кровь, и он тайком вытирал ее. Немец о чем-то глубоко и упорно думал. Он поймал взгляд Сергея и вроде что-то хотел спросить у него, но передумал. Поправил в костре головешку, и вверх взлетела вместе с языком пламени негустая стайка красных искр. Улыбнулся чему-то, но в следующее мгновение лицо приняло обычное выражение: задумчивую покорность и тихую тоску.

— А тебя как звать? — спросил Сергей и сам удивился своему неожиданному вопросу и еще больше тому, что никогда раньше ему даже в голову не приходило, что он не знает, как зовут Немца: Фриц, Ганс или Отто...

Этот неожиданный вопрос вывел из полудремоты всех ребят, и они тоже с любопытством смотрели на Немца.

— Звать? — тот едва заметно улыбнулся. — Миша...

— Миша? — переспросил, приподнимаясь, Алька.

Обведя ребят изумленным взглядом, Немец сильно кашлянул и опустил глаза.

— Да, — повторил он, — Миша...

— Ми-и-иша... — удивленно протянул Алька. — Как моего брата, которого... немцы... убили.

— Фашисты, — негромко, но твердо поправил Миша-Немец, опуская голову.

— Да, конечно, — проговорил Алька, — фашисты.

Сощурился глаза, он долго, пристально смотрел на Мишу-Немца. Тот не выдержал взгляда.

— Ты чего так смотришь? — спросил.

— У тебя снова кровь идет, — сказал Алька и достал из кармана платок, — возьми, вытри...

Миша тернул рукавом под носом.

— Да возьми же платок!

— Не надо. Она больше не будет идти.

— Ну! — Алька ткнул платок ему в руку.

Он взял-таки этот мягкий комок и приложил его к носу. И всем сразу на душе стало легче. И все поняли, что на фронт поедет и Немец, то есть Миша. Он, видимо, тоже это понял. Теперь он смотрел на ребят открыто, и в светлых глазах его горели счастливые огоньки надежды.

### 38

Из тайги ребята возвращались изнуренные, оборванные, голодные и грязные: кедровую смолу водой не отмоешь. Если ты за шишками поехал в тапочках, домой возвращаешься босой, если штаны и рубашка имели относительно приглядный вид, то после тайги им требовался капитальный ремонт. Едва переступив порог дома, ребята накидывались на горячую похлебку и, насытившись, засыпали. А проснувшись, каждый твердо решал: это последний поход, больше никогда в жизни не пойдут в тайгу. Но вот проходил день другой, третий, и ребята, отоспавшиеся, отогревшиеся, отмывшиеся, уже снова поглядывали на правый берег Оби, и кто-нибудь вроде бы в шутку говорил:

— А может, опять махнем за шишками?

Ласковая и неприветливая, щедрая, добрая и суровая, эта непонятно притягательная тайга, словно магнит, влекла их к себе. И ребята, зная наперед, что там, в тайге, их ждет далеко не райская жизнь, что там не мед, снова собирали свои котомки, мешки, запасались кое-какой едой и отправлялись в тайгу. Там ждала их полная свобода действий, там они чувствовали себя самостоятельными, независимыми, были самими собой — маленькими взрослыми.

А сейчас походы в тайгу обрели еще больший смысл.

### 39

Базар всегда поражал Сергея и Пашку. Чего здесь только нет: и конфеты в стеклянных лотках, и булки, и молоко, и сало: ешь — не хочу! А ягод сколько! Малина, черника, земляника, боярка и свежая, и пареная.

А зимой, когда над базаром стоит морозный туман, когда

снег тонко хрустит под ногами, со всех сторон заывают укутанные до бровей дюжиной платков краснощекие бабы: каленые орехи, горячее молоко! Горячие пирожки! Горячие щи! Горячая картошка! Мороз, а все горячее!

Людей на базаре всегда полным-полно, и все они очень разные: одни покупают пару папирос, другие — пару пачек, одни покупают тонкий кусочек сала, другие — килограмм. Одни съедают крохотную котлету и довольны, другие покупают окорок и что-то ворчат под нос. Попробуй пойми людей. Некоторые рыщут по базару с таким равнодушным видом, будто ничего их здесь и не интересует. Они, кажется, ни на что и не смотрят, но видят лучше других, особенно, что плохо лежит.

А некоторые бродят по базару просто так, как, например, иногда Сергей и Пашка. Походят, посмотрят, нанюхаются всевозможных запахов и помечтают о том, что, когда кончится война, Руслан угостит всех жареным гусем с яблоками.

Сегодня ребята пришли на базар не просто так. Они прибыли со своим товаром — с кедровыми шишками.

Ромка облюбовал место, где посвободнее, чтобы у всех на виду, приценился, почем другие продают шишки, и сказал, что за крупные будут просить по рублю, а за мелкие — рубль пара. Торговали каждый отдельно, так, говорил Ромка, лучше. Чаще всего почему-то подходили к нему. Он всегда был застенчивым и тихим, но на базаре преобразился.

— Шишек, кому шишек! — звонко кричал он, перетряхивая в мешке липкие сизоватые шишки. — Самые крупные — каченские!

Первое, что купили ребята на вырученные деньги — брусок мыла, обыкновенного, хозяйственного, очень вкусно пахнущего. Мыло было на вес золота. Ребята забыли, что значит умываться по утрам с мылом, а вечером с мылом мыть ноги. У всех с наступлением лета от грязи появлялись на руках и ногах цыпки — грубая, шершавая ни чем несмываемая корка, которая трескалась и кровоточила. К врачам с такими пустяками ребята не ходили и цыпки лечили сами, мочились на них. Эта процедура была не из приятных, лечась, ребята, словно исполняя какой-то дикарский танец, прыгали, трясли руками и ногами, преувеличенно ойкали, охали, ахали — так легче было превозмогать щемящую и щипущую боль.

С приобретением мыла ребята надеялись избавиться от цыпок.

## 40

Увлеченные мечтой бежать на фронт ребята совсем забыли об уроках, в школу ходили когда вздумается, доставали, как только могли, деньги и жили в ожидании того дня, когда, наконец, у них достаточно будет сухарей, сахара, патронов, пороха, дробы и они отправятся туда, где давно должны быть, — на фронт.

Собирались серьезно. Уже и клятву готовили, сгрудившись у самодельного столика, сколоченного из ящика, на чердаке дома.

— Начнем так: «Я, сын фронтовика, который бьет сейчас фашистов...», — предложил Руслан, однако Пашка перебил.

— Это не подходит, у нас отец погиб.

— Пропал без вести, — поправил Сергей.

— Пропал без вести, — согласился Пашка, тепло глянул на брата и положил ему руку на плечо. — Надо просто: «Я, сын фронтовика, вступая в партизанский отряд «За Родину!», торжественно клянусь...»

Еще через несколько минут ребята приглушенными голосами читали только что написанную сообща клятву: «Я, сын фронтовика, вступая в партизанский отряд «За Родину!», торжественно клянусь быть смелым, мужественным, везде и всюду мстить фашистским гадам, клянусь драться до последней капли крови и до полной победы!»

Клятву закрепили своеобразной церемонией: каждый разрезал палец, и все соединили кровоточащие пальцы, и теперь ребята были не только друзьями, но и братьями.

— Вы слышали, какой приказ придумали фрицы? — спросил Юра. — Уничтожать, как партизан, мальчишек и девочек от тринадцати лет и старше...

— Ну так что? — настороженно поинтересовался Пашка.

— Да я просто так, — ответил Юра очень торопливо, видимо, опасаясь, как бы не восприняли его сообщение как проявление трусости. — Честно, просто так, сволочи они.

— Это все Гитлер, — сказал Толя. — Интересно, что с ним сделают, когда поймают?

— Да что, — проговорил Пашка, — расстреляют и все, чего с ним возиться.

Алька недобро ухмыльнулся.

— Расстреляют... Его повесить мало!

— У нас не вешают, — сказал Пашка. — А просто расстрелять, конечно, мало.

Ребята придумывали Гитлеру десятки наказаний, и ни одно из них не казалось достаточным.

Матери Сергей и Пашка сказали, что завтра, в субботу, они снова собираются за шишками. Она собрала кое-какую еду и посоветовала взять пальто, потому что ночи уже холодные, недолго простудиться. И наказывала перед отъездом приготовить все уроки, а в воскресенье приехать пораньше, чтобы выспаться перед школой. Ребята обещали, что все будет так, как она наказывала. Уезжая, оставили записку: «Дорогая мама, мы уехали на фронт. Не волнуйся, не переживай, скоро вернемся. Павел. Сергей».

## 41

А перед отъездом решили в школу все-таки пойти.

Сергея вызвали по литературе. Вернее, даже не вызвали, а он сам поднял руку.

В этот день начинали изучать Шевченко, и учитель, рассказав о нем, прочитал его «Завещание», а потом, оглядев класс, спросил, может ли кто прочесть стихотворение на украинском языке. Сергей плохо знал украинский язык, хотя и родился на Украине, хотя и сам украинец. Он опустил голову, сгорая от стыда, и смотрел в раскрытый учебник, на задумчивое лицо Шевченко, на короткие строчки «Заповіта», и ощущал на себе вопросительный взгляд учителя. Он впервые пожалел, что почти не знает украинского языка. Ведь они долго жили в России...

Быстро пробежал глазами «Заповіт», раз и другой, ему показалось, что он может прочитать его по-украински. Да, может! Тем более, что там так здорово написано! Сам не заметил, как поднял руку.

– Ну, давай, Сережа, – сказал учитель.

Сергей встал, взял книгу, она дрожала у него в руке.

Як умру, то поховайте  
Мене на могилі,  
Серед степу широкого,  
На Вкраїні милій...

Сергей не слышал своего голоса. Но ему казалось, что читал он хорошо, и ему казалось еще, что он всю жизнь говорил на этом нежном, певучем, глубоко проникновенном и вместе с тем гневном и мощном языке.

Сергей не видел ни строчек, ни ребят, ни учителя. Он видел свою Украину, которую топчут фашисты, видел старую развесистую грушу, видел девочку во всем белом, с белым бантом на макушке, слышал, как гневно бушует Днепр, взывая к отмщению, и читал «Заповіт», будто это было и его завещанием.

І мене в сім'ї великій,  
В сім'ї вольній, новій,  
Не забудьте пом'янути  
Незлим тихим словом..

Да, это было и его завещанием. Он никогда не испытывал большого чувства к стихам, был к ним равнодушен. Это было первое стихотворение, которое он прочел неравнодушно, которое запомнил, не зубря.

Он не слышал, что сказал учитель, когда дочитал «Заповіт». Сел и смотрел на Шевченко. И слышал его голос. И не мог дождаться конца занятий. Он все еще не верил, что сегодня поезд умчит их туда, на запад, где бушует Днипро.

...На вокзале собрались, когда смеркалось. Чтобы не привлечь внимания милиции, ружье завернули в старый бредень. Его нес Пашка. Подошел санитарный поезд, из вагонов стали выносить раненых. Некоторые шли сами, забинтованные, молчаливые, шли, опираясь на костыли и на плечи санитаров.

## 42

Уехать было не так просто, как показалось поначалу. О пассажирском поезде и думать было нечего. Ребята отправились на товарную станцию и облюбовали большую платформу с огромными трубами. Это было то, что надо.

— Никому не подходить к ней, — распорядился Алька.

Приказ был правильный: пока эшелон стоит, нечего вертеться возле него, мозолить глаза милиции и патрулям.

Ребята отошли в сторону, присели под вагоном, который стоял в тупике. Но скоро ли тронется этот эшелон, никто не звал. Миша-Немец вызвался пойти разузнать, когда собирается отправляться эшелон.

— Не надо, — сказал Пашка. — Мы вот что... Скоро или не скоро он будет отправляться, главное — будет, паровоз же под парами. Мы сейчас так... Будем грузиться, только по одному, чтобы незаметно было. Как, Алька?

Алька кивнул.

— Я пойду последним, — оглядываясь, сказал Пашка и приказал Сергею: — Давай!..

Сергей поправил лямки мешка, огляделся и побежал к платформе с трубами. Платформа была высокая, без тормозной площадки; ухватился за какой-то выступ, но подтянуться не хватило сил — мешок был тяжелым, тянул вниз. Сергей чувствовал, что за ним наблюдают ребята, и злился от бессилия, наклонился и заглянул зачем-то под платформу, обернулся на друзей. Пашка раздраженно

показал рукой в конец платформы. Фу ты, конечно же, надо туда... Сергей метнулся туда и легко забрался на платформу. Еще мгновение — и был в огромном жерле трубы. Через минуту показался Толя, чуть позже — Миша, Ромка, Алька с Русланом. Они заняли соседние трубы. А потом долго никого не было. Сергей хотел выглянуть наружу, но выглядывать было нельзя — могут заметить. Прислушался, но все же не вытерпел, подполз к концу трубы и слегка высунул голову. Пашка и Юра по-прежнему стоят возле вагона у тупика и о чем-то негромко разговаривают. Что это они? Пашка смотрит на Юру исподлобья, а тот стоит с опущенной головой. Поссорились, что ли? Этого еще не хватало! Потом Пашка что-то сказал ему, махнул рукой, взвалил на плечи бредень, сплюнул и направился к платформе.

— Держи, — протянул он Альке бредень.

Тот втащил бредень с ружьем в свою трубу, спросил шепотом что там у них произошло.

— Сдрейфил Юрка, — сказал Пашка.

— Как — сдрейфил?

— Как... обыкновенно. Мать, говорит, заболела.

В соседних трубах что-то прогудели. Пашка прикрикнул на них:

— Тише вы, потом! — и исчез в своей трубе.

Юрка сдрейфил... Этого никто не ожидал от него.

Алька вылез из трубы, бросив Пашке:

— Я сейчас!

Но Пашка удержал его за руку:

— Не надо, зря это!

— Ничё не зря, я скажу ему пару ласковых слов на прощанье...

— Не ходи, Алька, слышишь?!

Протяжный гудок паровоза остановил Альку.

Платформа дернулась. Поехали! Нет, снова остановились. Толчок назад, еще назад, по составу судорожно прокатился перестук буферов, не успел он затихнуть в конце состава, как платформа снова рванулась вперед, теперь уже увереннее. Да, поехали! По соседнему вагону, доверху нагруженному антрацитом, поплыли косые полосы станционных огней, все быстрее и быстрее. Потом огни внезапно исчезли, и сразу стало совсем темно, только изредка проносились над соседним вагоном красные паровозные искры. Сергей выбрался из трубы, теперь бояться было некого, вылезли все ребята. Пашка неохотно рассказал о Юрке.

— Не будем о нем, — оборвал его Алька, — трус он, и все



тут...

— Надо было хоть мешок у него забрать, — сказал Руслан, — у него там сало...

— Сало... — передразнил Пашка, — он мне сам предлагал это сало. Обойдемся. И вообще хватит о нем.

Поезд шел быстро и ровно. Размеренно стучали на стыках рельс колеса, скрежетали трубы. Было тревожно и хорошо. И Сергей размечтался: вот бы так и ехать до самой передовой...

— Я сейчас думаю, — сказал Алька, — как бы нам не растеряться всем, пока мы доберемся. Ехать придется не одним поездом, может, и в разных вагонах, а может случиться, что и разными составами. Кто его знает...

— Будем ждать друг друга на вокзалах, — сказал Сергей первое пришедшее на ум.

Пашка возразил:

— На вокзалах нельзя, там сразу поймают. Надо найти такое место, которое есть на всех станциях, и чтобы там было немного людей.

— Водокачка! — предложил Руслан.

На том и порешили: если кто-нибудь отстанет, то будет ждать десять часов на следующей станции — за десять часов добраться можно.

— А теперь спать, — приказал Алька. — Я подежурю на всякий случай, потом меня подменит Пашок, а потом...

— Я, — вызвался Миша-Немец.

— Хорошо.

— А потом я, — Сергею тоже хотелось дежурить, и он пожалел, что не опередил Мишу-Немца — так его теперь называли, двойным именем.

Алька кивнул головой.

#### 43

В трубе пахло паровозным дымом и холодным железом. Сергей поднял воротник пальто, подложил мешок под голову, прижался к нему щекой. Уснуть не мог. На душе бело тревожно. Тревожно оттого, что представлял, как послезавтра утром, проведя бессонную ночь, мать побежит к соседям в надежде узнать что-нибудь о них, а по дороге встретит Алькину или Толькину мать. Потом найдет записку. Потом, забыв о работе, побежит в милицию. Сергей никогда не жалел свою мать и никогда не любил ее так сильно, как в ту ночь. Вспоминал все случаи, когда был неправ, обманывал ее, когда она с печалью и горечью смотрела на него. И теперь терзался, мысленно просил ее простить за все. Мысленно

говорил ей: «Родная, дорогая моя мамочка (так ласково он впервые называл ее), только не плачь, пожалуйста, не переживай, вернусь я обязательно, и Пашка вернется, и мы снова пойдем в школу, и я буду обязательно лучше всех. Я все смогу. Если хочешь, я только для тебя стану врачом. Но это потом. А сейчас не ругай меня. Я уже не маленький, мама. И я должен быть там, понимаешь, должен!». Потом стал думать о том, как доберутся они до передовой, как соорудят в лесу землянку, достанут оружие, мины, тол, как взлетит на воздух первый фашистский эшелон, как где-то встретится партизанский отряд и как в бородатом командире он узнает вдруг своего отца!..

Сергей мечтал довольно долго, пока в трубе не раздался негромкий голос Миши-Немца:

— Вставай, твоя очередь.

Сергей вылез из трубы и сразу замерз.

— А ты попрыгай, так теплей, — сказал Миша и сладко зевнул. — Будем подъезжать к станции, прячься за трубу, так сказал Алька, чтоб не заметили.

— Ясно, — кивнул Сергей, кутаясь в пальто.

Состав подолгу шел без остановок, а если и останавливался, то всего на несколько минут. Ребят донимал холод, а под утро полил дождь. Хлестал часа полтора, и в трубы набежала вода. Если бы они были чуть пошире, то пересидели бы дождь на корточках, но в этих трубах можно было только лежать, и как ребята ни старались, они все же вымокли и дрожали от холода.

К вечеру состав остановился на какой-то узловой станции. Стояли очень долго. Ребята думали, что меняется паровозная бригада, но когда состав начали передвигать с одного пути на другой, поняли — он расформировывается. Покинув свою платформу, отошли подальше от путей, к штабелям бревен, возле которых сидели с вещами в ожидании своих поездов женщины, старики и старухи. К платформе с трубами подошла «Кукушка», постояла с минуту и неторопливо потащила ее на круто уходящий в сторону леса одинокий путь. Ребята переглянулись, но ничего не сказали друг другу.

На этой станции пришлось провести целые сутки, и только к вечеру следующего дня удалось пристроиться к длиннющему эшелону, в голове которого пытели два «ФД», шумно выбрасывая из низких труб фейерверки красных искр. Почти весь эшелон состоял из огромных вагонов, что в них находилось, ребята не знали, и только в голове состава было несколько полувагонов. Один из них и облюбовали. Пока эшелон стоял, они молча и не шевелясь лежали на

каких-то ящиках, так как ящики были почти вровень с кромкой вагона, и если поднимешь голову, сразу выдашь себя и товарищей. Эшелон вскоре тронулся. Когда станция осталась позади, Алька деланно командирским голосом скомандовал:

— Подъем!

Довольные, что погрузка прошла благополучно, ребята устроились кружком, плотно поужинали печеной картошкой с луком и хлебом и, договорившись о дежурстве, стали укладываться спать. Зная, что ночью не будет жарко, сразу улеглись, прижавшись друг к другу.

На этот раз Сергею выпало дежурить последним, после Альки. Сергей уже понял, что лучше всего дежурить или первым, или последним: если первым, то подежуришь сразу и спи себе спокойно, не жди, что тебя вот-вот разбудят. И последним неплохо — знаешь, что вставать не скоро. Поэтому, видимо, и уснул он быстро. К тому же сегодня на душе уже было спокойнее, чем вчера: обо всем он уже передумал, со всеми переговорил мысленно, и хотя тревога осталась, но это была уже не та тревога, которая сразу охватила его, когда город исчез вдаль и Сергей подумал о матери. Он заметил, что даже самое страшное становится не таким страшным, если есть время подготовиться к нему и в душе пережить его несколько раз. Времени на это у него было предостаточно. Спал он крепко. Разбудил его чей-то гневный и властный окрик:

— А ну, слазь!

Сергей открыл глаза, все тоже проснулись и лежали, затаив дыхание. Было еще темно. Эшелон стоял. По соседнему вагону мелькнул яркий луч фонарика. Внизу кто-то завозился. Все смотрели на Пашку и Альку: бежать? Вагон в это мгновение тронулся. Сергей взялся за лямки мешка, ожидая решения, но Алька приложил палец к губам.

Над кромкой вагона показалась вдруг голова милиционера, резанул луч фонаря. Положение было критическим. Вдруг ребята увидели, как Мишка-Немец поднялся во весь рост и, бросив что-то вроде: «Я вернусь!», одним махом сиганул на крышу соседнего вагона и побежал у всех на виду в хвост эшелона.

— А ну, назад! Куда? — раздался голос милиционера. Он побежал за Мишей.

Каждый понимал, что Миша не струсил, а решил отвлечь милиционера, что все равно он убежит, а потом встретится с ребятами, как договорились.

Поезд набирал скорость.

— Стой! Сто-ой! — кричал милиционер. Раздался си́плый протяжный гудок.

— Ложи-иись! — вдруг истошно завопил милиционер, и в ту же секунду над головами с грохотом пронеслись фермы моста. Ребята невольно прижались к ящикам.

Потом стало тихо. Не то, чтобы совсем тихо, но Сергею так показалось, потому что мост остался позади, потому что теперь не слышно было на крышах вагонов ни чьих шагов. Приподнялись, но прежде чем встать во весь рост, услышали снова чьи-то тяжелые гулкие шаги по крыше вагона. Шаги одного человека.

Это были не Мишкины шаги.

Потом увидели одинокий силуэт. Он удалялся, потом вспыхнул фонарь и погас. Немного погодя силуэт стал наполовину меньше, милиционер, должно быть, присел, опять вспыхнул фонарь, и метаящийся его луч побежал в хвост состава. Где-то на последнем вагоне луч фонарика исчез, милиционер, наверное, спустился на тормозную площадку последнего вагона к кондуктору поезда.

— Это не Миша, — прошептал Пашка.

— Ясно, — сказал Алька.

— У него не было фонарика, — добавил Сергей.

— Сорвался с крыши вагона?.. — проговорил дрожащим голосом Толя.

— Или сбило мостом? — прошептал Пашка.

Ребята не могли смотреть друг другу в глаза. Они больше ни о чем не говорили. Безмолвно стояли они лицом к хвосту состава и все чего-то ждали.

#### 44

А на следующей станции их поймали. Как только эшелон остановился, ребята, потрясенные нелепой гибелью Миши, совсем забыли о конспирации и гурьбой спрыгнули на насыпь, не захватив с собой даже ружья, завернутого в бредень. Хотели по путям вернуться к мосту, пошли вдоль состава, но сразу же угодили прямо в руки двух милиционеров. В другой раз, конечно, многие наверняка бы убежали, а если бы кто и попал в руки милиции, то нашел бы, что сказать, попытался бы выкрутиться. Сейчас тоже пытались выкрутиться, однако ничего из этого не вышло. Все были вконец потрясены гибелью товарища, и, сколько ни врали, кто, куда и откуда, пришлось во всем признаться.

Понури́в головы, сидели в маленькой прокуренной комнате на длинной скамейке, сидели, коротко отвечая на негромкие и раздражающе спокойные вопросы

милиционера, облокотившегося на старый, обшарпанный письменный стол. Записывая показания, он часто макал перо в чернильницу, в которой, наверное, кончались чернила.

В тот же день в сопровождении милиционера в гражданской одежде «вояки» поехали назад. Они сидели в пассажирском поезде и занимали целое купе. Было тепло и удобно.

И до горечи было печально.

Сергей молча смотрел в окно. Мелькали столбы, деревья, кирпичные будки стрелочников. С бешеной скоростью и грохотом промчался мимо встречный, и Сергей вздрогнул — в его грохоте он услышал неистовое: «Ложись!».

За окном у насыпи земля стремительно убегала назад, а на самом горизонте она неторопливо и плавно двигалась вслед за поездом. Почему так получается? Сергей никак не мог понять, почему горизонт не отстает от поезда. И пытался сосредоточиться на этом. Сейчас ему казалось это очень и очень важным.

#### 45

После неудачного побега, после нелепой гибели Миши некоторое время ребята вообще избегали разговора о побеге, ибо каждый чувствовал себя в чем-то виноватым перед ним. И перед его матерью. Перед его братишками и сестренками.

Всю осень и зиму девчонки во дворе презрительно называли их «вояками», и они терпеливо сносили насмешки, думали: ничего, перезимуем, а как только сойдет снег, все равно отправимся на фронт, опыт уже есть, пусть горький, но есть. И тщательно готовились к новому побегу.

Все приходилось начинать с начала, так как милиция изъяла и ружье, и боеприпасы, и фонарики, и даже деньги, только харчи не тронули.

Теперь добывать деньги было труднее: в тайгу ребят не пускали. Да и зима была на носу. И в свободное время друзья снова собирались в Руслановой «мастерской», и вновь кипела работа: пилили, строгали бруски для прищепок, рубили и крутили в пружины проволоку, резали жесть, паяли кипятивильники, ходили на базар.

Кроме прищепок и кипятивильников, ребята делали кольца и игрушечные кинжалы. Кольца делали из двухкопеечных монет: пробив посередине отверстие, насаживали монету на стальной штырь, оббивали молотком, напильником придавали правильную форму, затем драили наждаком, терли о валенок. Два дня работы на уроках — и кольцо готово, не отличишь от настоящего. Самые лучшие кольца

получались из старинных однокопеечных монет из красной меди.

Игрушечные кинжалы мастерили из мягких железок, к которым крепили ручки портфелей, поэтому у всех ребят портфели вмиг «похудели», а потом стали «худеть» и у их товарищей по школе.

Однако повоевать ребятам так и не потрафило: пришла весна и принесла, наконец, долгожданную весть — Победа!

Это был обыкновенный день. Мать Сергея вернулась со второй смены и спала еще. Он шел в школу и в подъезде налетел на тетю Клаву. Ожидая брани, отступил на шаг, но, к изумлению, она вдруг притянула его к себе, поцеловала. От нее пахло духами и водкой. Сергей оттолкнул ее, вытер след поцелуя.

— Вы что?..

— Дурачок!.. Да победа же! — крикнула она, как девчонка.  
— Победа!

Он вылетел из подъезда. Людей во дворе! Он никогда не видел столько людей во дворе, сразу столько людей. Он никогда не видел их такими оживленными и родными. Все что-то кричали, смеялись, целовались. И плакали. Смеялись и плакали. Алька сидел на крыше сарая и неистово колотил обломком лыжной палки по дну старого таза. Во двор затащили незнакомого пожилого военного с полевыми солдатскими погонами и рвали его друг у друга, стараясь увести в свой дом. Он смущенно улыбался, он, видимо, куда-то торопился, но его не хотели отпускать и отпустили лишь тогда, когда он выпил водки. По двору прыгала на одной ножке сестра Миши-Немца и, хлопая в ладоши, звонко приговаривала:

— Гит-ле-ру ка-пут! Гит-ле-ру ка-пут!

Неподалеку от нее стоял, прижав к груди кулачки, Веня-дурачок, он с любопытством смотрел, как на одной ножке прыгает девочка, и улыбался бессмысленно и счастливо. Сергей оглянулся на свое окно, побежал к матери. Она уже была одета и стояла у окна. Еще с порога он крикнул:

— Победа, мам! Ты слышала, победа! — и бросился к ней.

— Знаю, — сказала она тихо и глухо. Прижала к себе. Долго они так стояли. — Тебе пора в школу, — сказала.

— Пора.

В тот день занятий в школе не было, только собрали на митинг и отпустили домой.

Город выглядел праздничным. Всюду развевались красные флаги. Город ликовал. Город пел. Пели мальчишки и девчонки, женщины и старики, пели в домах и на улицах,

даже из распахнутых окон госпиталя неслись песни. Кино было бесплатно. Три сеанса подряд ребята просидели в кино. Руслан говорил, что теперь всегда кино будет бесплатно, и никто не спорил с ним. Когда вышли из кинотеатра, он достал из-за пазухи нераспечатанную пачку «Пушки», сказал, что давно припрятал ее специально для этого дня.

Домой не хотелось. Ребята долго бродили по городу. Возле базара увязались за какой-то веселой компанией из одних женщин и носатого подростка в кубанке, который играл на ходу на гармошке. С ними дошли до лесозавода, поокочлачивались у клуба, где было не протолкнуться, и пошли с толпой к Оби, откуда тоже доносились песни, смех и рыдания. Весь берег был усеян людьми, как в самый жаркий воскресный летний день. Только и то, что никто не купался. Ребята устроились на нагретой солнцем шершавой гранитной глыбе, разноцветной, похожей на слоеный пирог, и снова закурили «Пушку».

Вода в реке еще не спала, она была мутная и желтая, а весь берег был уже зелен от молодой травы. На лесопилке не работали. Все катера и буксиры стояли у причала, лишь один катерок тарахтел мотором, должно быть, дежурный или спасательный. Вниз по течению вдоль берега шел белый двухпалубный пароход. Там тоже пели и плясали. На верхней палубе стояла, положив подбородок на руки, какая-то девчонка в темном пальтишке и с белым бантом на макушке. Она смотрела на берег. Сергею казалось, что прямо на него смотрела. И он помахал ей рукой. Просто так. А может, и не просто так. Она не ответила. Она, наверное, смотрела не на него, а на женщин, которые плясали неподалеку от них. Сергей еще раз помахал рукой. Почему-то очень хотелось, чтобы она заметила. Теперь она заметила. И помахала ему тоже.

Сергей вскочил на ноги, сделал рупор из ладоней и крикнул что было мочи:

- Счастли-и-во!..
- Ты кому это? – спросил Руслан.
- Пароходу.
- Кому-у?

Сергей не ответил.

К вечеру пришли на площадь. Должно быть, весь город собрался на площади. Мальчишки швыряли в небо голубей, свистели, хлопали в ладоши, и никто не одергивал их. Голуби, взмыв в небо, парили над площадью, ходили кругами, сложив крылья, камнем падали вниз и вновь устремлялись в небо. Сергей долго наблюдал за ними.

На какой-то миг ему показалось, что это не голуби, а самолеты. И он вдруг в своем воображении увидел лицо отца, мстительно прищуренные глаза его, увидел, как он жмет штурвал от себя и переводит истребитель в пикие...

Лицо Сергея приняло такое же выражение, как у отца — решительно-мужественное, и это уже не отец, а сам Сергей сидел за штурвалом и, видя внизу мятущихся в панике фашистов, смело вел самолет прямо в их черное скопище...

Это решительно-мужественное выражение так и запечатлится на его лице на долгие годы. Одни будут считать, что он, Сергей, наверное, всегда немножко злой, другие будут думать, что постоянно чем-то недоволен, но когда узнают его ближе, поймут, что ошибались, и никому неведомо будет, откуда у него это в лице, в его сжатых губах, в его чуть прищуренных глазах, полных непонятной решимости. Сам бы мог объяснить просто: он очень жалел, что все это самое большое обошлось без его участия, что сам он для этого праздника ничего не сделал, хотя и мечтал, стремился, но...

Он не знал, что если и не совершал пока ничего особенного, никаких подвигов, то за эти четыре долгих и тяжелых военных года он обрел самое главное для своего возраста и поколения — готовность к подвигу, готовность к самому большому и святому на земле — к защите своей Родины. Подвиги не совершаются ежесекундно, человек может прожить всю жизнь, так и не совершив чего-то очень заметного. Для подвигов, кроме всего прочего, нужны и определенные обстоятельства. Но очень важно всегда быть готовым к подвигу — ведь без этого они не совершаются.

Когда стемнело, над площадью взлетели ракеты. Зеленые, желтые, голубые, белые, красные. Гремели оркестры.

...Ночь была у Сергея продолжением предыдущего дня, ему приснился сон: площадь до краев заполнена народом, люди облепили деревья, забрались на телеграфные столбы, огольцы — на крыши домов и даже на трубах сидели. И несмотря на то, что собралось столько народа, было так тихо, как в классе, когда неожиданно входит директор. Вытягивая головы, все смотрели, и Сергей тоже, на то место, где раньше была трибуна, а теперь вместо трибуны что-то другое, вроде сцены, на которой стояло какое-то страшное устройство, то ли гильотина, то ли пушка с огромным и коротким жерлом. Возле нее кто-то высокий в черном длинном плаще или платье, сложив руки перед собой, медленно обвел взглядом всех собравшихся на площади, посмотрел прямо в глаза Сергею, сидевшему на краешке крыши, и раскатистым



приглушенным голосом, словно доносившимся из бездонного колодца, спросил, вытягивая вперед руки:

— Кто из вас готов отдать свою жизнь за то, чтобы больше никто никогда на земле не умирал от войны?

Мгновенье стояла такая тишина, словно на площади не было ни единой души. Кто выйдет, кто умрет за всех? Хотя бы скорей кто-то вышел. Но кому охота умирать, тем более сейчас, когда, наконец, закончилась война. Как хочется жить. Жить всю жизнь! Ходить в школу, получать пятерки и двойки, бродить по тайге, жечь костры, ловить рыбу, гонять на коньках, играть в жучка и лапту, купаться, загорать на солнце, есть боярку, черемуху, ждать маму с работы, самому работать — жить, жить, жить!

Сергею кажется, что именно ему хочется жить больше всех, ему кажется, что он в мире самый главный, хотя на первый взгляд и совсем незаметный, но — главный. Да, все в мире для него: дома, деревья, реки, поля, тайга, небо, солнце, все села, города, моря-океаны, все люди на земле и вся вселенная — все это для него и все его. И он и только он все может в этом прекрасном, но жестоком и страшном мире, только он все может. Он.

Окинув взглядом всю замершую в молчании площадь и, мысленным взором окинув весь мир, Сергей поднялся во весь рост, гордо вскинул голову и негромко, но четко и ясно, чтоб слышали все, промолвил:

— Я готов!

И забыв, что находится на крыше двухэтажного дома, решительно шагнул вперед, но не упал, а полетел — он часто теперь летал во сне.

— ...А я с этим мальчиком училась в одном классе! — донесся до него чей-то очень знакомый и приятный переливчатый голос.

Но Сергей не обернулся. Он стремительно летел туда, где его ждали многие-многие люди, весь мир ждал. И, конечно же, она — девочка, похожая на Василису Прекрасную.

## ПОЭЗИЯ

Владимир СТАЛЬНОЙ  
«Смеется в памяти роса...»

\* \* \*

Село...  
До детства моего так близко:  
тут вдовы и сироты.  
Обелиски.

\* \* \*

Скрипы ветра.  
Дождит.  
И склоняется ветер.  
Предзакатное,  
ты,  
ещё чуть посвети.  
От креста  
тень упала,  
ложится на плечи,  
только тень...  
Да ее уж не бросить. – Нести!

\* \* \*

... И стихли вдруг, пополотнели небеса.  
Над кладбищем осенним марево трухтело.  
От земли  
(как тяжела она – слеза!)  
все женщина свое  
не сводит лёгкость тела.

\* \* \*

Уже садок – в глухом молчанье.  
Побита холодом трава.  
Ещё мы юны и отчаянны,  
чего-то больше, чем слова.

И пусть над всею ширью тиши  
так громко стали небеса,  
да всё ж, ей Богу, голосищем  
смеется в памяти роса.

\* \* \*

И вправду не пойму:  
  что значит эта серость?  
Пожатые лишь...  
  Банальность.  
  Только ты,  
ты знаешь, жёнка,  
  как в усталом сердце  
оттает лишь кусочек мерзлоты.

\* \* \*

Там лишь сомненья будут сохраняться.  
Ожжёт отчаяние болью дней.  
И я в мечтах:  
  мир станет называться  
вот так,  
  как захотелось только мне.

А ты своё открыла  
  что-то яро.  
И без следа  
  пошла ты по земле.  
Как бунтовской  
  тот лермонтовский парус,  
растаяла косынкою во мгле.

\* \* \*

И ты его, и свет тебя не чуёт.  
И стихли краски лета на рядне.  
И даже память, что вот так ночует,  
Лишь греется молчаньем давнины.

\* \* \*

Богатый образ я творю:  
  а снова  
не знаю, почто так выходит всё:  
на кончике пера пасёт корову  
парнишка,  
  в простенькой сорочечке пасёт.

\* \* \*

Та ночь посвящена печали:  
С селом прощались журавли!  
А я, конечно, не отчаянно –  
За ними в безграничность мглы.

Я буду очень долго слушать  
Их дальний, дальний перелёт.  
Плывут в рассветах наши души,  
Ловлю антенны поворот.

Про журавлей, про ночь – и дале  
Пусть повторю я вновь азы:  
Скажу от имени печали  
И непослушной той слезы.

\* \* \*

Несла ты ведра к роднику, молодка,  
оттуда в песни  
  я тебя пронес.  
Потом я из колодца  
  так пил воду,  
как будто выцеловывал её.

*Перевела с украинского Римма Катаева*

Ирина ГЛЕБОВА

**ЗАБУДЕМ ЗЕМНЫЕ ПЕЧАЛИ...**

\* \* \*

Среди смятений и сомнений,  
Сквозь сумерки бегущих дней,  
Печаль небесных песнопений  
Пронзительнее и светлей.

Не обещание покоя  
Туманит влагою глаза,  
А то, желанно-неземное,  
Что и понять ещё нельзя.

То, что не выразить словами,  
Когда под лунным серебром  
Горят кресты над куполами  
И льётся тихий перезвон.

Да слов бессильных и не надо:  
Душа блаженна и чиста,  
Когда пульсирует лампада  
В зрачках воскресшего Христа.

**ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ**

*(28 июня 2003 года, в лесу  
за посёлком Заудье)*

Темна позолота в окладе,  
И ветхий крошится киот,  
Но тихая нежность во взгляде  
Над лесом притихшим плывёт.

Откуда в глуши бездорожной,  
Далёко людского жилья,  
Явился Твой лик, Матерь Божья —  
Икона у дуба в корнях?

Тогда, онемевши от чуда,  
Не в силах глаза отвести,  
Мы долго гадали — откуда?..  
Неисповедимы пути!

Неведомы помыслы Божьи...  
Не носим креста на груди,  
И страсти земные нас гложат,  
А вот — довелось обрести!

Рука замерла на мгновенье  
У лба, неумело крестясь...  
Затешилась тень откровенья:  
Не мы выбираем, а нас.

Зачем? Может, чтобы впервые  
Понять: жизнь земная — не прах,  
Пред ликом Пречистой Марии  
С Младенцем Святым на руках.

\* \* \*

Моя ладонь чиста, как у младенца.  
Три линии прочерчены на ней,  
Три линии — судьбы, ума и сердца,  
Три нити в долгом лабиринте дней.

Я замечаю, и меня тревожит,  
Что исподволь меняются они.  
Моя ли это воля? Или, может,  
Предначертание меня хранит?

Предсказывая, предостерегая...  
Вот линия судьбы — не первый год  
Здесь был разрыв. Теперь она сплошная,  
Но появился резкий поворот.

Как долго шли, упрямо не встречаясь,  
Пути ума и сердца — потому,  
Так часто и так больно ошибаясь,  
Я доверяла в основном уму.

Но чудо — вдруг сошлись в единой точке!  
Быть может, лет моих не сторонясь,  
Мне жизнь позволит увидеть воочью  
Любовь, где нежность более чем страсть.

Надежду, не подвластную расчётам,  
И веры вечно греющий огонь...  
Ведь роковой обрыв стал поворотом  
И лёг крестом спасенья на ладонь.

\* \* \*

Достигнув юности рассвета,  
Душа осталась молодой.  
Ведь это тело наше смертно —  
Ей уготован путь иной.

Когда земная жизнь прервётся,  
Какой тернистою тропой,  
К каким вершинам ей придётся  
Нести тяжёлый груз — одной?

Взлететь бы, словно белый голубь!  
Но даже лучшие из нас  
Посмеют ли — «Не грешен» — молвить  
В прощально-просветлённый час?

А Тот, кто видит всё и слышит,  
Взор пристальный не отведёт...  
И чем сильнее душа, тем выше  
Она, спасая нас, взойдёт.

...Иду летящим, лёгким шагом!  
Болезни? Годы? Горечь бед?  
Да! Но на всё гляжу без страха —  
Душе всего лишь двадцать лет.

\* \* \*

Забудем земные печали,  
Остудим горячие лбы!  
В небесных заоблачных далях  
Конец и начало судьбы.

Конец и начало... Вот этой —  
Вприпрыжку, бегом, впопыхах,  
Прожитой, проплаканной, спетой...  
Как знать — наяву ли, в мечтах?

По тропам земным и по ветвям,  
По рекам, закованным в лёд,  
Какой околдованный ветер  
То пыль, то позёмку метёт?

В зрачках отражаясь мгновенье,  
Качается пламя свечи.  
Но вечно его отраженье  
В дрожании звёздной ночи.

\* \* \*

Что есть смерть? Неужто только мука?  
Но какая яркая звезда  
Освещает ночь перед разлукой  
Беспощадной вспышкой — навсегда!

Что есть жизнь, когда за первым вздохом  
Каждый — как цепочка на пути  
К той черте, к последнему порогу?  
Как ни медли, а к нему идти!

Как живём мы, эту правду зная,  
Как смеёмся, плачем и поём,  
И зачем детей своих рожаем,  
И куда их за руку ведём?

Почему, не вспоминая все  
Смерть — конец короткого пути,  
Так живём и так мечты тасуем,  
Словно бесконечность впереди?

...Взгляд твой тяжек. Но ещё он светел,  
И ещё не тронут тишиной.  
Тайна жизни или тайна смерти —  
Что уже открылось пред тобой?



\* \* \*

Вечность облачается во время,  
Так, как носим мы свою одежду.  
Зябко прячась между  
Фактами и снами,  
Вечность беззащитна перед нами,  
Как мы беззащитны перед ветром.

Ветер рвёт сухую черепицу,  
И сечёт нам лица пыль столетий.  
А на этом свете  
Мы всего лишь дети,  
Как нам не пропасть, не заблудиться!

Нас кружат незримые потоки,  
Нас несут таинственные реки.  
И уже навеки  
Тяжелеют веки —  
Время нам свои диктует сроки.

Ветер, ураганом завывая,  
Инеем оденет наши лица...  
Время растворится,  
Время в Лету канет,  
Время обнажится перед нами,  
Вечность, словно двери, открывая...

\* \* \*

Милость Господнего знака  
Примем на души свои...  
Бьётся и стонет собака  
В чёрной воде полыньи.

Визг её жалок и тонок,  
Слышать его мне невмочь!  
Словно бы плачет ребёнок  
И умоляет помочь.

Дремлет деревня беспечно,  
И на холмах — пустота...  
Обледенели дощечки  
У подвесного моста.

Кончился мост, и крутая  
К проруби тропка бежит.  
Господи, мука какая!  
Что через миг мне решить?

Коль обломился под псиной  
За ночь оттаявший лёд,  
То и меня из трясины  
Этой никто не спасёт!

Что же со мною творится?  
Я не хозяин себе:  
Пальцы вцепились в перильца —  
Ноги скользят по тропе...

Милость Господнего знака  
Примем на души свои!  
В это мгновенье собака  
Вырвалась из полыньи,  
Радостно мчит, подвывая,  
К тёплым избушкам села...  
Воля Твоя всеблагая  
Душу живую спасла!

Уберегла от отчаянья  
Грешную совесть мою,  
Чтобы не падать ночами  
В чёрный кошмар — полынью...

## ПРОЗА

Виктор ДОЛБНЯ

**ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ**

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.

*Дорогому другу и помощнику  
горячо любимой жене Вале  
п о с в я щ а ю.*

## ПРОЛОГ

9 мая 1995 года все республики бывшего Советского Союза отмечали пятидесятилетие победы в Великой Отечественной войне. С годами постепенно уходили из жизни ее непосредственные участники. Сейчас остались лишь самые молодые из них, а это только малая часть тех, кто вырвал победу в те тяжелые годы.

У меня раньше не возникало желания писать какие-либо воспоминания о моих военных годах. Толчком послужило то, что летом 1995 года я приобрел в Киеве топографическую карту Харьковской области. Ранее такие карты не издавались из стратегических военных соображений. Я же давно хотел такую карту иметь. Когда она оказалась у меня в руках, и я начал ее изучать, мне захотелось разыскать на ней те населенные пункты, через которые я уходил из города в октябре 1941 года перед занятием его немецкими войсками. Некоторые названия остались у меня в памяти, другие из нее совершенно стерлись. И тут я вспомнил, что в моем книжном шкафу хранятся блокноты с записями, сделанными в те далекие дни. В одном из них, вспомнил я, были последовательно перечислены населенные пункты, через которые вела меня военная судьба. Я разыскал эти блокноты, и когда стал их просматривать, увидел, что они сохранили почти ежедневную информацию о тех тяжелых годах, по крайней мере, до февраля 1944 года. Записи, сделанные карандашом, местами почти совсем стерлись, и я с трудом разбирал их. И вот тогда у меня и мелькнула мысль: а почему бы не восстановить эти записи в виде повести очевидца войны, повести, основанной лишь на достоверных фактах без единого слова вымысла или преувеличений.

Задача эта не представлялась мне очень легкой. Мало того, что отдельные места в блокнотах уже нельзя было прочесть, сами записи порою были весьма лаконичны. Чего стоили, например, фразы «Случай с Петровым» или «Ссора с Кожиным»? Когда я вносил такие записи в блокнот, мне казалось, что этих слов будет достаточно, чтобы со временем восстановить в моей памяти все подробности. Может так и случилось бы, займись я этим спустя 3–4 года после войны. Но ведь прошло более пятидесяти лет! Очень многое исчезло из памяти навсегда. Что за «случай с Петровым»? И кто он такой, этот Петров? И из-за чего произошла «ссора с Кожиным»? И чем она закончилась? Выдумывать ничего не хотелось, и я решил просто опускать такие места из моего повествования.

Первые два с половиной года, регулярно вписывая в дневник свои впечатления, я не знал, что совершаю незаконные действия. Потом мне стало известно, что существует приказ Сталина, запрещающий ведение дневников на фронте, видимо, в целях конспирации. За ослушание грозил трибунал, гарантировавший не менее 10 лет тюрьмы с заменой тремя месяцами пребывания в штрафной роте. К счастью, я ни разу в этом преступлении уличен не был, а когда узнал о запрете на ведение дневников, мои блокноты уже находились дома, в Харькове, у родных.

Записи, относящиеся ко второму периоду войны настолько скупы, что дневником их назвать уже нельзя, а неумолимое время окончательно стерло многие подробности кроме самых ярких и впечатляющих. Кое в чем помогли появившиеся во второй период войны фотографии с датами, а также военные топографические карты, которые я собирал по мере их использования и сберег до сегодняшнего дня. На них в свое время я отмечал цветным карандашом маршрут нашего подразделения. Наименования населенных пунктов и даты под фотографиями и некоторыми документами помогли мне восстановить в памяти основные вехи заключительных пятнадцати месяцев войны.

Перед тем, как приступить к рассказу о тысяче четырехсот восемнадцати днях войны, хочу немного рассказать о себе.

Родился я 27 сентября 1924 года в Харькове, где прошло мое детство и первые девять лет обучения в школе. Мой отец, Долбня Тимофей Афанасьевич, 1894 года рождения, работал бухгалтером до революции и первые годы после нее на городской электростанции, потом на вновь построенном тракторном заводе, а перед войной — на Харьковском

вагоноремонтном заводе. Мать, Ульяна Иустиновна, 1895 года рождения, была домашней хозяйкой. В свое время она была искусной модисткой, но в последние годы жизни из-за ухудшения зрения шила мало, больше занималась домашним хозяйством. Мой брат Владимир, 1919 года рождения, с 1939 года служил на флоте, сначала на Балтике, потом в Пинске в Днепровской военной флотилии, а перед самой войной — в Дунайской военной флотилии.

Вместе с нами проживали родители отца, мой дедушка Долбня Афанасий Демьянович и бабушка Домна Григорьевна, оба 1862 года рождения.

## ЧАСТЬ 1

### 1. НАЧАЛО ВОЙНЫ

#### Июнь 1941 г.

Недавно закончились экзамены за девятый класс средней школы, и мы наслаждались ожиданием летнего отдыха.

Первый день войны мне хорошо запомнился. 22 июня было воскресенье, и мама решила вместе со мной поехать на окраину города, в район Харьковского тракторного завода. Кто-то ей сказал, что там в магазине можно подыскать мне зимнее пальто. Мы очень долго ехали трамваем, потом ходили по магазинам, ничего подходящего не нашли и снова сели в трамвай, направляясь домой. И тут в вагоне мы услышали от возбужденных пассажиров, что только что, в 12 часов дня, по местному радио было передано сообщение о внезапном нападении немцев на нашу страну. Сразу стало жутко и тревожно, хотя, в первые часы и даже дни, мы не предполагали, какие несчастья ожидают страну. Городской радиоузел через громкоговорители в наших квартирах передавал сообщения с фронтов, а также патриотические песни и музыку. Шла поголовная мобилизация в действующую армию, мой возраст (мне еще не исполнилось семнадцати лет) призыву не подлежал, отца также — ему было более сорока семи лет. Он продолжал работать. К молодежи, которая не была мобилизована, страна обратилась с призывом включиться в трудовую деятельность, где кто найдет возможность.

Июль – август 1941 г.

Посоветовавшись дома, мы решили определить меня на работу к отцу на вагоноремонтный завод, куда меня и зачислили счетоводом кузнечного цеха, в котором отец работал в должности бухгалтера. Как я, так и подобные мне молодые ребята работали без оплаты, чтобы оказать стране хоть и малую, но помощь своим безвозмездным трудом.

Уже начались интенсивные бомбежки Харькова, много зданий было разрушено, во всех домах ввели светомаскировку и оклеили стекла окон полосками бумаги, чтобы не разлетались осколки при воздействии взрывной волны.

Сентябрь 1941 г.

Хотя немцы неуклонно продвигались на восток, в школах возобновились занятия. Правда, здание 74 средней школы, где я учился, уже было занято под госпиталь, но школу перевели в другое помещение. Учащихся в десятом классе было не более восьми – десяти человек: кто уехал с родителями на восток, кто бросил учебу, поступив на постоянную работу, учащиеся 1922 и 1923 годов рождения были призваны в действующую армию. Занятия шли нерегулярно. К концу месяца стало известно, что немцы вот-вот подойдут к Харькову. Занятия в школе сами собой прекратились.

Октябрь 1941 г.

В начале октября отец получил повестку, и 5 числа я проводил его в военкомат. В действующую армию его по возрасту не призывали, он был мобилизован на рытье окопов и сооружение оборонительных заграждений на подступах к Харькову.

Через пару дней я получил такую же повестку. Мама собрала мне вещмешок, сшила футляр для фляги, которую я сделал из противогазной коробки, выбросив находящиеся внутри химические поглотители и угольные фильтры и запаяв дно сплошным куском жести.

Мне нужно было явиться в военкомат 12 октября. Я взял с собой небольшой блокнот, пару карандашей и перочинный нож. На внутренней стороне обложки я написал:

«Дневник. Начат 12 октября 1941 года (воскресенье).

Окончен . . . . .

Содержит 22 листа.

г. Харьков, Валериановская ул. №64, квартира №5».

Далее я вписал данные своего паспорта, который нужно было сдать в военкомат: «П-30 №595886» а также адрес брата: «Д.В.Ф. (т. е. Дунайская военная флотилия), В.М. п/с № 1139, п/я 036».

## 2. ДОРОГА НА ВОСТОК

12-15 октября 1941 г.

Записи за эти четыре дня, сделанные карандашом на первых листах блокнота, настолько стерлись от времени, что разобрать их практически невозможно. Но эти дни настолько прочно врезались мне в память, что я могу восстановить происходившее почти точно.

Мама проводила меня до военкомата. Теперь она оставалась дома совершенно одна. Я просил ее не плакать, уверял, что война очень скоро закончится, мы, несомненно, победим и все вернемся домой живыми и здоровыми.

Знакомых мне ребят в нашей команде практически не было. Я сблизился с парнем с нашей же улицы. Учился он не со мной, но мы были знакомы через одного из моих одноклассников. Фамилию этого парня я уже не помню, что-то вроде «Жилин».

Вышли мы из военкомата в 13.30, построились в колонну по четыре человека в ряд, и пошли в сторону теперешнего Салтовского поселка. Погода была пасмурная. Когда мы выбрались за пределы города, пошел дождь и быстро стемнело. В те годы мощеной дороги на Салтов не было, мы шли буквально по колено в грязи, и я молил Бога, чтобы в ней не остались мои новые галоши, надетые на легонькие летние ботинки.

Ночь застала нас в чистом поле. Сопровождавшие нас работники военкомата свернули нас прямо в поле к огромным скирдам соломы и предложили устраиваться в них на ночь. Мы разбрелись по скирдам, я по примеру других надергал из скирды соломы, сделал себе нечто вроде постели и лег на нее, укутавшись в полупальто, которое сшила мне в свое время мама. Оно было на вате, с меховым кроличьим воротником, но довольно короткое – скорее, это была теплая зимняя куртка.

Нужно сказать, что за четыре года до этого я, катаясь на лыжах, основательно промок и простудился. После гриппа у меня оказалось тяжелое осложнение на сердце. Болезнь эту врачи называли «расширением сердца» – какая-то разновидность порока сердца. Меня уложили на четыре месяца в постель с запретом подниматься и ходить. После выздоровления мне порекомендовали ни в коем случае не простуживаться, освободили от всяческих физических нагрузок, в том числе и от занятий физкультурой, ни в коем случае нельзя было употреблять даже слабых спиртных

напитков (пиво, легкое вино и т.п.)

И вот я под проливным дождем укладываюсь спать прямо под чистым небом холодной осенью. Ясно, что я мысленно уже прощался с жизнью.

Когда под утро, еще затемно я проснулся от холода, то обнаружил, что лунка в соломенном ложе, где я лежал, была наполовину заполнена дождевой водой, и правая половина моего тела была в этой воде. Это меня окончательно убило. В это время ребята, которым тоже было не до сна, разожгли костер из соломы, и мы стали греться вокруг него.

Ноги мои застыли от холода, я сунул их в теплую золу костра и не заметил, как начала гореть резина на моих новых галошах. Когда я затушил резину, галоши сверху на носках имели огромные, величиной с грецкий орех, дыры.

Соседнюю скирду ребята то ли по недосмотру, то ли умышленно подожгли, и мы с испугом смотрели на огромный пылающий костер.

Утром нас с трудом собрали, вновь вывели на дорогу, и к вечеру привели в совхоз «Кутузовский». На ночь разбрелись по хатам, я же с некоторыми другими ребятами заночевал в конторе совхоза прямо на письменном столе.

На следующий день, 14 октября, мы по непролазной грязи добрались до села Непокрытое (сейчас оно называется Шестаково). Там мы остановились на сутки. Четверо из нас расположились в третьей или четвертой хате от края села. Помню, у хозяина висели неработающие часы-ходики. Перед войной я увлекался ремонтом гиревых и пружинных настенных часов и вызвался почистить их и запустить. Мне это удалось, и те сутки, что мы пробыли, они исправно тикали.

За день 15 октября мы прошли село Старый Салтов – родину моей мамы – и, наконец, добрались до села Дорошенково.

Далее записи более-менее разборчивы, и я просто дословно привожу их, а где необходимо – добавляю пояснения.

16 октября 1941 г.

Утром встали и двинулись дальше. Страшно болят растертые в кровь ноги. Около полудня пришли в село Великий Бурлук. Кормили в столовой, дали хлеба. Очень долго стояли в очереди, поел только в начале третьего. После того, как все поели, пошли дальше и под вечер добрались до села Екатерино-Никольское. Не знаю, по какой причине, но у меня вдруг началась рвота. Потом стало лучше. На ночь снова чего-то поели у приютивших нас хозяев и легли спать.



17 октября 1941 г.

Утром поднялись и пошли дальше. Шли очень долго до следующего села — Ново-Колодезного, затем было село Бузовое (на карте я его впоследствии не нашел). Невероятно растер ноги. Ночевали в хатах, я спал на печи.

18 октября 1941 г.

За этот день прошли село Каменку, хутор Лиман, село Николаевку. К грязи прибавился мел — хоть и белая, но та же грязь. В Николаевке ночевать не пришлось, направились в село Осоковку. Крестьяне там накормили нас курятиной и свиной. Спали на полу, на соломе. В блокноте есть непонятная запись: «З.Бор» и имя «Игорь Баначич». Кто это, я теперь не помню.

19 октября 1941 г.

Утром пошли дальше до села Ильинка. Ноги уже не так сильно болели. В Ильинке попала замечательная хозяйка. Мы ей накололи дров, она покормила борщом, варениками, напоила молоком и чаем. Двое из нас спали на кровати, а я на лавке.

20 октября 1941 г.

Утром поднялись. Дежурным у нас был Шурик (кто это, теперь не вспомню). Шли через поле. Опять сильно болели ноги. Записано в блокноте, что ко мне придирался некто Кудряшов, но кто это и другие подробности я уже не помню. Прошли село Юрковку, которого на карте я потом не нашел, а заночевали в селе Аношкино. После Ильинки началась Ворошиловоградская (теперь Луганская) область. Хозяйка попала скупая. Произошел какой-то «случай с хлебом» и (связанный с ним или нет?) спор Шаверова (помню, что его звали как Суворова — Александром Васильевичем) с Игорем (видимо, упомянутый выше Баначич). Тем не менее, ночевали на кровати.

21 октября 1941 г.

С утра вышли и, пройдя 12 километров, добрались до Троицкого. Там нашу команду обстрелял немецкий самолет, но жертв не было. В Троицком пообедали, и нас направили работать на железнодорожную станцию — перелопачивать пшеницу. Вечером поужинали и отправились спать.

22 октября 1941 г.

После завтрака с утра снова пошли на станцию перелопачивать пшеницу. Видимо, за работу платили, так как в блокноте далее скупые записи: «Работа. Деньги. Обед. Работа. Ужин. Сон». Спать было очень холодно, ночевали прямо на станции.

23 октября 1941 г.

День похож на предыдущий. Выдвигали какие-то требования к директору пункта «Заготзерно». В этот день я потерял свой перочинный нож, взятый из дому, что сильно испортило мне настроение. Спали уже на матрасах.

24 октября 1941 г.

Видимо, нашу команду нужно было довести до этого пункта. В Троицком местный военкомат отобрал лиц 1923 года рождения, которые оказались среди нас, для призыва в действующую армию. Лица 1924 года рождения по нелепому распоряжению не призывались, и мы были предоставлены сами себе. Через станцию шли поезда, как на восток, так и на запад, и оставшиеся ребята стали разбегаться.

25 октября 1941 г.

В этот день мои товарищи Шурик и Баначич решили вернуться в Харьков и уехали на одном из товарных составов. Догадываясь, что Харьков уже занят немцами (на самом деле так и было), я не решился на этот шаг, и остался один, без друзей. С оставшимися ребятами мы пошли в военкомат, но там призывать нас не захотели, и мы снова вернулись на территорию пункта «Заготзерно». Этот пункт располагался в колхозе имени Чапаева (может и другое название — в блокноте после этого слова стоит вопросительный знак). Разместили нас по частным квартирам. Мне попаласть отличная хозяйка, накормившая нас «до отвала». Я купил у некоего Кузьмина (или Кузьмы?) за два рубля столовый нож взамен утерянного.

26 октября 1941 г.

Утром снова отправились в военкомат, узнали, что ребят 1923 года рождения уже отправили в армию, и что некоторым ребятам 1924 года рождения удалось каким-то образом подделать в бумагах сопровождающего свой год рождения, и они тоже были отправлены в армию.

Нас осталось 13 человек, тогда как из Харькова была отправлена команда в несколько сот допризывников — почти все разбежались. Нас снова отправили в колхоз Чкалова (или Чапаева?). Свой утерянный нож я обнаружил у некоего Кольки, но он мне его не отдал. Купленный мною столовый нож я обменял у хозяйки на складной с двумя лезвиями. Спали вдвоем с товарищем на соломе. В блокноте далее записано слово «Штивельбанд». Что это или кто это, я не помню.

27 октября 1941 г.

Выйдя утром на улицу, увидел некоего Саенко, который гулял по колее железной дороги. Далее подошли еще двое,

и мы пошли в военкомат. По дороге нас догнали еще четверо ребят, а потом в военкомат пришли и остальные. Нас всех собрали и отправили на работу в колхоз села Цыгановка, которого я впоследствии на карте не обнаружил. В колхозе нам выдали муку и мясо для хозяев, у которых мы располагаемся. Трое из нас попали к приличным хозяевам, мы поужинали у них, затем легли спать на соломе.

Я записал, что во сне видел свою кровь. По приметам, которые я слышал в детстве, это знаменует встречу с родственниками. Конечно, это придало мне силы и надежды, хотя в такую возможность я не очень верил. Как оказалось, случилось это только весной 1944 года, почти через два с половиной года.

28 октября 1941 г.

Цитирую запись за этот день: «Утром позавтракал у Петра Федотова (кто это?), потом с ним мотались по селу, выписали продукты и поселились в яслях. Женщина, работавшая там, сварила картошку, мы поели и легли спать». Вероятно, Петр Федотов – кто-то из моих товарищей.

29 октября 1941 г.

Сегодня я чистил картошку, Коновалов – за повара. Наелись и легли отдохнуть. Пел песни, аккомпанируя на гитаре, которую вчера купили хлопцы. Вечером поели галушек и легли спать.

30 октября 1941 г.

Утром принесли повестку в военкомат. Приготовили еду и пошли в сельсовет, там нас переписали и отправили в путь. Шли, пока не стемнело, заночевали в селе Цыгановка. Оказывается, нас просто собрали в команду, вовсе не собираясь призывать в армию, а чтобы организованно выводить дальше на восток, как это было в Харькове.

31 октября 1941 г.

Сегодня нас собрали в клубе и объявили нам маршрут: Распасеевка – Ольшана – Овчаренково – Лозно-Александровка – Танюшовка – Белолуцк – Новопсков – Писаревка – Бондарев – Карояшник – Брусовка – Ливиновка – город Беловодск. Это все Ворошиловоградская область.

Мы вышли и очень долго шли до Ольшаны. Хозяин, у которого мы остановились на ночлег, был неплохой человек, нас всех троих накормили, и мы легли спать.

1 ноября 1941 г.

Утром поднялись и пошли прямо через поле. Прошли Овчаренково и к вечеру были уже в Лозно-Александровке. Хозяин попался, видимо, очень богатый, но до крайности

скупой. Поставил нам на всех троих маленькую тарелку меда и, чтобы добро не пропадало, сам его с нами ел. Меда было так мало, что мы быстро с ним расправились и, почти не евши, легли спать.

2 ноября 1941 г.

Утром хозяин так нас и не покормил, мы поднялись и, голодные, отправились в Белолуцк, до которого было около 30 километров. Утром мы лишь доели имевшийся у нас хлеб, по дороге нашли по кочану кукурузы и съели ее сырой. Вечером Шаверов пошел с командиром нашей команды в военкомат за хлебом, а мы с неким Андреем зашли в хату, которую наметили для ночлега. Андрей повел лошадь (чью — уже не помню, то ли ту, что была при нашей команде, то ли хозяйскую, из памяти это уже изгладилось) в конюшню, а я остался ждать его и Шаверова. Как оказалось, хлеба Шаверов с командиром не достали, мы все поели холодную вареную картошку и легли спать.

3 ноября 1941 г.

Утром командир не дал нам позавтракать и опять повел за хлебом в военкомат. Нам дали пять буханок на пятнадцать человек, и мы вдвоем (с кем, я не записал) стали догонять команду по сокращенной дороге в Новопсков. Там мы команду догнали, раздали хлеб, и семеро из нас пошли за новой порцией. Далее записано: «Пекарня. Хороший дровосек». Видимо, дровосек нам чем-то помог. Ночью мы пришли в Писаревку, поужинали у хозяйки и легли спать.

4 ноября 1941 г.

Из Писаревки направились в Карайошник. Командир уехал вперед, мы пошли пешком. В Карайошнике долго подыскивали место для ночлега — впервые жители не хотели пускать в дома. В конце концов кто-то сжалился, пустил, дал поужинать, и мы легли спать в коморе на ссыпанной на зиму ржи.

5 ноября 1941 г.

Утром, не позавтракав, так как никто нам не предлагал, пошли в Литвиновку, пройдя село Брусовку, где нас угостили сотовым медом. В Литвиновке еле нашли очень бедную хату. Хотя до вечера было еще далеко, остались тут на ночь. Кормить нас, видимо, у хозяйки было нечем. Вся надежда на Беловодск, до которого еще пятнадцать километров.

6 ноября 1941 г.

Утром двинулись в дальнейший путь, ничего не поевши. Странно — та же Украина, но в Харьковской области хозяйки нас кормили вдоволь, и речи не было, чтобы не пустили ночевать. Здесь же, в Ворошиловоградской области, все

оказалось иначе.

В этот день ударил сильный мороз впервые за все время наших странствий. Дул сильный ветер, поэтому шли очень быстро, чтобы согреться, и, наконец, прибыли в Беловодск. Там нас разбили по отдельным командам. Я и Шаверов попали во второй взвод третьей роты 523-й команды. Молодежи сильно прибавилось за счет местных, которых чуть ли не в каждом крупном населенном пункте местные военкоматы присоединяли к нашей команде. Харьковских, как я уже упоминал, после Троицкого остались считанные единицы.

Вечером, не знаю, за какие заслуги, командир взвода назначил меня командиром отделения. В блокноте сохранился список допризывников моего отделения: Колосов Виктор Иванович, Колодецкий Иван Михайлович, Острый Петр Алексеевич, Котов Михаил Маркович, Дребенник Александр Платонович, Кондаков Алексей Иванович, Коваленко Николай Савельевич, Симак Петр Иванович, Таранов Тимофей Петрович, Ткаченко Архип (или Аркадий) Демидович, Коломиец Иван Карпович. Всего одиннадцать человек, двенадцатым был я — Долбня Виктор Тимофеевич.

Мы получили на отделение хлеб и сахар, разделили между ребятами. Легли спать в каком-то нежилом помещении на полу, застеленном сеном.

7 ноября 1941 г.

В этот день был праздник Октябрьской революции. Сейчас было не до него. Встали рано, получили по восьмушке хлеба и по таранке, позавтракали ими и вышли строиться. Когда отправились из Беловодска, пошел сильный дождь, который поливал нас на протяжении двадцати километров пути. Помимо того, шли по бездорожью буквально по колено в воде, в результате промокли, как говорится, до костей. Наконец, пришли в село Стрельцовка. Нам объявили, что завтра будем отдыхать, а 9 ноября должны быть на железнодорожной станции Чертково, где, вероятно, нам подадут поезд, и мы дальше уже поедem, а куда — неизвестно. В моем отделении оказалось всего шесть человек, остальные где-то отстали. С большим трудом поместил пять человек в одной из хат, а сам с Колосовым нашел другую. Еды нам не предложили, но у нас было свое питание, мы поужинали и легли спать.

8 ноября 1941 г.

Утром я отправился на поиски взводного командира. Узнал, что он получил на нас продукты, но куда делся — не знали ни ребята, ни их высший комсостав. Днем все же

Колосов где-то разыскал взводного и получил от него хлеб и мясо на отделение.

В блокноте за этот день вписаны две сводки Совинформбюро. Вероятно, я прочел их в какой-либо из виденных мною газет. Привожу эти устаревшие сводки:

«23 октября. Шли бои на всех фронтах, наиболее напряженные на Мало-Ярославском и Можайском направлениях».

«26 октября. Велись бои на всех фронтах и особо упорные на Можайском, Мало-Ярославском, Харьковском и Таганрогском направлениях. После упорных боев оставлен город Сталино (теперь Донецк)».

Не успели получить продукты, как поступил приказ двигаться дальше. Сырое мясо пришлось поменять в одной из столовых на пирожки. К вечеру прибыли в Ново-Стрельцовку. Я развел отделение по хатам, и мы легли спать.

9 ноября 1941 г.

Утром я с трудом собрал ребят своего отделения, и мы пошли в Чертково. Там получили хлеб. Места для ночлега на станции не оказалось, и мы пошли в ближайшую деревню. Хотели даже заночевать в скирде соломы, однако добрались до хутора Ягодного и там заночевали.

10 ноября 1941 г.

Весь этот день провели в Ягодном. С Шаверовым нашли новую квартиру. Вечером прибыли продукты для нашей команды.

11 ноября 1941 г.

Утром я передал управление отделением Дребеннику и пошел за хлебом. Наша квартира вдруг понравилась политруку, и он выставил нас из нее. Нам пришлось подыскать пристанище на другом конце хутора. Однако командир провел перегруппировку, и меня опять чуть было не поселили в конторе колхоза. К счастью, встретил Колосова, он жил один у своей хозяйки, и я присоединился к нему. Хозяйка оказалась очень хорошей. Она сварила наше мясо, мы поужинали и легли спать. В блокноте сделана запись, что в этот день над хутором летал немецкий самолет, но, видимо, без особых последствий.

12 ноября 1941 г.

Прошел месяц со дня ухода из Харькова. За это время прошел, казалось, огромный отрезок жизни, так много случилось всего. Мы прошли всю восточную часть Украины и находились уже фактически в Ростовской области.

Весь день провели в хате, ходили, правда, за добавочной порцией хлеба, но уже вечером.

13 ноября 1941 г.

Этот день полностью провели в хуторе. Не знаю, но по какой-то причине умер командир 2-й роты (наша рота — 3-я), а командир взвода этой роты был увезен в больницу. Может быть, чем-то отравились.

14 ноября 1941 г.

Краткая запись в блокноте: «День похож на предыдущий». Конечно, не имелось в виду, что опять кто-то умер, просто мы провели его в ожидании и безделье.

15 ноября 1941 г.

Посетили контору, где располагалось наше руководство. Никаких перемен нет. Нам очень нравятся наши хозяева. Я записал их имена: Лазуренко Николай Иванович, сыновья Дмитрий и Михаил, дочь Татьяна. Есть приписка: «Думаю заглянуть к ним после войны, если представится возможность». Теперь меня поражает эта наивность. С одной стороны, во время войны пришлось побывать в сотнях хат, и посетить все их просто было бы невыносимо. С другой стороны, и Лазуренко перевидал столько народа, что вряд ли всех потом помнил и меньше всего желал бы встречаться с каждым из своих мимолетных постояльцев. Кроме того, никто из нас не предполагал, что война затянется на долгих четыре года.

16 ноября 1941 г.

Снова весь день провели в хате. Видели своего командира роты, он сказал, что по поводу нашего отъезда никакого решения еще не принято. Вечером посетили других ребят, проживавших в домиках по соседству, затем легли спать. Около 8–9 часов вечера слышали сквозь сон, как по дороге шла большая масса людей.

17 ноября 1941 г.

Утром оказалось, что это ушла грузиться в эшелон наша команда. Никто не спохватился, что нас нет, видимо, о нас просто забыли. Мы с Колосовым бросились на станцию, но эшелон, конечно, давно ушел. Нам посоветовали идти до станции Шептуново, через которую проходят товарные составы, и ехать на одном из них до Миллерово, куда, по словам работников станции, ушел наш эшелон. Мы так и сделали — вскочили на тормозную площадку товарной платформы какого-то состава и уехали в Миллерово. Стал выяснять, куда же нам ехать дальше. Оказалось, что ни одна команда из Миллерово никуда не отправлялась. Мы стали разыскивать свою 523-ю команду, но не нашли ее. Обратились к каким-то офицерам, они отправили нас в свой штаб, где нас и записали в 509-ю команду, 5-й взвод 1-й роты.

Повестки, которые у нас были в качестве единственных документов, работники штаба оставили у себя. Объяснили, что команда отправляется эшелоном в Сталинград. Ночевать нас определили в Миллеровскую казарму, где все мы расположились на нарах.

18 ноября 1941 г.

Спал я в казарме плохо. Утром доел хлеб с маслом. В этот день нам дважды давали так называемый «суп» – по кружке мутной теплой жидкости. В качестве сухого пайка выдали по 700 граммов хлеба и по два крупных куска сахара-рафинада.

19 ноября 1941 г.

Это утро мало отличалось от предыдущего. Спал отвратительно. Окно было разбито, чувствовал я себя, как (если судить по историческим романам) заключенный в Петропавловском каземате – стены с каплями воды на них и холод, пронизывающий до костей. Находимся на том же голодном пайке, что и вчера.

20 ноября 1941 г.

День был такой же безрадостный. Наконец вечером объявили отъезд. Погрузились битком в общие железнодорожные вагоны и поехали. За всю ночь удалось всего несколько раз задремать ненадолго.

21 ноября 1941 г.

Мало того, что вчера ничего не было во рту, так и сегодня никаких продуктов не давали. Все время в вагоне. Состав либо едет, либо стоит в чистом поле вдали от каких-либо населенных пунктов. Больше стоим, пропускавая эшелоны, как на запад, так и на восток.

22 ноября 1941 г.

Краткая запись: «Весь день в поезде».

23 ноября 1941 г.

Запись еще короче: «То же».

24 ноября 1941 г.

Хватило сил написать, что нам не дают есть уже пятый день. Давно уже съедены, еще в Миллерово, все сухари, что брал из дому и берег на черный день. В вещмешке оказалась горсть гороха (где-то давали сухим пайком). Возникла мысль сварить из него густую гороховую кашу. Но где и как? Стоим в основном в голой заснеженной степи, да и посуды для варки нет. Впервые пришло в голову, что могу умереть от голода.

Кто-то сказал, что до Сталинграда осталось около ста километров, но мы очень медленно едем, около часа-двух в сутки. Остальное время стоим.



25 ноября 1941 г.

Сегодня шестой день без еды. Горох пожевал сухим, это мало чем помогло. На одной из станций в наш вагон подсел солдат. Я спросил у него, сколько может человек прожить без еды. Он ответил, что десять суток.

Уже давно появилась еще одна беда. До поезда она не очень беспокоила, а сейчас буквально сводит с ума. Нас заели вши. Они расплодились в нашей одежде в огромном количестве. От расчесов тело — сплошная рана. Нельзя ни уснуть, ни забыться.

26 ноября 1941 г.

Наконец сегодня прибыли в Сталинград. Нас сразу же решили накормить и отобрали несколько человек, чтобы принести продукты. В это число попал и я. За вагоном мороз был около 40 градусов ниже нуля, спасибо, не было ветра. Я в ботиночках с дырявыми галошами, без рукавиц или перчаток. Я и не подумал о них, когда уходил в октябре из Харькова. А на голове — летняя кепочка. Хорошо еще, что на куртке был меховой воротник. В этот воротник я и пытался спрятать уши, которые сразу же начали мерзнуть.

Когда мы строились для похода за продуктами, я увидел между рельсов луковицу. Она была замерзшая, как камень. Это был седьмой день, как у меня ничего не было во рту, кроме горсти сухого гороха. Я схватил ее и начал разгрызать. Съел я ее мгновенно. Лишь когда возвратились с продуктами в вагон, у меня начались сильные рези в животе. Я думал, что тут и кончусь, но нас опять подняли и повели в город, чтобы устроить на ночлег. Этот стресс, конечно, затмил мое недомогание. Может, мне плохо было и не от луковицы, а от того, что я после длительного голода сразу же съел выделенные нам хлеб и колбасу. Дали нам очень малые порции, так что голода мы почти не утолили.

При получении продуктов со мной произошло серьезное несчастье. Нам выдавали сахар-рафинад, колбасу и хлеб. Сахар и колбасу несли в мешках, а хлеб давали без тары. Мне предложили подставить руки и сложили на них десять буханок-кирпичиков хлеба. Пока я добежал до вагона, я рук не чувствовал совершенно. Концы пальцев, средние суставы и суставы на кисти были белыми, как мел. По совету товарищей, я начал оттирать их снегом. Я тер очень долго, появилась невыносимая боль. Забегая вперед, скажу, что на протяжении недели я ничего не мог руками делать. Товарищи помогали мне зашнуровывать ботинки и застегивать пуговицы на брюках и куртке. И, спустя много лет, двадцать или двадцать пять, при сильных морозах

пальцы рук мерзли даже в меховых рукавицах. Да и сейчас, по прошествии пятидесяти четырех лет, мои руки все еще очень чувствительны к морозу.

Итак, вечером нас повели искать ночлег. То ли относительно нас не было никаких указаний, то ли руководители не знали точно, куда нас вести, но мы ходили от одного здания к другому разными улицами. Нас нигде не принимали. Среди ребят зрело недовольство, и уже раздавались обозленные выкрики по адресу нашего комсостава. Наконец, среди ночи нас разместили в помещении какой-то школы. Объявили, что призовут лишь 23-й год, а тех, что моложе, отправят куда-то на работы.

27 ноября 1941 г.

День провели в школе. Вечером нас покормили обедом, а около часа ночи повели в баню. Дали по кусочку мыла, все вещи, кроме обуви, приказали связать и сдать на санобработку. Веревки у меня не было, и я использовал для этой цели кожаный поясной ремень. Конечно, я не знал и никто меня об этом не предупредил, что кожа от высокой — несколько сот градусов — температуры превращается в хрупкий и ломкий материал. Нам выдали номерки и отправили мыться. После купания по этим номеркам всем выдавали продезинфицированную одежду. Моей связки на месте не оказалось. Я остался, в чем мать родила, кроме ботинок с галошами на ногах. Кроме меня было еще несколько таких неудачников. Долго мы добивались, где наши вещи. Наконец работники бани пояснили, что связка могла разорваться и вещи рассыпаться по полу. Они впустили нас в камеру, температура в которой уже спала до безопасного уровня. Я стал искать среди массы разбросанных по полу вещей свою одежду. Постепенно я практически все подобрал. Оказалось, что от высокой температуры кожаный ремень действительно раскрошился и лопнул. Пострадал также меховой воротник куртки — он просто осыпался с подкладки. Зато с вшами было полностью покончено. Вернулись мы из бани около шести часов утра, легли спать...

28 ноября 1941 г.

...и проспали до полудня. Впервые за последнюю неделю или полторы я спал спокойно, меня ничего не кусало и нигде ничего не чесалось. Вечером нас опять повели в столовую, затем дали продукты (хлеб, сахар) и отправили на ночлег.

29 ноября 1941 г.

Сегодня перевели в новое помещение на другом конце города, тоже в здание какой-то школы, и выдали продукты. Всех ребят старшего возраста тут же призвали в армию, а

мы снова остались.

30 ноября 1941 г.

В этот день нас в столовую не водили, питались теми запасами, которые у нас образовались от выдачи сухих пайков. Кое-что можно было покупать за деньги, которых у меня было не очень много. Питание в столовой и те крохи, которые давали нам сухим пайком, конечно, не могли пополнить наши силы, тем более (по крайней мере, у меня) после недельной голодовки в дороге.

1 декабря 1941 г.

Снова нас не кормили и не давали продуктов. Питаться можно только за свой счет, и пока есть деньги, можно продержаться.

Вечером показывали какой-то кинофильм, и уже перед сном кое-какой паек раздали.

2 декабря 1941 г.

Нам объявили, что больше продуктов давать не будут, а будут дважды в день водить в столовую. Хлеба нам явно не хватает. Думаю попросить Посохова (кто это — не помню, но он имел какое-то отношение к распределению продуктов) заменить полагающуюся мне пачку махорки буханкой хлеба, так как я не курил. Руки мои почти отошли от обморожения, по крайней мере, не так болят, как прежде. Вечером развлекались тем, что играли с Посоховым в «морской бой». Перед сном нас накормили ужином.

3 декабря 1941 г.

Этот день прошел благополучно. Нам выдали распорядок дня. Дело с хлебом относительно налаживается. Решили с Посоховым попросить у комиссара разрешения пользоваться школьной библиотекой. Кормят неплохо — два раза в день дают первое и второе блюда, пища горячая и питательная. Кроме того, можно купить тот же хлеб и консервы или колбасу за свои деньги. Правда, деньги мне хотелось приберечь на неизвестное будущее.

4 декабря 1941 г.

Сегодня взял последнюю добавочную порцию хлеба и колбасы. Ни на каких работах нас еще не используют. В столовой питаемся регулярно.

5 декабря 1941 г.

Наконец, нашу просьбу удовлетворили — дали на батальон 50 книг из библиотеки под мою ответственность. Сам я пока ничего еще не читал.

6 декабря 1941 г.

Сегодня у каждого из нас проверили состояние обуви, предполагаем, что будут куда-то направлять на работу. На

дворе стоит жуткий холод. Днем часть ребят уехали, в том числе и Посохов с Колосовым. Меня не взяли из-за головного убора — кепки. Стало очень тоскливо. Чувствуется отсутствие друзей, оставшиеся ребята мне не нравятся, и я, по сути, одинок с момента ухода из Харькова.

Начал читать «Маугли» Киплингa.

7 декабря 1941 г.

Я настолько одинок, что утром даже всплакнул, вспомнив, как уезжал из дому, оставив мать одну. К тому же донимает собачий холод. Несмотря на то, что в помещении всю топится печь, холодно, так как за окном около 40 градусов ниже нуля. К вечеру, правда, помещение несколько прогрелось. На питание нам выдают талоны.

Закончил читать «Маугли» и приступил к «Воскресенью» Толстого. Ночью возвратились ребята. Посохов почему-то остался там.

8 декабря 1941 г.

Сегодня мороз уменьшился, день прошел благополучно. У одного из ребят по фамилии Панин купил за 5 рублей книгу «Робинзон Крузо» на украинском языке. Книга привлекла меня тем, что ее общеизвестный вариант занимал не более трети объема этого издания. Далее Дефо описывает путешествия Робинзона по разным странам, в том числе по Китаю и России. О художественной ценности этих разделов ниже, но интересно, как автор представлял себе другие страны, в том числе Россию. До этого я даже не подозревал, что «Робинзон Крузо» имеет такое продолжение. Впрочем, и сейчас, спустя 54 года, я ни разу не встречал этого полного варианта книги.

Уже сейчас я удивляюсь своей тяге к книгам (которая, впрочем, всегда у меня была), даже полуголодный, я тратил деньги на редкую вещь. Судя по записи, у меня к этому времени оставался определенный «запас» денег, точнее – 150 рублей. По тем временам, это были немалые деньги, но я их берег на черный день. Кроме этого «неприкосновенного» запаса у меня оставалось всего 10 рублей.

9 декабря 1941 г.

Утро предвещало теплый день. Больше в этот день ничего не записывал.

10 декабря 1941 г.

За эти два дня несколько потеплело. Это придает бодрость. Утешаюсь тем, что уже прошло целых десять дней зимы. Сегодня удалось получить две порции супа за 1 рубль, осталось 9 рублей. Объявили, что завтра или послезавтра отправят на работы в колхозы Сталинградской области.

Неизвестно, как мы будем себя там чувствовать.

11 декабря 1941 г.

Большая часть ребят уехали в какой-то совхоз, с ними и Колосов. Опять я остался без друзей. Нас, оставшихся, перевели на второй этаж школы.

12 декабря 1941 г.

Уже ровно два месяца, как я из дому. Кажется, прошла вечность, и моя харьковская жизнь была давно, много-много лет назад. Появилась и радость — в нашу команду перевели Шаверова, с которым я уже давно расстался. К тому же и на дворе тепло. Сегодня сильно болел живот. Но этим я всегда страдал и дома, так что особой тревоги у меня это не вызвало. Пообещали числа 20-го отправить в колхозы и оставшихся.

13 декабря 1941 г.

Сегодня на дворе оттепель, снег тает. Ходили в баню, вечером подстригся.

### 3. ХУТОР МОКРОВ

14 декабря 1941 г.

Ночью, под самое утро, нас подняли, погрузили в вагоны и повезли до какой-то станции, где мы пересели в другие вагоны и уехали из Сталинграда. Куда, нам не сказали.

15 декабря 1941 г.

Выяснилось, что едем на север в направлении Борисоглебска и будем выгружаться на станции Себряково (г. Михайловка). Так и произошло. К вечеру мы уже расположились в помещении кинотеатра станции. Вероятно, здесь заночуем, ждем обещанных продуктов. Говорят, что отсюда нужно добираться до места назначения около 20 км.

16 декабря 1941 г.

Утром продукты еще не получили и никуда не пошли. Продукты дали только днем, и теперь мы ждем транспорт, который должен прибыть за нами из колхоза. Заночевали в том же кинотеатре (его название «Вратарь»).

17 декабря 1941 г.

Все ждем отправки по колхозам.

18 декабря 1941 г.

Вчера отобрали 15 человек для отправки в колхоз имени Стаханова, в том числе и меня, но что-то сорвалось, и мы никуда не поехали.

19 декабря 1941 г.

Вчера днем за нами, наконец, прислали транспорт — сани, запряженные волами. Сопровождение — женщины в тулупах и валенках. Мы двинулись в путь. Конечно, на санях ехали

только женщины да наши вещи, нам же усидеть в них при таком морозе было невозможно. Моментально коченели ноги и все тело. Волы шли вразвалочку, дай Бог, чтобы 4 км в час, поэтому мы быстрым ходом уходили вперед, затем так же быстро двигались назад, чтобы хоть как-то согреться. Женщины сказали, что едем мы в колхоз им. Чапаева, расположенный в небольшом хуторке Мокрове, примерно в 45 километрах от Михайловки.

Прибыли мы к месту за полночь, уставшие до крайности – все время бегали вдоль дороги, чтобы согреться. На нашем пути встретились хутор Левин, станицы Скурошевская и Глазуновская. Было уже около двух часов ночи, когда нас развели по хатам. Моими хозяевами оказались старик со старухой, встретили меня приветливо (меня к ним поселили одного), поговорили кое о чем, постелили соломы на полу хаты и уложили спать. Засыпая, я думал, что же я буду делать в этом колхозе. Никаких навыков деревенской работы у меня, городского жителя, нет. Могу лишь колоть дрова, что обычно делал дома. Правда, чуть-чуть после начала войны проработал у отца на заводе счетоводом. Но нужен ли тут счетовод? Наверное, своих хватает.

Утром, уже поздно, я проснулся и еще лежал с закрытыми глазами, как в хату к хозяевам зашел другой старик. Поинтересовался у хозяина, откуда мы приехали. Мой хозяин ответил, что с Украины. Видимо, у донских казаков было представление, что мы какие-то иностранцы, так как последний спросил:

- А по нашему они гутарят? - (то есть, разговариваем ли мы на их языке), на что хозяин ответил:

- Да, хорошо гутарят.

20 декабря 1941 г.

Вчера вечером ко мне зашел один из наших ребят – Шурик Лавров. Мы хорошо провели вечер. Хозяева были очень приветливыми.

Пока на работы нас не определили.

21 декабря 1941 г.

Сегодня нас определили на подсобные работы, не требующие особых навыков и ума. Таких работ в колхозе много. Вчера, например, лопатили просо в амбаре, а сегодня чистили хлев. Это своеобразная работа. Дело в том, что хлева для скота у них неутепленные. Внутри мороз такой же, как и снаружи. Стены из плетня, ничем не обмазанные, через них насквозь все видно, поэтому и тепло не держится. Помет скота, как только падает на пол, тут же замерзает и по прочности не уступает камню. За ночь его набирается много,

днем же нужно все это убрать. Для этого помет сбивают железными ломками. Когда лом ударяет в грудку помета, создается впечатление, что из него высекаются искры, настолько он мерзлый. После того, как все кочки из помета сбиты, его сгребают лопатами за двери, а потом вывозят за колхозный двор и складывают до лета на удобрение. Летом, кроме того, из него делают брикеты примерно 20х20х10см, высушивают и используют в качестве топлива в печах, называется такой брикет «кизейка».

Естественно, что по такому морозу без рукавиц много не поработаешь. Руки примерзают к лому, тем более — они у меня были сильно обморожены. Хозяйка, узнав о моем несчастье, пообещала дать мне рукавицы. Вчера она постирала мое белье, так что есть возможность сменить.

Пора познакомить читателей с моими хозяевами. Старика зовут Яков Афанасьевич Селиверстов, типичный старый донской казак, о каких писал Шолохов. Кстати, хуторяне о Шолохове много знают, сказали, что недалеко от них находится станица Вешенская, откуда он родом. Хозяйку зовут, как у Гоголя, Хаврония Никифоровна. Больше никого у них нет, дети живут где-то в другом селе. Они со мной о многом разговаривают. Из разговоров я понял, что они считают донское казачество высшей расой, все остальные — кацапы или хохлы — это менее развитый народ. У них своеобразный донской диалект, но именно его они считают самым правильным русским языком. К некоторым словам я привыкаю, хотя они несколько необычны: «надьсь», «утирка» и т. д. А есть и вообще удивительные особенности. Например, местоимения «этот» и «энтот» — разные слова. «Этот» — это действительно «этот», а вот «энтот» означает «тот». Например «на энтот берегу» значит «на том берегу». «Вчера» по ихнему «надьсь», а «позавчера» — «энтот день».

После того, как я пожил среди казаков несколько месяцев, у меня возникла идея составить небольшой словарь сильно отличающихся слов, но так и не было времени за это взяться.

Что еще поразило — свободное употребление нецензурных слов. Это у них обычное явление в разговоре даже между мужчинами и женщинами. Как потом выяснилось, даже дома при детях эти выражения не считаются плохими. Нельзя только «материться», то есть употреблять нецензурщину со словом «мать» — это считается неприличным.

24 декабря 1941 г.

Впервые я перестал делать ежедневные записи. Дело в том, что я исписал уже половину блокнота — 12 листов из 22-х, а

другого у меня нет. Поэтому решил записывать только главное. Сегодня, например, я сильно расстроился. У меня создалось впечатление, что мои старики недовольны тем, что я сижу на их шее нахлебником. Хутор, надо сказать, на удивление бедный, живут все не ахти как. Кроме того, мои хозяева уже в летах, а помощник из меня никудышний. Колхоз, видимо, мало помогает хозяевам продуктами, чтобы покрыть мое питание. Я их прекрасно понимаю, но настроение отвратительное, тем более, что ничем не могу оправдать свое пребывание у них, кроме, как войной. Но от этого ни мне, ни им не легче. Даже привезти дров из лесу не могу, так как правление не дает саней — каждая пара волов на счету, а лошадей берегут для поставки фронту. Искренне хочу чем-либо помочь хозяевам, но нечем.

У меня был единственный, еще из дому, коробок спичек. В хуторе о спичках давно забыли, пользуются кресалом. Я подарил спички Якову Афанасьевичу (он заядлый курильщик), но их ему хватило на два вечера. По-моему, он и не оценил моего подарка.

28 декабря 1941 г.

Попросил в конторе колхоза листик бумаги и послал письмо брату Владимиру (адрес я записал в блокнот еще дома, о чем уже упоминал).

Сегодня нас посылали на волах в поле за сеном. Постепенно знакомлюсь с хутором. В нем около 40 дворов. Живут только старики, дети да женщины. Все мужчины — кроме инвалидов — на фронте. Поэтому нас на работы сопровождают женщины. Из мужчин оставлены по броне только председатель колхоза, заведующий фермой, заведующий конефермой и механизатор.

Днями нас водили к врачу на комиссию.

Мнение о хозяевах опять изменилось к лучшему, по крайней мере, я записал в блокноте, что они — прекрасные люди.

7 января 1942 г.

Неделю назад наступил Новый год. Событие это прошло буднично и незаметно. Никто нигде его не отмечал, по крайней мере, нигде об этом не было никаких разговоров. Остро почувствовалось одиночество, в памяти всплыли строчки стихотворения С.Я. Надсона:

Я встретил Новый год один... Передо мною  
Не искрился бокал сверкающий вином,  
Лишь думы прежние с знакомой мне тоскою,  
Как старые друзья, без зова, всей семьею  
Нахлынули ко мне с злорадным торжеством...



Характерно, что в хуторе ничего не слышно о спиртных напитках. Конечно, жители оторваны от крупных населенных пунктов. Ближайший в трех-четырех километрах — Чиганаки Первые, за ними — Чиганаки Вторые. В Первых находится наш сельский совет. Это к западу от Мокрова. На востоке, в сторону станции Себряково, на которой мы высадились, в семи километрах от нас расположена станция Глазуновская. В 18-ти километрах к северо-западу — наш районный центр — станица Кумылженская. Станица Вешенская, родина Шолохова — в 90 км к западу, город Михайловка, откуда мы приехали в хутор, — в 45 км к востоку.

Наш хутор расположен километрах в пяти от реки Медведица, которая впадает в Дон. В этом месте находится город Серафимович, который хуторские казаки продолжают называть по-старому — Усть-Медведицей. До него около 20 км. Так, что магазины далековато, да, может, в них и нет ничего в связи с войной. Что касается самогонварения, то и разговора об этом никогда не было. Все время нашего пребывания в хуторе до августа этого года я ни разу не видел выпивок и не слышал о них.

Отношения с хозяевами обострились. Поскольку правление колхоза дает продукты на меня в мизерном количестве, Якову Афанасьевичу пришла в голову идея кормить меня только тем, что мне выписывают и готовить мне отдельно. Может быть, он и прав — с какой стати ему кормить чужого человека, тем более даже не казака. Он даже цинично делился собственным опытом из времен первой мировой войны: если сильно будет хотеться есть, нужно взять в рот щепочку и жевать ее, этим, по его мнению, можно обмануть голод.

Работаю в колхозе на молочной ферме по очистке хлева от коровьего помета. Спасибо все же Якову Афанасьевичу за то, что он дал мне свою старую шапку-буденновку времен гражданской войны. Без нее в одной кепочке я наверняка отморозил бы себе уши.

8 января 1942 г.

Сегодня особенно резко проявилось недовольство хозяев тем, что я не добьюсь приобретения дров для отопления избы. Пришлось опять идти и долго уговаривать председателя колхоза. Он, наконец, сжалился, дал сани с быками, и я съездил в сельсовет в Чиганаки Первые, откуда привез немного дров.

9 января 1942 г.

Еще раз выхлопотал сани для дров. На этот раз поехал с

хозяином. Всю дорогу он выражал недовольство мною, упрекая, что я ничего не умею делать как следует.

10 января 1942 г.

Утром я проснулся, но продолжал лежать молча и услышал разговор хозяев обо мне. Яков Афанасьевич (кстати, его уличное прозвище «Сокол») говорил Хавронье Никифоровне:

- Наш Виталий, — весь хутор почему-то называл меня «Виталием», а не Виктором, — работать не будет. Он котыха не собьет.

Видимо, Яков Афанасьевич пришел к такому выводу о моих физических способностях после совместной поездки за дровами. Естественно, при сильном морозе в лесу ему в тулупе, валенках и меховых рукавицах работать было гораздо спокойнее, чем мне в ботиночках, матерчатой буденновке и короткой курточке без воротника.

На ферме я пока еще работаю, но может и в самом деле меня оттуда попросят, так как я не успеваю утром до рассвета являться на работу. Во многом это зависит от хозяев, я не могу подняться и собраться, пока они спят. Но это никого, конечно, не интересует.

Забегая вперед, скажу, что Сокол во мне ошибся. К моменту призыва в армию в августе этого года я не уступал в самых тяжелых работах никому как среди местных жителей, так и среди своих товарищей.

13 января 1942 г.

Вчера исполнилось всего три месяца моего ухода из Харькова, а событий произошло столько, что жизнь в Харькове представляется настолько далекой, вроде бы она происходила в прошлом веке.

На ферме я уже не работаю, посылают на разовые работы. Вчера, например, ездил с колхозницами в поле за люцерной. На зиму ее не успели собрать в скирды, она осталась в валках под глубоким снегом. Приходилось по едва заметному снежному бугорку определять, где лежит валок, и выкапывать его из под мерзлого снега. Сегодня наряда на работу не было, поэтому занимался домашним хозяйством: очистил от снега дверь гумна и порубил на дрова одно из бревен.

15 января 1942 г.

В ночь под 14 января со мной произошло незабываемое приключение, я невольно проверил на практике описанное в «Занимательной геометрии» Перельмана свойство блуждающих в темноте людей бродить по кругу.

К вечеру всех ребят собрали и объяснили задание: нужно

ехать в сельсовет — Чиганаки Первые — и загрузить в сани картофель из кагат. Было холодновато, и мы стайкой побежали за санями. Саней было четверо или пятеро, быками управляли колхозницы, одетые, естественно, в тулупы и валенки. Когда приехали в Чиганаки Первые, нас повели к буртам — выкопанным в земле глубоким ямам, заполненным картофелем и закрытым сверху соломой, землей, и, конечно, снегом. Мы их раскопали и начали наполнять картофелем сани, устланные соломой. Сверху тоже накрыли соломой и рядом. Где-то к четверем часам ночи сани были нагружены. В ямах было тепло, и мы работали спокойно. Когда нагрузили, поехали домой. На дворе началась метель. Быки шли довольно медленно, поэтому мы бежали вокруг саней, чтобы не замерзнуть.

Я решил идти в Мокров самостоятельно, обогнал сани и пошел вдоль села в направлении Мокрова. Наконец, я добрался до конца Чиганак. Там был колхозный двор (по местному — баз), в сторожке светилось окошко. Метель мела навстречу, лицо, не прикрытое буденовкой, замерзло особенно, и я решил, прежде, чем покинуть село, зайти к сторожу погреться. У него было жарко натоплено, я немного посидел, не стал дожидаться саней с остальными ребятами, попрощался со сторожем, вышел на дорогу и направился по направлению к хутору. До него было около трех километров. Метель уже успела замести дорогу, но я ее еще различал. Затем следы дороги скрылись под наметенным снегом, к тому же ночь была темной. Я прошел более часа и уже должен был подойти к хутору, но вокруг не было никакого жилья, ни деревца.

Я прошагал еще некоторое время, дороги под собой давно уже не чувствовал и понял, что заблудился. Однако, я продолжал идти в ранее принятом направлении, утопая в снегу. Спасибо, что он от мороза был твердым, и я глубоко не проваливался.

Я уже стал отчаиваться, когда различил силуэты изб и деревьев. На наш хутор, однако, это похоже не было. Но я знал, что вокруг кроме Мокрова другого селения не было. До ближайшей станицы в этом направлении — Глазуновской — было более 10 километров, и такого расстояния пройти за это время я не мог. Постучаться в какую-либо хату среди ночи я не решился и шел вдоль улицы, пока не увидел впереди огонек. Я пошел на него, это светилось окошко. И вдруг я узнал это окно. Такой переплет с заклеенной полоской бумаги трещиной в стекле был в окне сторожки на базу в Чиганаках. И действительно, когда я, постучавшись,

вошел в дверь, я увидел того же сторожа, от которого я ушел полтора часа тому назад. Оказывается, выйдя за пределы села, я сделал по полю круг и вернулся к тому месту Чиганак, от которого я направился в сторону Мокрова. Сторож сказал, что наш обоз недавно проехал. Я бросился его догонять. Санний след смутно выделялся на снегу, метель еще не успела его замести. Я шел быстро, и, наконец, услышал возгласы «цоб, цоб, цабе!», которыми женщины подбадривали быков. Догнав сани, я уже не рисковал убежать вперед, холодно мне уже не было, я был весь мокрый от быстрой ходьбы. Так с обозом я и добрался до Мокрова где-то около пяти утра. Лег спать, как убитый, и проспал до полудня. Потом мне хуторяне говорили, что ночь на 14 января — это ночь под Новый год по старому стилю. Раз я эту ночь блуждал, то теперь буду блуждать весь год. Правда, к такому выводу можно было безошибочно прийти и без всяких примет — известно, что весной нас должны призвать в армию, а там — война. Чем не блуждания? Хотя, кое в чем примета подтвердилась еще при жизни в хуторе, я действительно блуждал из одной квартиры в другую, но об этом в свое время я расскажу.

Сегодня день солнечный и морозный.

17 января 1942 г.

Вчера хозяева окончательно отделили меня от общего стола. В колхозе выдали на 10 дней два килограмма пшеницы. Я уже беспокоюсь, хватит ли мне этого питания. Кроме того, дали еще немного мяса, которое я порубил на 10 кусков, по куску на каждый день. Из муки Хавронья Никифоровна испекла три хлеба и одну пышку (так называется лепешка толщиной в полтора пальца и величиной со сковороду). Хлеба должно хватить. На работу ввиду сильных морозов пока не приглашают.

22 января 1942 г.

Вчера был какой-то «случай с куском хлеба». Что это за случай, я уже не помню. Когда записывал, видимо, полагал, что это событие я никогда не забуду. Но вот прошло 53 года, и этот «случай» начисто выветрился из памяти. Дальше написано: «Ранее — газета». Что за газета? Скорее всего, какие-то придирки Сокола, чтобы усилить ко мне претензии. В колхозе прибавили по 200 граммов муки на день, должен сегодня получить на семь дней — с 25 по 31 января.

23 января 1942 г.

Сегодня, как и все дни на этой неделе, сильный мороз, более 40 градусов ниже нуля. Вчера, например, было минус 46 градусов. Тем не менее, хотя колхоз на работу и не

приглашал, трудился дома. Расколосил надвое двухметровое дубовое бревно и одну из половинок порубил на дрова. Отрыл также в снегу мелкий хворост, который хозяева используют как растопку в печи и называют «поджигки».

21 января, работая во дворе, отморозил подбородок — старая, изрядно потрепанная, тряпичная буденновка плохо защищает от мороза. Вчера дополнительно подморозил пальцы рук, которые и так не отошли еще от того обморожения, которое я перенес два месяца тому назад в Сталинграде. Ноги пока терпят потому, что, находясь на морозе, я все время в движении.

Через четыре дня будет месяц, как я отправил первое письмо брату, но ничего от него еще не получал. Правда, и времени прошло мало. Но я внутренне давно готов к тому, что уже никогда ничего не услышу о своих родных. Теперь я почти круглый сирота.

30 января 1942 г.

Сегодня ночью во сне видел свою мать. Когда проснулся, меня охватила глубокая тоска по дому. У меня наворачиваются слезы на глаза, когда представляю, что едва ли мне удастся когда-либо быть дома и видеть своих родных.

Один из наших ребят, Николай Черкасов, серьезно заболел, и его отвезли в больницу в райцентр.

С 24 января снова работаю на молочной ферме по очистке хлева. Питаюсь сносно, хотя нельзя сказать, что так же, как в первые дни.

11 февраля 1942 г.

Более десяти дней я ничего не записывал в блокнот ввиду неприятных для меня событий. Яков Афанасьевич настоял, чтобы я покинул их избу. Посоветовал идти к председателю колхоза (его зовут Иван Степанович Гордеев) и требовать смены квартиры. Пусть, мол, эта обуза равномерно распределяется между всеми. Всего я прожил у Сокола 46 дней — полтора месяца.

3 февраля председатель перевел меня в избу Марии Дмитриевны Кириличевой. У нее двое детей, один совсем маленький, старшему около восьми лет. Ее муж на фронте, воюет на Украине, что сразу же осложнило наши отношения: «Мой муж за вас кровь проливает, а я вас должна кормить!» Правда, она не отделяет меня в питании, да и отделять не было смысла — жила она еще беднее Селиверстовых. Как потом я выяснил, были в хуторе жители и побогаче, например, Боярсковы, Быкадоровы и другие, но председатель почему-то выбирал самых бедных.

В избе было очень холодно. Да это и неудивительно при

таких морозах. Даже старики говорили, что такой зимы — до 46 градусов мороза — они не помнят. Мария с детьми целыми днями сидела на печи, которую слегка подтапливала соломой.

Я добился выделения мне саней, 6 февраля на быках поехал в лес и привез дров. Хорошо, что не пришлось рубить деревья. Я наткнулся на заготовленные ранее и сложенные в штабеля готовые дубовые стволы длиной в полтора метра. Нужно их было только нагрузить на сани. Наверное, колхоз готовил их для своих нужд, и я счел справедливым ими воспользоваться. Но сама поездка на расстоянии более пяти километров в лес при неторопливом шаге быков по такому морозу удовольствие не доставляла.

Девятого февраля началась масленица, и с этого дня резко потеплело, хотя постоянно дует сильный ветер. Зато в избе стало тепло. Я постепенно рублю на дрова привезенные дубовые стволы. Этой работой в свое время я с удовольствием занимался дома, поэтому она меня не обременяла. На сегодня осталось еще 15 бревен. По моим расчетам, их должно хватить до марта, а может и надольше. Хоть этим я принес некоторое облегчение хозяйке.

Старший ее мальчик любит слушать сказки, я ему порассказывал все, что знал, кое-что придумывал и сам. В доме оказался небольшой томик Пушкина, и я долгими вечерами читал ему «Руслана и Людмилу» и другие имевшиеся в этом томике сказки и стихи.

С сегодняшнего дня я опять на ферме не работаю.

Завтра исполняется 4 месяца, как я ушел из дому, каждый раз эта дата навеивает на меня грустные мысли. К тому же прошел слух, что ребят из Ворошиловградской области (соседней с Харьковской) возвращают домой. Как будто наступление немцев приостановлено, хотя Харьков ими еще занят.

В хуторе, конечно, нет и понятия о радио, однако колхоз и некоторые жители получают газеты, и из них мы кое-что узнаем о делах на фронте.

15 февраля 1942 г.

Сегодня Сретенье. День солнечный, но страшно ветреный и морозный. По приметам, какой сегодня день, такая будет и весна. Но не поймешь — теплой ли она будет (солнце), или холодной (ветер и мороз).

Сегодня шестеро из наших ребят убыли домой в Ворошиловградскую область. Как же они будут туда добираться? Мой блокнот сохранил их фамилии: Александр Лавров, Владимир Михайличенко, Николай Черкасов,

Владимир Гузиев, Петр Крикунов и Сергей (фамилия написана неразборчиво). Осталось нас в хуторе девять человек:

Иван Чумаков (Ворошиловградская область),  
Иван Плосконос,  
Юрий Плосконос (братья, оба из Киевской области),  
Алексей Божко (Днепропетровская область),  
Алексей Лабузов (Орловская область),  
Василий Маронов (Орловская область),  
Василий Головач (Черниговская область),  
Виктор Долбня (Харьковская область).

Не знаю, почему остался Чумаков и не уехал со своими ребятами, может он был сирота, и ему безразлично было, откуда идти в армию, а может другая причина. Шестеро из оставшихся были по двое из одной местности, им было все же веселее. Из всей команды, ушедшей из Харькова, на Дону (по крайней мере, в Мокрове) я оказался один, как и Головач из Черниговской области.

23 февраля 1942 г.

Появился слух, что у немцев отбили Харьков!

5 марта 1942 г.

Опять я много дней ничего не записывал. Уныло тянутся холодные дни, меня посылают иногда на «черные» работы, но редко, так как очень холодно. 3 марта отправил третье письмо брату, но еще не получил ответа ни на одно. Возможно, и мои письма из этой глуши с трудом доходят до действующей армии. Выяснилось, что на хуторе проживает еще несколько мужиков с Украины, которые сопровождают пригнанный сюда украинский скот, вывезенный на восток, чтобы он не достался немцам. Мужчины крепкие, тепло одетые, живут, видимо, неплохо, так как скот обеспечивает их мясом и всем прочим за счет мяса. Беда тут только одна: когда в июне началась война и немцы стали быстро продвигаться на восток, местное донское население, ожидая эвакуацию, никаких кормов на зиму заготавливать не стало. Вообще-то почти так и получилось — немцы не дошли до Мокрова всего около двадцати километров, город Серафимович некоторое время был ими занят, но на северную сторону реки Медведица враг так и не смог переправиться, и война, вернее — фронт, обошел Мокров стороной. Тем не менее, солома и кормовые травы (люцерна, клевер) остались скошенными в валках в поле, их не копили и не скирдовали, не завезли в хутор. Заготовок не делали и для собственного скота, а тут еще пригнали массу коров с Украины. Нас часто посылали в поле раскапывать из-под

смерзшегося снега валки соломы и трав, это была тяжелая работа, но обеспечить корм всему скоту было невозможно. Пришлось снимать соломенные крыши со всех подсобных помещений, кроме изб. В результате до весны не осталось ни одного крытого соломой сарая, амбара или другого помещения. От голода и холода коровы слабели, часто, улегшись на ночь на холодном полу, они уже не могли утром подняться. Чтобы не дать такой корове замерзнуть, ее опутывали цепью, собирали несколько человек, которые, ухватившись за цепь, поднимали животное на ноги. Но на следующее утро все повторялось. Тех коров, что уже не могли держаться на ногах, забивали. Мясо и шкуру забитого колхозного скота под строжайшим контролем отправляли в райцентр, себе почти ничего не оставалось. Только украинские коровы добавляли жителям мяса. Учет их сильно хромал, никакими документами не подтверждался, так как во время перегона с запада Украины на Дон, нередко под бомбежками, многое было перепутано или утеряно, можно было кое-что и скрыть. К тому же украинский скот был менее вынослив и более истощенный, его падеж в условиях небывалых холодов был намного больше, и ослабевших коров забивали в большом количестве.

Дохлых коров свеживали, шкуру сдавали государству, а трупы отвозили на свиноферму на корм свиньям.

Украинцы, сопровождавшие эвакуированный скот, работали иногда и в колхозе, в частности очищая от сорняков зерно с помощью огромных, метрового диаметра, сит, подвешенных к потолку на цепях (так называемых «грохотов»). Эта работа требовала особого умения, ее мог хорошо делать лишь один из украинцев. А мы, ребята, были подсобными, засыпали в грохот зерно и отдельно ссыпали очищенное.

В эти дни ушел домой и Алексей Лабuzов с Орловщины. Его напарник Маронов остался.

10 марта 1942 г.

Вчера вечером меня ждала огромная радость. Я получил письмо от брата Владимира. Военная цензура закрасила название города, где он находился, но мне удалось разобрать, что это — Новороссийск. Очевидно, туда переехала Дунайская военная флотилия, в которой он находился.

13 марта 1942 г.

Этими днями хозяева, в том числе и моя Мария Дмитриевна, подбили нескольких ребят пойти на Шлепкину гору на поле, где остались на зиму неубранные подсолнухи, чтобы принести семян домой. Это было запрещенное дело.



По тогдашним законам (как, впрочем, и сейчас, но тогда это было доведено до крайности) пусть лучше колхозный урожай сгниет на поле, чем достанется людям. Идти нужно было ночью. Мы подставляли мешок под головку подсолнуха и палкой выбивали семена. Я ходил пару раз и принес домой два больших мешка. Хозяйка поджарила семечки и мы их щелкали длинными зимними вечерами.

20 марта 1942 г.

Как я и предполагал, привезенных мною дров хватило на первые две декады марта, завтра или послезавтра порублю последнее бревно. Где-то нужно доставать топливо, хозяйка опять выражает недовольство. Есть возможность срубить ствол дуба в овраге и притащить его по частям на себе, но нужно туда добираться по глубокому снегу на расстояние порядка трех-четырёх километров. Много на себе не утащишь, разве что на двое-трое суток. Настроение у меня в связи с этим — хуже некуда.

23 марта 1942 г.

Недовольство Марии Дмитриевны достигло предела. В избе холодно, а саней председатель не дает. От голода стали падать быки. Осталось три-четыре рабочих пары, которых и так нещадно эксплуатируют. В каком-то саду под горой срубил яблоню, хватило ее на один день. Неужели придется каждый день таскать из чужих садов фруктовые деревья? По крайней мере, другого выхода я не вижу.

27 марта 1942 г.

Сегодня день рождения моего отца. Он ушел на рытье окопов на неделю раньше меня. Ему уже исполнилось 48 лет, в действующую армию людей этого возраста не брали. Что с ним? Вернулся ли домой, или, как и я, отступил с частями на восток? В этом случае мама осталась одна, как палец, в занятом немцами городе. Жива ли она? Может уже умерла от голода!

Кажется, начинается долгожданная весна. Снег подтаивает. С дровами с трудом управляюсь, притаскиваю из оврага не толстые деревца карагача, горит жарко, не хуже дуба.

1 апреля 1942 г.

Вот и наступил мой час. Хозяйка заявила, что больше держать меня у себя не намерена. Поводом, на мой взгляд, послужило постигшее ее несчастье. Она получила извещение о том, что ее муж то ли убит, то ли пропал без вести. Все это вылилось в ненависть ко мне, ведь он воевал в чуждой им, казакам, Украине. Она заболела и предложила мне немедленно обратиться. Понимая огромное горе, которое ее

постигло, я беспрекословно собрал свой вещмешок и отправился к председателю Ивану Степановичу. Тот сказал, что уже не знает, к кому меня определить. Дал по очереди три адреса, я обращался по каждому, но всюду получил отказ. Трудно передать, как было унижительно ходить по дворам и просить чужих людей приютить меня. Поневоле пришлось поверить в примету, связанную с моим блужданием в ночь на 14 января.

К вечеру Гордеев куда-то уехал, и мне пришлось заночевать на скамейке в правлении колхоза. Последний раз я ел только вчера. В моем блокноте сохранились строки, полные отчаяния.

Недавно в таком же положении оказался и один из эвакуированных ребят в Чиганаках. Его направили в Кумылгу, в райцентр в сильную метель и мороз. Идти туда было около 20 километров, через наш хутор и Шлепкину гору. По дороге он, выбившись из сил, видимо, присел отдохнуть. Его нашли окоченевшим на другой или третий день совершенно случайно. Вот и сейчас за окном свирепая метель. А ведь скоро пятое апреля – праздник Святой Пасхи, по сути это весенний праздник.

2 апреля 1942 г.

Я таки дождался вчера вечером председателя. Он отвел меня в дом к механизатору Тихону Мишаткину. Меня немного покормили, и я лег спать. Семья у Тихона большая – пять человек. Особой радости они не проявили, со мной подчеркнуто не разговаривали. Утром мне сказали, что надо уходить, и я снова отправился в правление. Здесь тепло, и я сел записывать впечатления от вчерашнего дня. Вчера я получил очередное письмо от брата. Вроде бы нужно было радоваться, только вот жить оказалось негде.

Записываю вечером. Утром меня увидел председатель и посоветовал зайти еще раз к Марии Кириличевой. По дороге я заглянул к Якову Афанасьевичу. Они с Хавроньей Никифоровной расспросили меня, посочувствовали и предложили позавтракать, от чего я, голодный, не смог отказаться. Да и злости к Селивестровым я не испытывал, понимая, что старикам и самим нелегко. После этого зашел к Марии Дмитриевне, помог ей по хозяйству. Ей я особенно сочувствовал в постигшем ее горе. Она меня тоже покормила. В это время к ней зашел председатель, попробовал уговорить ее принять меня снова. Когда же она снова категорически отказалась, Гордеев решил послать меня в сельсовет в Чиганаки Первые.

Я понимал, что я там ничего не добьюсь, ведь именно от

них уходил парнишка в Кумылгу, находясь в таком же положении, и замерз в степи. Я ничего председателю не сказал, а сам направился в противоположную сторону хутора, где начиналась дорога на Шлепкину гору, через которую проходил санный путь в Кумылженскую. Идти до нее было около 18 километров, была уже вторая половина дня.

Я и не мечтал засветло добраться до райцентра. Мое отчаяние трудно было передать. Буду идти, пока хватит сил, до изнеможения. Затем присяду отдохнуть, и даст Бог, усну. Я слышал, что во сне люди замерзают незаметно, эта смерть будет легкой. Все равно, я никому уже не нужен. Может, и родителей уже нет в живых. В голове все время вертелись строчки одной из песен:

«Уж ветер совсем ту находку занес,  
Метель так и пляшет над трупом...»

В это время действительно мела сильная метель.

Я дошел уже до последней избы хутора. В ней проживал заведующий конефермой, суровый казак Семен Артемьевич Кириличев с женой и двумя дочерьми-школьницами. Я постучался в избу, они все из-за метели были дома. Я попросился полчаса погреться перед дальней дорогой. Меня спросили, куда я иду в такую погоду. На моих глазах навернулись слезы, я объяснил, что председатель пытался устроить меня в пяти-шести местах, но безуспешно. Теперь, вот, направляюсь в райцентр, может, удастся до призыва в армию где-то пережить оставшиеся 4-5 месяцев.

Семен Артемьевич выразил сомнение в том, что я в такую метель вообще доберусь до Кумылги. Его жена, Мария Гавриловна, которая была явно расстроена моим рассказом, вдруг обратилась к хозяину:

- Отец, может, оставим Виталия у себя?

Семен Артемьевич на это ответил:

- Ну-к, что ж, незамай (т. е. - пусть) остается.

Я не поверил своим ушам. Они тут же заставили меня раздеться и сразу же накормили.

Забегая вперед, хочу отметить, что с этого дня, 2-го апреля и по 2-е августа у меня начался второй период жизни в Мокрове, резко отличный от первого. За все это время я не услышал ни единого упрека в свой адрес, ко мне относились очень дружелюбно и предупредительно. Я никогда не забуду, что фактически эта семья вырвала меня из лап смерти. Мало того, я так много приобрел опыта и знаний, что благодарен этому периоду до сих пор. Наконец я себя почувствовал человеком, к которому с уважением относились

все хуторяне, фактически я стал своим человеком в каждой избе.

Сейчас я считаю уместным более подробно описать хутор Мокров. Где-то в конце моего пребывания в нем я составил его план. Он у меня сохранился до сих пор, и я его привожу здесь, как иллюстрацию к своим воспоминаниям. Он достаточно потрепан, но рисунок сохранился хорошо и довольно разборчивы поясняющие его надписи.

Хутор вытянут вдоль дороги, ведущей из станицы Глазуновской в Чиганаки Вторые. Хуторские дворы (базы) располагаются к востоку от трассы, вдоль которой тянулись провода телефонной связи. Электрической линии в хуторе не было, жили при керосиновых лампах. Избы хутора располагались в два ряда, между ними проходила единственная улица, которая, естественно, не имела и названия. К западу от хутора поднималась возвышенность, которую называли «Шлепкина гора». Туда с северной части хутора и со середины его вели три дороги в поля, принадлежащие колхозу. Одна из этих дорог вела к станице Кумылженской.

От одной окраины хутора на восток уходила дорога через сенокосные луга в лес, за которым текла река Медведица, впадающая в Дон у города Серафимовича. На запад от южного края хутора дорога уходила в село Чиганаки Первые, где находился наш сельский совет. Между трассой (казаки называли ее «грейдером») и тыльной стороной усадеб (базами) проходила грунтовая дорога местного значения.

Дворовые участки пронумерованы на плане цифрами от 1 до 43 и принадлежали они следующим жителям. Я называю только те фамилии и имена, которые точно знал. Остальные хуторяне названы их уличными прозвищами. Список жителей таков:

1. Кириличев Семен Артемьевич, его жена Мария Гавриловна и две дочери, имен которых я не записал, а потом забыл.

2. Кириличева Авдотья (по прозвищу «Уласкина»).

3. Две женщины — Ферака и Аксютка.

4. Кириличева Мария Дмитриевна с двумя сыновьями.

5. Шкуратова Наталья.

6. Кириличев Артем Данилович.

7. Фирсова Акулина.

8. Фирсова Настасья (по прозвищу «Леухина»).

9. Селиверстов Веденей Николаевич.

10. Кириличев Николай Артемьевич.

11. Кудрявцева Варвара.

12. Зверькова Варвара.
13. Быкадорова Катерина.
14. Фирсов Григорий Васильевич.
15. «Антоничевы» (женщины).
16. Медведева Прасковья.
17. Боярсков Григорий Осипович.
18. Кириличева Наталья Михайловна (по прозвищу «Тимофеева»).
19. Калинин Калина Тимофеевич.
20. Здание молочно-товарной фермы.
21. Селиверстов Яков Афанасьевич (по прозвищу «Сокол») и его жена Хаврония Никифоровна.
22. Фирсов Дмитрий (по прозвищу «дед Митряк»).
23. Кулинка Веденеева.
24. Селиверстов Сергей Степанович.
25. Селиверстова Маришка.
26. Филимонова Акулина.
27. Филимонова Мария (по прозвищу «Ванина»).
28. Здание правления колхоза.
29. Давыдов Макар Степанович.
30. Фоминова Арипка.
31. «Коновалиха».
32. Фомин Иван Федосеевич.
33. Зверьковы Козьма и Матренка.
34. Мишаткина Акулина.
35. «Наденка».
36. Мишаткин Дмитрий Евланович.
37. Балев Егор.
38. Мишаткин Тихон.
39. Гордеев Иван Степанович.
40. «Томка Пистешка».
41. Чулкова Евгения Петровна.
42. Савин Абрам.
43. «Апраксинья».

Кроме того, буквами обозначены:

- по дороге на Шлепкину Гору от здания молочно-товарной фермы:

МТФ — молочно-товарная ферма,

К — кузня,

Б — баня,

Амбары.

От бани шла дорога еще к одной избе, которая в план не поместилась — дом Чулкова Петра Яковлевича (по прозвищу «Петрухи»), старика, отца Чулковой Е.П.

- у дороги на Чиганаки Первые:

КТФ – конно-товарная ферма,

А – амбар.

- по дороге в лес:

СТФ – свино-товарная ферма.

Между хутором и лугом, восточнее хутора, расположились огороды хуторян, другая часть огородов – к западу от трассы между дорогами на Шлепкину Гору. Там же и западнее МТФ находились фруктовые сады.

Склоны Шлепкиной Горы были изрезаны оврагами (по местному - «бараками» или «балками»), которые поросли дубом и карагачем.

Мужчин и очень маленьких детей в хуторе почти не было. Все мужчины были в основном на фронте. Как я уже ранее упоминал, по броне оставались:

- председатель колхоза Гордеев Иван Степанович,
- заведующий МТФ Фирсов Григорий Васильевич,
- заведующий КТФ Кириличев Семен Артемьевич,
- механизатор Мишаткин Тихон.

Остальные мужчины были либо старики, не подлежащие призыву в армию, либо негодные по состоянию здоровья, как Калина Тимофеевич Калинин, о котором я расскажу позже.

6 апреля 1942 г.

Вчера была Святая Пасха. Особых торжеств в хуторе не было. Характерно для этой зимы то, что даже старики не помнят, чтобы на Пасху снег лежал глубиной от полуметра до метра, лишь слегка подтаяв. Вчера утром был мороз, но днем оттаяло, появились лужи. Сегодня с утра тоже мороз. Такое чередование очень благоприятно, ибо в случае массового таяния такого количества снега все бы залило водой.

12 апреля 1942 г.

Прошло ровно полгода, как я покинул свой дом в Харькове. Снег почти весь стаял, на дорогах сплошная вода. Но кое-где, по оврагам и ложбинам все еще лежит достаточно глубокий снег.

20 апреля 1942 г.

На хутор навалилось очередное несчастье. Я уже писал, что колхоз не заготовил на зиму кормов даже для своего скота, а тут еще добавился скот из Украины. Кормов стало не хватать еще зимой, и тогда начали снимать соломенные крыши со всех служебных помещений. Этой соломой кормили скот, но этого было явно мало. Начался массовый падеж. Каждое утро на ферме обнаруживалось 1-2 трупа. На этом несчастье я приобрел новую специальность. С нашего

скота следовало обязательно снимать шкуру и сдавать государству для нужд фронта. Пока падеж был мал, освежеванные трупы свозили на свиноферму на корм свиньям. Но когда трупов стало много и наступило потепление, было дано указание во избежание эпидемии трупы павшего скота захоронить. О рытье такого количества ям в еще мерзлой земле не могло быть и речи. И тогда кому-то в колхозе пришла в голову счастливая мысль. Дело в том, что по дороге к дому П.Я.Чулкова имелся глубочайший колодец с шириной сруба два на два метра. Глубина его была необычайная. Мне трудно сказать, сколько метров, но, прикидывая сейчас, вероятно, около тридцати. Когда его вырыли, не помнили даже старики — он уже существовал, когда они были малыми детьми. Колодцем уже много лет никто не пользовался и неизвестно, была ли в нем вода. Зачем его выкопали в стороне от хутора, неясно. В самом хуторе в каждом дворе был свой колодец глубиной порядка семи метров. Так вот, в этот заброшенный колодец и было решено сбросить трупы скота.

С утра меня вызывали на ферму, где я должен был снять шкуру с павшей коровы. Одному это было непросто, а помощников мне не давали. Я брал лошадь, на которой были надеты постромки. К вальку цепью привязывал дохлую корову за задние ноги и тащил по лужам за хутор к этому колодцу. Там я делал на коже надрезы и снимал шкуру с одного бока. Затем подталкивал снятую часть шкуры под спину животного. Теперь нужно было перевернуть корову. Я поднимал задние ноги до вертикального положения, при этом задняя часть туловища поворачивалась на спину. Затем деревянным шестом подпирал поднятые ноги и переходил к передним ногам. Таким образом удавалось перевернуть скотину и освежевать другой ее бок. Когда шкура была снята, я опять цеплял труп к вальку постромков и тащил его к колодцу, сруб которого предварительно разобрали до уровня земли. Когда тело оказывалось на краю колодца, я при помощи шеста сталкивал его вниз. Через мгновение на глубине раздавался глухой звук удара. Колодец был настолько глубоким, что сверху трупа не было видно.

Однажды одна из коров до дна не долетела. Ее рога и задние ноги уперлись в противоположные стороны сруба, что было хорошо видно сверху. Она настолько крепко застряла, что даже два-три тела, упавших на нее сверху, не столкнули ее вниз. Наконец, при очередном падении нового тела зацепление не выдержало, и вся группа трупов сорвалась вниз. От удара даже слегка содрогнулась земля.

Я стал таким мастером по свежеванию скота, что теперь для разделки не только павших, но и зарезанных на мясо коров, приглашали меня. Рано утром в окно раздавался стук, и бригадир говорила:

– Виталий, собирайся на ферму, для тебя есть работа.

Приходилось свежевать и мелкий скот — овец и коз. Там была другая технология, которую я быстро освоил.

Когда колодец был забит трупами полностью, его завалили соломой и засыпали примерно метровым слоем земли. При нас этот могильник еще не успел уплотниться, вероятно, со временем землю пришлось подсыпать.

Для меня осталось также неясным, а что же стало с грунтовыми водами, которые несомненно через колодец проходили. Возможно, большая удаленность его от хутора никаких последствий не вызвала, но я иногда задумывался над тем, не повредило ли такое захоронение хуторянам.

Продолжаю цитировать запись от 20 апреля. Снег сохранился лишь в бараках. Можно сказать, что весна уже началась, хотя по календарю прошло уже почти две трети ее.

Пару дней назад поступил сигнал, что в нашем районе сброшены с целью шпионажа немецкие парашютисты. От колхоза потребовали следить, не будут ли появляться незнакомые люди. Днем всякий мог определить незнакомца, а вот ночью нужно было организовать дежурство на дорогах. Не ставилась задача задержать подозрительных, это было бы опасно для безоружных хуторян. Нужно было лишь сигнализировать, если встретится незнакомец.

На эту работу уполномочили наших ребят. Мы дежурили ночью по два человека. Хозяева снабдили нас тулупами. Я впервые почувствовал, какая прелесть – тулуп. Так случилось, что зимой, когда он незаменим, никто не предлагал мне его одеть. Завернувшись в тулупы, мы с товарищем всю ночь бродили по дорогам или лежали на обочине, ведя разговоры о своем житье-бытье. Так провели мы несколько ночей, но никто нам на глаза не попался, ни чужой, ни свой. Затем это дежурство отменили.

Хозяева продолжают ко мне хорошо относиться, но, имея опыт проживания у Сокола и Марии Кириличевой, я все жду, когда и они меня попросят выбраться. Хотя я изо всех сил стараюсь помогать им по дому.

Новых писем от брата пока нет.

29 апреля 1942 г.

Вчера вечером пришло третье письмо от брата.

Начали вскапывать огород у хозяев. Огороды они называют «левадами». От Боярского Григория Осиповича



поступила претензия, будто я порубил на дрова груши из его сада. Я, действительно, еще проживая у Марии Кириличевой, срубил пару яблонь, но, по моим сведениям, в колхозном, или же ничейном саду. У Боярского я, честно, ничего не рубил, да и вообще я не срубил ни одной груши. Проживая у Семена Артемьевича, я пару раз притащил карагач, срубленный в Поштовом бараке. Боярсков грозился подать на меня в суд, и я страшно переживал от этой несправедливости.

23 апреля ездили на мельницу молоть муку, а 24-го всех наших ребят вызывали на регистрацию в Кумьлгу. Ездили на подводах. Затем нас возили опять в Глазуновку делать какие-то прививки. Когда ехали назад, мне вдруг стало очень плохо, закружилась голова, и я потерял сознание. Меня уложили на подводу. Через пять минут я пришел в себя, слабость прошла, и я снова пошел пешком. Вероятно, это была какая-то реакция на прививку.

4 мая 1942 г.

Уже несколько дней я работаю сторожем в тракторной бригаде на поле. Идти туда около часа по дороге на Кумьлгу. Поскольку ночью делать нечего, пробовал сочинять стихи, но ничего не получилось. Либо не то настроение, либо отсутствие влияния моих любимых поэтов и моего школьного друга Анатолия Евгеньевича Васильева, который после девятого класса поступил в военное училище, после окончания которого ушел на фронт.

Сегодня мы вскапывали с Марией Гавриловной леваду, и вдруг она спросила:

- Виталий, уже месяц есть, как ты у нас живешь?

- Да, - ответил я.

- А кажется недавно... — закончила она разговор.

У меня все оборвалось внутри. Мне показалось, что про себя она подумала: «Ого! Уже месяц! Пора ему и совесть знать, до каких же пор сидеть на нашей шее».

Тут же, сопоставив, что у Сокола я прожил полтора месяца, а у Марии Дмитриевны — два, подумал, что справедливо будет, если я поживу у них немного еще. Мне стало невыразимо горько. За что же я терплю такие унижения? Ведь я не виноват, что судьба так распорядилась мной. Да и работать у хозяев я старался на совесть, очень много помогал по хозяйству.

8 мая 1942 г.

«Проходит день за днем...», записал я в блокнот слова Надсона. Жизнь идет по заведенному: ночью сторожу в поле, утром рано иду домой и сплю. Днем работаю дома, помогаю

Марии Гавриловне вскапывать огороды. Вечером опять иду в бригаду. Там меня обычно кормят, читаю газеты и снова ночь сторожу. Поначалу случались курьезы. Однажды мне показалось, что около тракторов кто-то ходит. Ночь была темной, оружия, конечно, никакого (какая польза от такого сторожа?).

Я ползком стал подкрадываться, вижу — кто-то действительно стоит у трактора, но ничего не делает. Я подполз ближе, обогнув трактор, и тут сбоку увидел, что это стреноженная лошадь. Когда я смотрел на нее спереди, она в темноте представилась двуногим существом. Пару лошадей бригада оставила попасться ночью, мне об этом сказать забыли.

Другой раз я ясно услышал, как кто-то лязгает железом у трактора. Снова душа ушла в пятки, но все же стал подползать к трактору. И опять ясно слышу, как кто-то постукивает по капоту мотора. Я неслышно обогнул трактор — никого нет! Тогда я смело подошел вплотную, и обнаружил, что тракторист не застегнул капот на защелку, легкий ветерок шевелил крышку капота, и она издавала испугавшие меня звуки.

Сегодня почти закончили дома вскапывать огород.

Мне вдруг пришла в голову мысль раздобыть в школе, находившейся в станице Глазуновской — туда ходили дочери хозяев, задачник по алгебре и просмотреть его — соскучился по математике.

16 мая 1942 г.

Закончили вскапывать огород, осталось обкопать тыкву и кукурузу. Мария Гавриловна уехала на мельницу в Глазуновку, вечером поеду за ней на подводе. Мне показалось, что хозяйка вчера раздраженно ко мне настроена. Как обычно, причину вижу в себе, но, скорее всего, преувеличиваю. Мало ли от чего у человека может быть плохое настроение?

20 мая 1942 г.

Учебник по алгебре мне девочки принесли, и я его уже полностью проработал.

В хуторе очень хорошо весной, но в эту пору сильно одолевают комары и мошка. Говорят, что скоро мошки станет намного меньше, но сейчас она буквально изводит — набивается в нос, рот, за воротник.

Продолжаю сторожить в тракторной бригаде.

26 мая 1942 г.

Вчера впервые в этом году шел сильный дождь. Из-за него не вышел в поле на дежурство. Наверное, попадет мне за

этот прогул!

Работать сторожем выгодно, за ночь записывают один трудодень. Чтобы его заработать на подсобных работах, нужно немало потрудиться.

Сегодня накрывали соломой избу вместе с Семеном Артемьевичем. Осваиваю и эту специальность. Вечером опять вскапывали леваду.

28 мая 1942 г.

Вчера нас вызывали в Кумылгу и зарегистрировали как допризывников. Заночевали в Кумылженском сельсовете. Сегодня будет медицинская комиссия — дело близится к призыву, а затем — фронт. Спокойная жизнь в хуторе расслабила, война здесь ощущается косвенно, как что-то далекое и нереальное. Опять становится тревожно на душе.

Комиссия признала нас годными и зачислила для обучения в школу всеобуча — так называется допризывная подготовка молодежи. Сегодня вечером на лошадях возвращаемся в хутор.

29 мая 1942 г.

Нам объявили, что скоро снова вызовут в Кумылгу на десятидневный всеобуч, а затем сразу призовут в армию.

30 мая 1942 г.

Сегодня нам вручили приписные свидетельства. В моем записано: «Довбня Виктор Тимофеевич, уроженец г. Харькова. Приписан к призывному участку Кумылженского райвоенкомата Сталинградской области и подлежит очередному призыву осенью 1942 года».

Итак, до осени я еще гражданское лицо. С сегодняшней ночи возобновляю свою работу сторожем.

3 июня 1942 г.

Несколько дней тому назад в сводке Совинформбюро за 23 мая прочел, что наши войска оставили Керченский полуостров. Это обстоятельство, плюс долгое отсутствие писем от брата, дает повод полагать, что он все время в боях и писать ему некогда. Потом выяснилось, что это далеко не так, но об этом позже. А сейчас мне приходит в голову мысль — а жив ли он? Может и меня скоро ждет такая же участь — война есть война.

9 июня 1942 г.

Наконец получил письмо от брата. Свое долгое молчание он объяснил тем, что не получал писем от меня, так как у него изменился адрес. Теперь он такой: Ростовская область, г. Азов, п/я 31/02». сразу же написал ему письмо, сегодня отправлю.

12 июня 1942 г.

Послезавтра уезжаем в Кумыльгу на учебу, говорят, что всего на пять суток.

14 июня 1942 г.

С сегодняшнего дня в Кумыльге. На протяжении пяти суток будем заниматься с 8 утра до 8 вечера. Затем вроде бы соберут еще на один сбор, а уж после этого — в армию.

20 июня 1942 г.

Вчера в 4 часа дня занятия закончились, и мы вернулись в хутор. На второй сбор нас привлекут примерно через полмесяца.

22 июня 1942 г.

Исполнился год войны. Настроение сейчас у меня отвратительное, и мне все представляется в черном свете, даже отношение ко мне моей хозяйки, в общем то прекрасного человека.

О моем пессимизме в этот день лучше всего говорят строки блокнота за этот день. Привожу их почти полностью:

«Прошло 22 число июня и пошел второй год ужасной войны. Мало осталось уже мне спокойной жизни, скоро подойдет и моя очередь. Конца войне не видно. От всего этого так горько, что хочется забиться куда-нибудь в глубь сада и плакать. Почему мне кажется, что я пишу свои надгробные строки?.. Жаль только, что если я погибну, то мать моя, если она будет жить, так и не узнает, что я умираю, вспоминая ее и отца. Жаль, если она никогда не узнает, что я исполнил ее прощальную, последнюю волю — разузнать что-нибудь о Володе... Но судьбы не минуешь: гибель так гибель... Не один я. Жаль только жизнь молодую, никуда толком не использованную.

Вот такие грустные мысли навеяла мне первая годовщина войны.

23 июня 1942 г.

Жить в хуторе осталось не более месяца. Примерно 7 июля нас возьмут на учение. Изучаем мы оружие (винтовку, гранаты, противогаз) а также занимаемся с уставами и принимаем участие в тактических учениях — ползание попластунски, рытье окопчиков и т. п. До 13 июля прозанимаемся, потом дадут неделю не сборы и — конец мирной жизни. А может все произойдет и скорее. Я определил, что, наверно, покину хутор не ранее 5 июля, но не позже 20 июля.

Вчера нас поставили косить луг. Мне так понравилась эта работа, что вскоре я заделался заправским косарем. По крайней мере, меня считают лучшим на этой работе. При

моем большом росте и неплохой силенке (на харчах Кириличевых я довольно основательно окреп) меня ставят впереди. Поскольку косари идут друг за другом, каждый предыдущий должен быть сильнее последующего, чтобы не задерживать работу. Так получилось, что я работаю быстрее всех. На покос выезжает обычно нас человек двадцать. Ребята и мужики косят, женщины граблями собирают скошенное накануне и подсохшее сено в копны. Работаем с раннего утра до обеда, потом кушаем прямо на поле, немного еще работаем после обеда и едем домой.

Вместо воды для утоления жажды казаки берут с собой так называемое «откидное» молоко. Такого я не встречал ни до этого, ни в моей последующей жизни.

Делают это молоко примерно так. Надоенное молоко заквашивают специальной закваской. Обычно ею служит уже готовое откидное молоко предыдущего приготовления. Когда молоко скисает, его отжимают через тряпочку, как творог. Получается белая густая масса, не рыхлая, как творог, а такая, как сливочное масло, только снежнобелого цвета. Это и есть откидное молоко. Его складывают в бочоночек и хранят в погребе. Говорили, что храниться в погребе такое молоко может несколько лет. Делают его в больших количествах и всю зиму и лето употребляют в пищу — варят на нем каши. Густое молоко очень кислое, едят его обычно, разводя просто водой из колодца, обычно одну-две столовых ложки на тарелку воды. Пить разведенное откидное молоко — одно удовольствие, заменяет любой газированный напиток. Я любил густое не разведенное молоко с блинами.

Это единственный случай использования сырого молока. В остальном молоко сразу же после надоя парят в печах в горшках до появления золотистой корочки. Верхний слой топленого молока собирают и называют это сметаной. Она сладкая, как мед. Из этой же сметаны сбивают масло, оно тоже получается топленным. Его складывают в горшочки и тоже хранят в погребе длительное время. На мои вопросы, почему не делают сметану и масло из сырого молока, хуторяне отвечали, что в этом случае продукты будут «отдавать сыростью».

Во время покоса косарей сопровождает также один из стариков с приспособлением для отбивки и заточки кос, поэтому косари все время работают острыми косами, лишь время от времени подтачивая их бруском или напильником.

Сегодня шел дождь, и на покос мы не ходили. Сторожем в тракторной бригаде в связи с косовицей я уже не работаю.

25 июня 1942 г.

В хуторе началась косовица ржи. Меня включили в эту работу. Косилок (вернее – рабочего скота для них) не хватало, приходилось косить и вручную косами, оборудованными так называемыми «грабками», чем-то вроде граблей из тонких ивовых прутье, прикрепленных к цевью косы. Рожь была с мой рост, и к концу хода косы на грабках собирался тяжеленный сноп. Также очень тяжелой была работа сбрасывающего сжатый хлеб с конной косилки. Мы обычно работали в паре с Дмитрием Евлановичем (его называли просто Митей Евлановым). Он управлял лошадьми и требовал в напарники только меня, другие ребята не успевали справляться с этой тяжелой работой. Я, впрочем, тоже любил работать с Митей Евлановым.

29 июня 1942 г.

Потерял свой перочинный нож, который приобрел в октябре прошлого года.

На этих днях радио сообщило о взятии немцами Купянска. Мы это узнали от тех, кто ездил в Глазуновку. Больше ничего значительного для записи нет.

3 июля 1942 г.

Завтра едем в Кумылгу на учения. Примерно 14 июля покидаем хутор навеки. Мне все кажется, что хозяйева относятся ко мне с раздражением, может быть из-за недостаточного количества продуктов, которые на меня выдает им колхоз. Ранее у них этого не было. (Причина прояснилась вскоре, но об этом в записях о моем последнем дне пребывания в Мокрове. Сейчас же я об этой причине даже не мог подозревать!).

Последних несколько дней я работал молотобойцем в кузне. Я многому научился и в этой части. Нужно сказать, что к лету мои ботинки совсем развалились. С теплом я перешел на ходьбу босиком. Но во время косовицы порезал стерней все ноги. Тогда я стал одевать сохранившиеся дырявые галоши, но тоже быстро поразбивал косточки на ногах. В кузне я тоже работал босиком. Однажды, когда кузнец бросил на землю раскаленный болт, я наступил на него. Отпечаток болта с граненой головкой и резьбой долго держался на моей стопе, со временем это клеймо исчезло.

5 июля 1942 г.

Вчера прибыли в Кумылгу для прохождения второй очереди всеобуча. Хозяйева очень хорошо собрали меня в дорогу, что рассеяло мои невеселые мысли о вроде бы изменившемся ко мне отношении. В блокноте я записал: «Я буду вечно благодарить их!».

Вчера же узнали, что 3 июля радио сообщило о сдаче немцам Севастополя.

7 июля 1942 г.

Наверное, уже сдали Курск, Белгород, Волчанск. Так думаю потому, что бои идут на Воронежском и Старо-Оскольском направлениях.

9 июля 1942 г.

Сегодня передали о жарких боях под Воронежем и о сдаче немцам Старого Оскола.

Заканчиваем всеобуч, может, сегодня же вернемся в хутор.

10 июля 1942 г.

Какой пессимизм! Все равно, скоро погибать. Пусть же порадуюсь, пока живу спокойно.

12 июля 1942 г.

Вчера немцы бомбили Михайловку. Это уже в 46 км. (к востоку) от нас, а сегодня — Серафимович, всего 20 км. южнее. Итак, фронт нас уже догоняет.

15 июля 1942 г.

Немцы все ближе и ближе. Уже ими заняты Валуйки, Елец, Лисичанск. Есть неофициальные слухи, что заняты Воронеж и станица Вешенская. Как потом выяснилось, через Вешенскую проходил фронт. Немцы находились на правом (южном) берегу Дона, а наши войска на левом (северном), где и расположена станица. Дело оборачивалось так, что нас, не дожидаясь призыва, будут эвакуировать в тыл. Для этой цели выдали по 10 кг муки на сухари.

Сегодня нашел свой утерянный перочинный нож.

19 июля 1942 г.

Каждый день гул самолетов, как наших, так и немецких. Чувствуется дыхание приближающегося фронта. Постоянно слышны отдаленные взрывы не то авиабомб, не то полевых снарядов и гул орудий. Все твердят, что немцы вот-вот подойдут к нам.

23 июля 1942 г.

Гул орудий все слышнее. По слухам, немцы от нас не далее 40 км. ( На самом деле, город Серафимович был занят немцами 3 августа, т. е. через 10 дней после того, как я сделал запись от 23 июля. Правда, через 24 дня, 27 августа, он был освобожден войсками Сталинградского фронта в ходе флангового контрудара по группировке противника, расположенной под Сталинградом).

Несколько дней назад попала газета, в которой я прочел, что немцам сдали Миллерово, Богучар, Ворошиловоград.

29 июля 1942 г.

Сегодня узнали, что сданы Новочеркасск и Ростов. Связь

с братом окончательно прервалась. Как память мне останутся лишь девять полученных от него писем.

2 августа 1942 г.

Произошло невероятное событие, оставившее в моей душе глубокую травму. Рассказываю все по порядку.

Нас, 9 ребят, Семен Артемьевич должен был сегодня утром увезти в Кумылгу для мобилизации. Мария Гавриловна собрала мне вещмешок с продуктами, и накануне вечером легла спать. Я спал в сенях на сене. Как вдруг ночью я услышал шум и суматоху. Не помню, проснулся я сам или меня разбудили, но увидел при свете лампы, что хозяева лихорадочно укладывают сундучок и узлы на подводу. Оказалось, что, выполняя сталинские предначертания, из хутора выселяют двух «неблагонадежных» казаков с семьями. Я уже не помню, кто был вторым, но одним из них оказался Семен Артемьевич, который в свое время, оказывается, служил в царской армии, что для донских казаков было обычным. Вспомним, сколько раз герой «Тихого Дона» метался между белыми и красными.

Среди ночи, как это было принято в НКВД, выселяемых разбудили и дали всего два часа на сборы. То же, как я узнал много позже, проделывали и при выселении крымских татар.

Чем же были виноваты эти люди? Особенно обе девочки (имя одной я вспомнил — Клава). И почему несчастье всегда обрушивается на самых добрых и порядочных людей? Ведь только они отнеслись ко мне душевно в самые тяжелые для меня дни.

Я, как мог, помог им собраться. Мария Гавриловна на прощание сказала:

- Видишь, Виталий. Собирались мы тебя провожать, а оказалось, что из этого дома провожаешь нас ты...

Они погрузились и спешно уехали в сопровождении работников НКВД. Я остался один во вдруг опустевшем доме. Было около 4 часов утра, уже занималась заря. Я не мог находиться в комнате, где все было перевернуто, как после погрома, вышел на крылечко избы, сел на ступеньки и горько заплакал. Самые дорогие для меня люди в Мокрове покинули его раньше меня.

Спустя некоторое время, уже в конце войны, я, переписываясь с дочерью Якова Афанасьевича Селиверстова, которая переехала к родителям в Мокров и вела со мной переписку, узнал, что семья Семена Артемьевича находилась в Казахстане. Их адрес был г. Караганда, трест Ленина, шахта №48. Я несколько раз им писал, но ни одного письма в ответ не получил. Это явно не был адрес проживания, скорее, адрес



организации. Может их там уже не было, а может, жили они в лагере для ссыльных, переписка с которыми не поощрялась. Для меня их след потерялся навсегда.

Около 6 утра я пошел на квартиру к Плосконосу. От него мы и поехали в Кумылгу. Провожали нас Григорий Васильевич Фирсов и Дмитрий Евланович Мишаткин. Затем они навсегда распрощались с нами и возвратились домой. Мы же заночевали в каких-то шалашах.

Заканчивая описание моего пребывания в хуторе Мокрове, хочу отметить следующее.

Это был особый период в моей жизни.

До этого я жил в семье, учился в школе, кое-что делал по дому, больше не как обязанность, а как развлечение. Много, запоем, читал. Увлекался рисованием, даже масляной живописью, стихами, музыкой, играл на многих струнных инструментах (о пианино только мечтал), сочинял примитивные стишки и рассказы. Лето проводил в Высоком Поселке под Харьковом, у знакомых матери, гулял в лесу. Зимой катался на лыжах и коньках по окрестностям Харькова. Основным моим занятием была учеба в школе.

И вдруг такой поворот. И особый мир – хутор Мокров, как некая сказочная страна, куда я попал силою волшебства.

Эти семь с половиной месяцев, проведенные в хуторе, составляют ничтожную часть моей жизни, однако значат для меня очень много. А тогда казалось, что это вообще главная часть моей, тогда еще совсем небольшой, жизни.

Прежде всего, я понял, что завоевывать право на существование можно только своим трудом, следует надеяться только на свои силы. Для этого нужно много знать и уметь, чтобы униженно не выпрашивать помощи у других. А для этого нужно постоянно учиться всему, что может пригодиться в жизни.

Проживая среди людей, которые в силу отстраненности от крупных центров, обеспечивали себя всем необходимым сами, я жадно впитывал всякие премудрости деревенского быта. Я наблюдал, как выполнялись всякие работы, а потом и сам пробовал в этом свои силы. Например, я научился свивать с помощью веретена или прялки шерстяную нить из овечьей шерсти, затем из двух таких нитей получать одну прочную и готовую для вязания. Я узнал, как нужно шить или ремонтировать одежду и обувь, научился ухаживать за домашним скотом. Умел запрячь любую лошадь, пару или тройку лошадей в телегу или сани или заложить в ярмо пару быков. Научился взнуздывать норовистого коня, сжав его ноздри рукой. Я хорошо ездил верхом, что мне сильно

пригодилось впоследствии на фронте. Я считался первым косарем на хуторе, умел собрать, отбить и наточить косу, научился многим премудростям кузнечного дела. Я хорошо умел свежевать и разделявать на мясо любых домашних животных, постиг все тонкости работы на приусадебных участках.

Для меня ничего не стоило свалить одним топором любое дерево так, чтобы оно упало в нужном направлении, а потом порубить его на дрова.

Во время работы в кузне мне пришлось однажды принять участие в выжигании древесного угля. Делалось это так.

Поленья, длиною в три четверти метра из березы или дуба складывали наклонно стоямя в виде шалаша на утоптанной площадке, предварительно положив под них длинный железный лом. Поверх лома внутри этого шалашика закладывалась сухая солома. Потом со всех сторон и даже сверху такие же бревна, пока не получался конус диаметром примерно два метра и высотой — полтора. По центру конуса от самого низа до верха его размещался пучок соломы. Потом все это обкладывалось соломой и обсыпалось землей, сверху оставлялось отверстие, заполненное жгутом соломы. Лом вытаскивали, раскаляли его конец в кузнечном горне добела и вновь заталкивали внутрь конуса. Раскаленный лом поджигал солому, от нее начинали тлеть поленья. Пламенем они не горели, так как не было достаточного доступа воздуха. Над вершиной конуса вился легкий дымок. Дней через десять, когда дымок исчезал и конус остывал, его раскрывали. Вместо сухих дров там оказывались чуть уменьшенные в объеме поленья древесного угля.

Главным консультантом по выжигу угля и по многим другим вопросам был хуторянин Калина Тимофеевич Калинин. Это была уникальная, удивительная во всех отношениях личность. Было ему около 30 лет. Где-то в восьмилетнем возрасте он заболел ветряной оспой и полностью ослеп. И, хотя он ничего не видел, он был незаменимым человеком на хуторе. Обострившаяся в результате слепоты память впитывала все, о чем он слышал. Он мог дать любую консультацию по всем хозяйским делам. Кроме того же выжигания угля он мог проконсультировать и по сапожному и по ткацкому мастерству, по ремонту сельхозтехники. Мало того, он многое делал своими руками: рамочки для фотопортретов, гребни от малых для волос до больших, используемых при обработке пряжи. Он чинил прялки — довольно сложные устройства, делал шпули для ниток и так называемые «рашки», вилки с крючьями, с

помощью которых нить в прялке наматывалась на шпули. Он делал и чинил упряжь для лошадей, в том числе хомуты. Если бы я сам не видел это собственными глазами, я бы никогда не поверил, глядя на эти изделия, что их сделал совершенно слепой человек. Кроме того, он знал хорошо историю и поражал меня своей эрудицией, хотя я считался в хуторе самым знающим человеком в этих вопросах. Я рассказывал хуторянам об астрономии, о физических и природных явлениях, читал и комментировал им Библию (что они особо во мне ценили). И Калина Тимофеевич часто дополнял мои рассказы достоверными подробностями.

Таким образом, пробыв в хуторе семь с половиной месяцев, я обогатился практическими сельскими навыками, и теперь без преувеличения могу сказать, что на всю жизнь. Сколько раз я использовал эти умения, удивляя многих товарищей и на войне, и в последующей гражданской жизни. Меня, например, удивило, когда солдаты, распиливая бревно на поленья поперечной пилой без козел, мучились, стараясь удержать его в устойчивом состоянии, придерживая безуспешно руками или прося третьего его придержать. А их удивляло, когда я мгновенным ударом топора делал его мертво неподвижным при распиливании без всяких других приспособлений.

Я уже писал, что хотел даже составить словарь донского диалекта, но все как-то не собрался это сделать. Потом многие слова выветрились из головы, и теперь это уже невыполнимо. Выветрились из памяти и донские песни, которые отличались от известных мне манерой воспроизведения мотива с особыми вариациями. Теперь я уже не могу исполнить их с таким умением, как это я делал на хуторе.

Если кто-то из хуторских жителей, работавших со мной, еще жив, что маловероятно, принимая во внимание мой возраст, может ему передастся какой-нибудь телепатической силой сигнал от меня. Пусть знает, что их наука зря не пропала, они посеяли во мне семена, которые до сих пор продолжают давать всходы. А память об этих прекрасных, хотя и своеобразных, людях и тружениках никогда у меня не исчезала и, теперь уже можно сказать, никогда не исчезнет из моего сердца. Оторванный от больших городов и крупных сел маленький хуторок Мокров так и остался для меня сказочной, прекрасной страной, в которой мне посчастливилось побыть недолгих семь с половиной месяцев молодой, нелегкой жизни.

#### 4. 29-й ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ТАНКОВЫЙ ПОЛК

3 августа 1942 г.

Итак, вчера вечером мы прибыли в Кумылженскую и сегодня целый день находимся здесь. Мария Гавриловна положила мне в вещмешок сухарей на 5-6 суток (сухари делают не из хлеба, а катают из теста длинные колбаски, режут на куски длиной 3-4 сантиметра (как галушки), пекут их в печи и сразу же засушивают), полную фляжку меда, банку топленого масла и около килограмма пшена. Вспоминая о голодном путешествии до Сталинграда зимой прошлого года, мне показалось, что этого будет недостаточно для перехода от Кумылги до Сталинграда, но была надежда, что продукты в дороге нам будут выдавать.

Сегодня вечером мы вышли из Кумылги. Нас предупредили, что идти будем лишь ночью, так как немец примерно в 20-25 км от нас, и днем нас просто расстреляют из самолетов. Мы и шли всю ночь через станицу Глазуновскую до Скуришевской.

4 августа 1942 г.

День провели в лесу под станицей Скуришевской. Сварил из пшена немного каши (стараюсь экономить). Вечером снова отправились в дорогу, прошли хутора Ближний и Курени, а в станице Арчада переправились через реку Медведица.

Во время одного из привалов я обнаружил, что потерял ложку, которой меня снабдила хозяйка в дорогу. Она была у меня в кармане брюк и где-то выпала. Я был так расстроен, что пошел по той же дороге назад в надежде разглядеть ее ночью на покрытой пылью земле, по которой прошли уже сотни людей. Затея эта была бессмысленной, но неожиданно она завершилась удачно. По дороге вместе с нами двигалась какая-то часть. На одной из подвод сидел офицер. Заметив меня, он окликнул:

- Парень, что ты ищешь?

Я объяснил, что потерял ложку. Тогда он подозвал своего старшину и сказал ему:

- Этот хлопец потерял ложку и, как Тарас Бульба за своей люлькой, идет ее искать. А нас преследуют враги. Дай ему ложку!

Старшина дал мне деревянную ложку, я поблагодарил его и опрометью бросился догонять свою колонну.

5 августа 1942 г.

День провели недалеко от села Безымянного. Перед вечером снова поднялись и пошли через Безымянное и Абрамовку. Остановились в хуторе Сухове где-то около

полуночи и остаток ночи спали.

6 августа 1942 г.

Утром немного прошли к леску возле хутора и остановились в нем на день. По дороге нам ни разу не встретилась вода, и нас, как и лошадей, мучила жажда. Несколько человек разошлись в разные стороны по степи в поисках воды. Наконец, кто-то обнаружил невдалеке воронку от авиабомбы, залитую грязной, возможно, дождевой водой. Мы черпали ее котелками. В ней кишели мелкие головастики. Я натянул на заполненный этой водой котелок носовой платок (тоже не первой свежести) и пил через него, как через фильтр. После одного-двух глотков нужно было счищать с платка налипших на него головастиков, только после этого можно было пить снова. До сих пор удивляюсь, как нас не свалила после этой воды какая-либо инфекционная желудочная болезнь.

Вечером мы двинулись дальше, пересекли железнодорожное полотно у села Зеленовка и шли почти всю ночь.

7 августа 1942 г.

Утром мы снова пошли после очень короткого отдыха и к полудню пришли в село Терновка. Остаток дня проспали, а ночью я сторожил картошку. Что это за картошка, я уже не помню, видимо, мы везли с собой продовольствие, и необходимо было охранять его от расхищения.

8 августа 1942 г.

Сегодня ночью двинемся дальше. День прошел в отдыхе. Мы оказались у какой-то речушки, выкупались в ней, я даже постирал свое белье.

Нам выдали «суточные» по 7 рублей. Я по глупости тут же проиграл их в «очко». После этого случая я никогда больше не садился играть в карты на деньги.

На ночь мы снова вышли. До села Писаревка нас вели строем, приучая к воинской дисциплине. Сильно хотелось спать, так как днем за купанием и стиркой поспать не удалось. В Писаревке нас догнали подводы нашего обоза, и мы сели на них.

9 августа 1942 г.

Утром мы остановились в хуторе Липове. День провели там. Помня о завшивленности, которой мы подверглись по дороге из Харькова до Сталинграда, я попросил ребят побрить мне голову. Вечером снова вышли, прошли село Миряевку.

10 августа 1942 г.

Под утро пришли в село, названия которого я не

установил. День провели там, и еще до вечера, часа в 4 дня, двинулись дальше. Затемно добрались до большого села Лозовка и остаток ночи провели там.

11 августа 1942 г.

Утром снова двинулись в путь, прошли село Садки. За ним до самой окраины Сталинграда, где расположен Сталинградский тракторный завод (СТЗ) не будет ни одного населенного пункта. Остановились в голой степи и остаток дня пробыли там. Вечером тронулись в направлении Сталинграда. Ехали подводами до полуночи и за 11 километров до Сталинграда остановились заночевать.

12 августа 1942 г.

Сегодня утром отправились к Сталинграду и расположились на отдых у поселка тракторного завода. Вечером поднялись и, наконец, пришли в Сталинград.

Этот город вытянут узкой полосой по берегу Волги на 20–25 километров. В городе нас накормили супом, выдали хлеб и сахар. Ночевали в каком-то дворе под открытым небом.

13 августа 1942 г.

Утром ходили на Волгу — она рядом. Впервые увидел большие речные пароходы. Весь день провели здесь.

14 августа 1942 г.

Утро, как и вчера, провели на Волге, купались. Река очень широкая. Я заплывал до какого-то небольшого островка, расположенного посреди реки, был очень доволен, что с этой задачей справился. Многие не отважились так далеко заплывать, я же с детства умел неплохо плавать. Вечером нас повели на регистрацию. Затем вся наша команда ушла с подводами, оставив вещи под нашей с Алексеем Божко охраной. Ждем своих. Мы все зачислены в команду №76.

Поздно вечером ребята вернулись, и мы все заночевали в саду.

15 августа 1942 г.

Пока мы были с Божко одни, охраняя оставленные вещи команды, нас записали в 4-й взвод. Ребят, которые возвратились после сдачи подвод, зачислили в другое подразделение.

Под вечер нас построили и повели на улицу Первомайскую, №4, где и зачислили в 29-й отдельный учебный танковый полк. Остальных ребят нашей команды с нами не оказалось. Нам объявили, что мы поедем за Волгу, подучимся в течение месяца и отправимся на фронт уже танкистами.

Вечером ходили в баню.

16 августа 1942 г.

Вернулись к нам и остальные ребята нашей команды. Сегодня состоялось заседание мандатной комиссии, которая определила мне должность радиста-пулеметчика среднего танка. Вечером переправились через Волгу в село Красная Слобода. Там я вдруг увидел моряков с надписью на бескозырках «Дунайская военная флотилия». Я стал спрашивать их о брате. Они такого не знали — во флотилии несколько маленьких суденышек, называемых «мониторами», и они не всех знают. Однако они рассказали главное: за ненадобностью, так как все реки бассейна Черного моря уже были заняты немцами, флотилию расформировали, мониторы затопили, а личный состав отправили кого на Волгу, кого на Каспий, в основном в морскую пехоту. Найти брата в этой ситуации было невозможно.

Как выяснилось уже после войны, именно тот монитор «Железняков», на котором служил брат, не выполнил приказа командования и ушел вдоль берега Черного моря на Кавказ в порт Потти. Как-то им это сошло с рук, хотя они фактически уклонились от боевых действий. Всю войну они пробыли в Грузии, в Потти, вдали от войны. В этом порту укрывался весь Черноморский флот, поскольку и он почти не использовался в боях, как за ненадобностью, так и ввиду большой уязвимости при бомбежках с воздуха.

Пробыли они в Потти до августа 1944 года, пока наши части не начали освобождать Румынию и Венгрию. Тогда «Железняков» вдоль берегов Кавказа и Крыма добрался до Дуная. Первое время его использовали как паром для перевозки людей и грузов через Дунай, затем пришвартовали к берегу, и он служил причалом для речных судов. Команда числилась за ним, но в боях участия не принимала.

Ночью мы отправились из Красной Слободы в город Средняя Ахтуба, расположенный на одном из рукавов дельты Волги — реке Ахтубе. Прошли за ночь расстояние в 24 километра.

17 августа 1942 г.

Перед утром мы пришли в расположение 29-го отдельного учебного танкового полка. Он размещался на территории фруктовых садов какого-то совхоза на правом берегу Ахтубы, а на левом берегу находится городок Средняя Ахтуба, и к нему ведет понтонная переправа. Нас зарегистрировали в полку и сообщили его адрес: Сталинградская область, Средне-Ахтубинский район, село Ахтуба, В.Ч. п/я 37/31,

литер «Г». Сегодня напишу брату письмо, но на возобновление переписки не надеюсь в связи с расформированием его части.

21 августа 1942 г.

Теперь я записываю уже не каждый день. Живу армейской жизнью. Учимся на радистов-пулеметчиков среднего танка. Через два месяца направят на фронт.

Кроме занятий мы выполняем и всякие работы. Одно время носили тяжелые мешки с крупой весом около 60–70 килограммов со склада в Ахтубе до расположения полка через переправу. Однажды мне приказали доставить из одного места Средней Ахтубы в другое какого-то задержанного или арестованного майора со снятыми знаками отличия и без пояса. Это было очень неприятное поручение, я чувствовал себя отвратительно, видя потерянное и удрученное лицо задержанного.

31 августа 1942 г.

Сегодня последний день лета. Сейчас у меня появилось время сделать запись в моем дневнике. До этого не было ни минуты свободного времени. Много чего произошло за эти десять дней.

Наш палаточный лагерь во фруктовых садах бомбили. К счастью, в это время мы купались в реке, и нас не задело. Собирались эвакуировать, но пока Сталинград держится, отложили.

Почти ежедневно над Сталинградом и ближе к нам идут воздушные бои между немецкими и нашими самолетами. На наших глазах многие воздушные схватки заканчивались гибелью какого-либо самолета.

Над Сталинградом стоит сплошной черный дым, ночью он окрашен багровым заревом пожаров.

В один из дней мы обнаружили, что вода в реке Ахтуба, которую мы брали котелками для умывания, покрыта толстым слоем нефти. Говорили, что выше по течению разбомбили какое-то нефтехранилище, нефть пошла по реке. В Средней Ахтубе ее задержала плавучая понтонная переправа, и она стала накапливаться толстым слоем. Мы молим Бога, чтобы в реку не попала зажигательная бомба. Потом, когда мы были уже в Саратовской области, нам передавали, что так и случилось, и что деревянный город Средняя Ахтуба сгорел дотла. Не знаю, правда это или же чей-то вымысел, но такое вполне могло случиться.

Нам выдали положенную армейскую одежду, свои вещи сдали.

Все бы ничего, но писем от брата не получаю. Еще раз на



ум пришел Семен Артемьевич с семьей. Прощайте, дорогие! Я живу следующий отрезок своей жизни уже без вас...

На этой записи мой блокнот закончился. 22 страницы размером 7x13 сантиметров вместили всю мою жизнь на протяжении десяти месяцев. Больше бумаги не было, все свои запасы истратил на письма. Для занятий нам выдают ограниченное количество.

Ввиду нехватки бумаги нам разрешили использовать для занятий обратную сторону плакатов, развешенных в палатках. Плакаты мы разрезали на восемь частей и делали из них книжечки. Одну из таких книжечек я прикладываю здесь в качестве образца. Сохранилась она у меня лишь потому, что я использовал ее не только для занятий, но и для дневниковых записей. Видимо, нам дали для занятий бумаги, и книжечка освободилась для моих потребностей.

Для интереса я восстановил по разрезанным частям плакат, он имел следующий вид:

ВОИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ!  
ВАС ЖДУТ, КАК ОСВОБОДИТЕЛЕЙ,  
СОТНИ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ,  
ИЗНЫВАЮЩИХ ПОД ФАШИСТСКИМ ИГОМ.  
ВПЕРЕД, НА ЗАПАД,  
БОГАТЫРИ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ!

Из шестнадцати страниц две в блокнот не попали, видно, я их испортил. Писал я карандашом лишь на оборотной стороне. Первый лист содержит почти совсем стершиеся записи, связанные с обучением. Бумага плаката была плохого качества, похожа на промокательную, поэтому записи разглядеть трудно. Можно разобрать слова:

«Вес: 8 кг. 50г. Вес пустого магазина 1 кг 700г.

Снаряженного диска (63 патрона) 3 кг. 00г.» и т. д.

Речь шла о пулемете ДТ (Дегтярев танковый).

На второй странице продолжается описание данных пулемета, затем идет азбука Морзе, но только для трех букв – Е, И, С и группы по пять букв в разных сочетаниях из этих трех. Это была запись приема на слух. Завершает страницу опять описание пулемета. Третья страница содержит сверху четыре строчки, посвященные устройству пулемета, а потом всю страницу занимает азбука Морзе. Четвертая страница озаглавлена словами «Осень 1942 г.». Отсюда начинаются дневниковые записи. Видимо, вначале я сделал из плаката книжечку для конспектирования записей, а после того, как для этого выдали бумагу,

использовал ее для дневника.

Перехожу снова к описанию моей службы, основываясь на полустертых записях.

1 сентября 1942 г.

Сегодня я видел удивительный сон. Снилось — я дома с матерью, рассказываю свои похождения и думаю: «Вот, мечтал я быть дома, и вдруг, в самом деле, здесь». Я рассказывал о жизни в хуторе. Когда дошел до момента выселения Кириличевых и своей мобилизации, я проснулся и испытал горькое разочарование — я снова очутился в палатке лагеря.

О брате ничего не слышно и, наверное, уже никогда не услышу. Краткая связь с ним прошла, как мгновенный, неповторимый сон.

25 сентября 1942 г.

Сегодня, вероятно, кончается наша жизнь в лагере. Немцы уже на улицах Сталинграда, а до него всего около 20 километров, правда, еще и такая существенная преграда, как широченная в этом месте Волга. Для продолжения, а вернее — окончания учебы — нас, скорее всего, эвакуируют чуть дальше на восток, куда именно — неизвестно. Пожалуй, суток 15–20 будем идти пешком по ночам, как это было на пути от Кумьлги до Сталинграда.

За 25 дней, прошедших после предыдущей записи, ничего примечательного не произошло, поэтому дневника я не вел. О брате по-прежнему новостей нет. Очевидно, если он жив, то где-то воюет в морской пехоте.

Через два дня мне исполнится 18 лет. Никто меня с днем рождения не поздравит. Пожалуй, в этот день мы будем идти и идти куда-то на восток, как одиннадцать месяцев тому назад.

26 сентября 1942 г.

Вчера мы не вышли, но сегодня уже собрали все вещи. Я сделал себе сумку из тюфяка. В 18 часов выступаем. Сообщили, что пешком мы будем идти 190 километров, это растянется суток на семь. Пищу обещают горячую два раза в день.

27 сентября 1942 г.

За прошедшую ночь прошли более 40 км. На заре поспали, потом плотно позавтракали и опять легли спать. Вот так проходит мой день рождения, первый на чужбине. В 4 часа мы поужинали и вечером пошли дальше. Снова растер косточки на ногах, которые набил галошами еще в хуторе в июле месяце, и они толком не зажили. Судя по звездам, идем курсом норд-норд-ост.

28 сентября 1942 г.

В эту ночь прошли около 20 километров. Как называется населенный пункт, где мы остановились, узнать не удалось. Сегодня вечером идем дальше.

29 сентября 1942 г.

Шли всю ночь до 10 часов утра. Прошли около 80 километров! Никогда не думал, что столько можно пройти практически без отдыха. Привалы были очень короткими. Нас учили ложиться на землю и поднимать ноги на вещмешок, чтобы они были выше головы. Давали соленое, объясняя, что при этом мы будем меньше потеть, и организм потеряет меньше влаги. Устали мы смертельно. Впервые по пути попадалось много селений, но не очень крупных — до 100 дворов, примерно, как два хутора Мокрова. Сейчас находимся в хуторе Горьком. Сегодня в ночь идем дальше.

30 сентября 1942 г.

Шли медленно и всю ночь. Часть обессиленных ребят осталась в Горьком, часть отбилась по пути. Остальные вместе с командирами добрались до запланированного места. Прошли мало, всего около 15 километров. Говорят, что до конечного пункта осталось 35–40 километров. Я внутренне гордился тем, что у меня хватило сил не отставать, несмотря на мое слабое здоровье к началу моих странствий в 1941 году. Вспомнилась первая ночевка за Харьковом, когда я провел ночь, наполовину лежа в дождевой воде под скирдой соломы и не заболел, хотя был уверен, что тут мне и конец. Наверное, закалка во время хуторской жизни на Дону дает о себе знать.

Со мной в отделении есть некий Дюбанов из Белоруссии. Он высокого роста, как и я, и мы стоим в строю рядом. Я с ним подружился. После этого перехода командир нашего отделения сержант Бутрименко и Дюбанов где-то отстали, но к вечеру должны прибыть. Осталось сделать последний переход. Сейчас примерно 4 часа дня.

1 октября 1942 г.

Какая морозная была ночь! До восхода солнца все же пришли к концу путешествия. Сегодня переночуем под скирдой, а завтра, может быть, погрузимся в вагоны. Скоро дадут ужин.

2 октября 1942 г.

Сегодня узнали, что мы уже не в России, а в Казахстане, на станции Джаныбек, что расположена в Западно-Казахстанской области. Ночевали тут же. Утром сегодня прибыл 4-й батальон. Когда подойдет отставший 2-й батальон, будем грузиться в эшелон. До тех пор померзнем здесь. С едой совсем плохо. Хлеба дают, как и прежде, по 600

граммов, а жидкого супа вместо котелка на двоих дают котелок на троих два раза в день. Вот и вся еда — в сутки две трети котелка мутноватой воды (суп) и 600 граммов хлеба.

3 октября 1942 г.

Весь день и всю ночь перед ним работали на кухне. С едой дело наладилось. Когда будем грузиться, неизвестно.

4 октября 1942 г.

Пишу рано утром. Кто-то украл мое полотенце. Достал новую флягу. Мою самодельную, что сопровождала меня из Харькова, раздавил один из курсантов (нечаянно или умышленно, сейчас уже не помню).

5 октября 1942 г.

Вчерашний день был полон событиями. Часа в 2 бомбили нашу станцию. Вечером собрались грузиться, но сели в вагоны около 10 часов вечера. Вагоны приличные. Стояли мы долго, я заснул, вдруг два взрыва бомб. Говорили, в тех скирдах, где мы до этого располагались. Поезд немедленно тронулся.

Всю ночь снились сны. Один я помню — о поисках брата. Вроде бы он где-то рядом, на пароходе «Волга-Волга», а я его никак не найду.

Ехали ночь и утро. Днем на одной из станций выгрузились, затем получили на день 600 граммов хлеба и 100 граммов вареного мяса. Я съел все сразу, наелся, но теперь ничего не придется брать в рот до завтрашнего дня.

6 октября 1942 г.

Почти всю ночь стояли. Утром до полудня тоже простояли на станции Аниловая. Сейчас подъезжаем к Саратову, что на том берегу Волги. Красивая осенняя природа! Вот завиднелась Волга..., переезжаем через мост..., мы опять на правом берегу Волги.

7 октября 1942 г.

Ночью проехали Саратов и остановились на станции Курдюм. Только что выгрузились и снова марш. Прошли село Широково и подошли к селу Губаревка, где стали ожидать ужина.

10 октября 1942 г.

В селе Губаревка остановились надолго, похоже, что теперь это наша резиденция. 8 октября весь день ничего не делали — варили себе обед. 9 октября занимались и банились. Вечером наша рота отправилась на работы в колхоз. Убирали урожай в поле. Нас спросили, кто умеет косить, таких направят на косовищу проса и будут кормить пшенной молочной кашей. Вызвалось около 10 ребят, и я в том числе. Вечером уже косили просо в селе Хлебное.

12 октября 1942 г.

Уже год, как я не живу дома...

18 октября 1942 г.

Всю неделю косили просо, кроме вчерашнего дня. Кормили досыта, особенно, в первые дни. Теперь мы опять, наверное, двинемся в поход.

Работая в поле, я с удивлением обнаружил, что можно есть сырую капусту и сырую тыкву. Дома я такого себе и не представлял.

В колхозе однажды резали скот и нам налили в котелки свежей говяжьей крови. Объяснили, что если ее сварить на огне, получится вкусная еда. Действительно, кровь превратилась в серую массу, напоминающую жареную печенку. Правда, без соли много не съешь, но мы выпрашивали соль на кухне и с аппетитом поедали эту кровь. Оказалась очень питательная пища.

Сегодня были в бане, получили теплое белье. Скорее бы уехать из холодного хлева, где мы сейчас живем, ночуя на соломе.

20 октября 1942 г.

Вчера утром пошли в направлении станции Курдюм. Когда пришли, выяснилось, что состава для нас нет. Ругая в душе начальство, вернулись в село Губаревку. Вечером оказались в том же колхозе, правда, уже в другом хлеву, с дверями. Было относительно тепло, хотя ужасно тесно. Заняться было нечем, и мы легли спать.

24 октября 1942 г.

Нас перевели из хлева в квартиры. Я живу в избе вместе с другими курсантами. Всего нас здесь пятеро. Говорят, что скоро все же уедем.

26 октября 1942 г.

Сегодня сравнительно теплый осенний день, занимаемся. Вчера банились. Я оставался дневальным — помогал хозяину с дровами, их привезли целую тачку. Вчера тоже рубили хозяину дрова. Дюбанов подшивал хозяевам валенки. Они, видно, богатые люди, но невероятно скупые. Ничего нам не добавляют к нашему скудному питанию, кроме наглых, бессовестных советов (в чем это выражалось, я уже не помню; в памяти моей не сохранилось даже намек на то, что мы жили у каких-то хозяев). Помогать им далее нет никакой охоты. Может, Дюбанова сегодня и покормят, (он остался дневальным и все подшивает хозяевам валенки). Ну, ничего, слава Богу, день за днем проходит, может, уже скоро будем на фронте, может даже в этом году. Это все же лучше, чем прозябать здесь в жалких тыловых условиях. До конца года

осталось всего два месяца с небольшим. Скорее бы или конец войне.

28 октября 1942 г.

Вчера я решил привезти дров хозяину. Вдвоем с Дюбановым мы привезли одну тачку и, когда собрались ехать во второй раз, появился командир взвода и сообщил, что через полтора-два часа мы уезжаем. Хозяйка даже не предложила покушать.

В 2 часа дня мы вышли и уже к темноте были у станции Курдюм. Легли спать в скирде соломы... был ужасный холод, ноги почти отмерзли. Сегодня под утро поднялись и подошли к станции. Там нам дали концентратов, по 700 граммов хлеба. Мы сварили суп. У меня было несколько картофелин, я их добавил в суп из концентратов. Сахар и хлеб сразу же съел. Сегодня должны погрузиться в эшелон. Когда и куда поедет, неизвестно.

На этом дневник в книжечке из плаката заканчивается. На двух последних страницах описаны неисправности пулемета ДТ и данные для постройки моста из сосновых бревен грузоподъемностью в 30 тонн.

Следующий блокнотик я тоже сделал из плаката. Он содержит дневниковые записи с 1 ноября по 9 февраля следующего года на восемнадцати страницах. На верхней титульной странице написано: «Блок-нот. Виктор Долбня». На последней какая-то формула, вернее, ее вывод. Записи начинаются с 1 ноября.

1 ноября 1942 г.

Записывать некогда. Причину объясню потом. Ограничусь записью маршрута. 29 октября в 6 часов были на станции Ртищево, в ночь на 30-е — в Пензе, а 30 октября — в Сызрани. Уже потом, рассматривая этот маршрут по карте, я удивлялся, почему мы не поехали в Сызрань прямо, параллельно Волге, эта дорога была бы в два с четвертью раза короче. Может, она была занята другими эшелонами. Еще я увидел на карте, что по дороге на Ртищево у Аткарска мы пересекли Медведицу — реку, у которой я провел семь с половиной месяцев, находясь в хуторе Мокрове.

Помню, мы однажды долго стояли прямо в степи под какой-то возвышенностью. Мы пошли погулять, взошли на горку. В земле я увидел какие-то мелкие ракушки, закрученные спиралью, напоминающие по форме известные по школьным учебникам аммониты. Очевидно, это высокое место было когда-то дном моря.

В ночь на 31 октября мы были в Куйбышеве, а 1 ноября — в Уфе. Еще около 500 километров, и будем в Челябинске.

3 ноября 1942 г.

Сегодня имею возможность записать кое-что о дороге. Итак, 27 октября вышли из Губаревки и к полудню пришли к станции Курдюм. Спали в скирде и утром были на станции. Около 6 часов вечера погрузились в телячьи вагоны. На нарах, где я спал, была темнота, вылезать и тесниться перед дверью не было ни малейшей охоты, даже любоваться природой не хотелось. К тому же лежать под шинелью было теплее, а по причине темноты и записывать было невозможно.

Позавчера я кое-что записал. В тот день вечером у меня началась резь в животе, я отказался от ужина, сидел у дверей и, глядя на окружающий ландшафт, убедился, что все то, что мы учили по географии об Уральских горах – правда.

Утром 2 ноября приехали в Челябинск, а ночью выгрузились в Верхнем Уфалее. Спали в холодных казармах с окнами без стекол. Утепят ли их и скоро ли? Говорят, что здесь мы и остановимся. В дороге нас кормили сносно, как то будет теперь?

8 ноября 1942 г.

Постепенно в казармах обживаемся. Застеклили окна, правда, только одну раму из двух, упорядочили и вымыли нары. Сходили в баню. Кормят тоже неплохо, но кухня летняя, и работать там холодно. Я работал на кухне 6 и 7 числа, 6-го чуть приморозил левое ухо. После двух – трех типичных осенних дней с дождем и грязью стукнул мороз, доходящий до 20 градусов ниже нуля. Классы еще не оборудованы и мы не занимаемся. О празднике Октябрьской революции никто и не вспомнил.

10 ноября 1942 г.

Вчера начались занятия. Более всего я боюсь зимних холодов. Что я буду делать зимой со своими обмороженными руками, когда уже сейчас в шерстяных варежках (память о хуторе Мокрове) уже не чувствую пальцев. А еще впереди 20 дней ноября, декабрь, январь, февраль и март – 140 дней страданий от холода! Черт возьми войну с такими ужасными морозами! Урал – не Украина, здесь не разгуляешься, а занятия вне помещения проводятся каждый день!

14 ноября 1942 г.

Итак, через полмесяца я буду уже на фронте. Сегодня видел Ваню Плосконоса. Он в 4-м батальоне нашего полка, оставил мне свой адрес. Я рад, что теперь, будучи в «убитом» настроении, я смогу переписываться с другом.

18 ноября 1942 г.

Усиленно готовимся к зачетам. Водим танк, сегодня

стреляли из пулемета. Дела пока идут сносно. Узнал свой адрес: «Челябинская область, город Верхний Уфалей, п/я № 40, литер «Г».

23 ноября 1942 г.

Ночью радио сообщило, что от Сталинграда немцы отброшены до Дона. Возможно, это начало поражения немцев. Посмотрим, что будет дальше. Позавчера работал на радиополигоне. Впервые в моей жизни я ловил при помощи радиоприемника различные станции. До войны такая роскошь была у немногих, а с началом войны правительство все приемники конфисковало, чтобы оградить народ от вражеской пропаганды. Теперь же во время дежурства в паузах между сеансами связи я с упоением ловил далекие станции на коротковолновом диапазоне, в основном музыку, иногда сменяемую разговором на непонятных мне иностранных языках.

Скоро сдадим зачеты и сформируемся в экипажи. Я с каким-то удовольствием и радостью (непонятной и затаенной) ожидаю фронтовых будней. Мое сегодняшнее настроение резко отличается от того, что было у меня 14 ноября.

30 ноября 1942 г.

Сегодня идем в комендантский надзор (что скрывалось за этим понятием, я уже не помню). Предстоит пережить сутки холода. Дня через три – четыре начнутся зачеты, после чего отправимся или в Свердловск, или в Челябинск за машинами.

Завтра начинаются зимние месяцы. Включая март, мне остается пережить 120 дней холодов, да еще в боевой обстановке. Доживу ли я до весны 1943-го? И если доживу, то буду ли здоровым или никому не нужным калекой? И опять утешаю себя мыслью – будь, что будет, вся надежда на Бога.

6 декабря 1942 г.

Началась зима. Сегодня видел Ивана Чумакова, позавчера – Ивана Плосконоса. Вспоминали хутор Мокров. Мне кажется, что там прошли прекрасные дни. Я всегда буду с удовольствием вспоминать о них. Хочется посвятить им какое-либо стихотворение, но стихи до сих пор не идут в голову. Неужели я не смогу уже никогда сочинять хотя бы так дилетантски, как я это делал раньше? Во всяком случае, попробую.

11 декабря 1942 г.

Сегодня хочу кое-что записать. Дело в том, что 9-го вечером нам сообщили о начале зачетов. 10 декабря сдавали



радиодело и огневую подготовку. Радиодело я сдал неожиданно для себя на «4» с минусом, но потом вроде бы «минус» убрали. Зачеты по пулемету, гранате и винтовке сдал на «5». Сегодня с утра зачеты продолжались. Тактику и топографию сдал на «4». Сегодня вечером остается сдать последний зачет по радиообмену. Затем всех сдавших зачеты отправят на формирование в маршевую роту. Новый год, вероятнее всего, встретим в боях.

Как быстро меняются события в моей жизни! 1941 год я встречал дома. Я помню эти дни. Тогда началась моя дружба с Анатолием Евгеньевичем Васильевым. Счастливая жизнь, кажется, была тогда, хотя и не блестящая в материальном отношении.

Здесь уместно рассказать о моем друге Толе Васильеве. Появился он у нас в 9-м классе в сентябре 1940 года. Нас объединила общая увлеченность стихами. Он любил стихи запрещенного тогда Сергея Есенина и давал мне их читать, познакомил меня со многими песнями и стихотворениями, в частности с песней «Когда я на почте служил ямщиком...» и стихотворением К.Р. «Растворил я окно...» мы с ним тогда не знали, что под инициалами К.Р. скрывалось имя родного брата русского царя — Константина Романова. Как-то он подарил мне общую тетрадь в твердой обложке, и она хранится у меня до сих пор с пометкой, что эта тетрадь от него. Я так ее и не использовал 55 с лишним лет. Он был призван в армию раньше меня, так как после окончания 9-го класса сразу пошел в военное училище. Уже в начале войны я был крестным отцом его племянницы, дочери его старшей сестры. Жили они в большом многоквартирном доме на углу Валериановской и Грековской улиц. Погиб он в самом начале войны, о чем мои родители узнали от его сестры и подтвердили это, когда в 1944 году я приезжал с фронта на несколько дней в Харьков.

1942 год я встречал уже на чужбине в мирном хуторе Мокрове, скованном снегами и жестокими морозами.

А 1943 год я даже не представляю, где буду встречать, как и в каких условиях. Сам не знаю, почему мне сегодня так грустно, так болит сердце! Нет, это не от боязни фронта. Скорее всего, это страх перед неизвестностью. Это бывает со мной, когда приходится покидать то место, с которым сжился, а будущее — неизвестно.

Алексей Божко тоже сдал зачеты, вероятно, поедет в маршевую роту одновременно со мной.

16 декабря 1942 г.

Недавно едва не отправили на формирование 26 человек из

нашего взвода, но меня, Божко и еще двух курсантов в этом числе не было. Поговаривали, что троих из нас вообще оставят учиться на командиров. Относительно меня, то тут сыграло роль событие, о котором я записал в дневнике 3 января 1943 г. Однако, вероятнее всего, нас оставили для того, чтобы мы помогли отстающим курсантам сдать зачеты заново, после чего нас отправят со второй партией. Следующие зачеты будут 19 или 20 числа, и если все сдадут, то к 1 января будем в Свердловске или Челябинске. Если не все сдадут, то будут еще зачеты 30 декабря. В том или другом случае в первых числах января 1943 года мы уже будем в маршевых ротах. Возможно, там пробудем половину января. До отправки на фронт часть зимы пройдет.

Сейчас мне смешно, что я столь много писал тогда о холодах, которые были для меня даже страшнее войны, но после сорокоградусных морозов, которые я переносил почти в летней одежде, и тяжелого обморожения рук меня всегда охватывал страх, когда я думал о морозах.

18 декабря 1942 г.

Сегодня отправляется в маршевые роты часть ребят нашего взвода. Как не хочется оставаться в этих казармах! Думаем с Божко обратиться к командиру взвода с просьбой отправить нас тоже.

19 декабря 1942 г.

Вчера отправили курсантов в маршевые роты, присвоив им звания младших сержантов. А меня оставили, чтобы я подучил отставших. Я до смерти не хотел этого. Надеюсь, что после сдачи зачетов отстающими меня тоже отправят.

23 декабря 1942 г.

Я угадал. 20 декабря были зачеты, сдали их все отстававшие, а 22 декабря, когда я работал на кухне, нас сняли с наряда и оформили на выезд. Но еще почему-то не отправляют. Возможно, отправят и не скоро, но все же отправят, раз оформили! Хочется уехать поскорее, иначе 27-го снова заступим в очередной наряд, а мне это до смерти надоело.

26 декабря 1942 г.

Месяц на исходе, а нас все «маринуют». Через три дня ненавистный гарнизонный наряд! Когда же нас отправят?

27 декабря 1942 г.

Черт побери! Сегодня отправляют 17 человек из нашего взвода, и по оплошности писаря (так, по крайней мере, нам объяснили, а мы и поверили!) мы трое — я, Божко и Мережко снова остаемся до следующей отправки. Какая досада! Завтра ведь гарнизонный наряд. Это же какая-то злая ирония!

3 января 1943 г.

Еще никто не отправился в маршевые роты. Произошло много нового.

Во-первых, Новый год встретил отвратительно. Утром нас почти не накормили. Днем был смотр, мы изрядно намерзлись. Вечером зачем-то менялись помещениями с 4-м батальоном. Ночью перетаскивали в новое помещение радиостанцию.

31 декабря я был в гарнизонном наряде и, стоя на посту, наконец-то выдавил из себя жалкое четверостишие:

Непроглядная ночь над Уралом плывет,  
За окном воет ветер угрюмый.  
И опять я встречаю один Новый год  
С невеселой, тяжелой думой...

2 января утром были на занятиях, до обеда переносили вещи в новое помещение. После обеда я и Божко перевозили вещи техника-лейтенанта Лысенко. Он считал нас лучшими курсантами. Кроме того, у меня произошла с Лысенко любопытная история.

Однажды на занятиях он посетовал на то, что не может научить нас многому интересному в области радиопеленгации и ориентирования, так как у него нет таблиц логарифмов. Дело в том, что, когда учебный полк уезжал из Средней Ахтубы, многое из вещей пришлось бросить, в том числе и некоторые учебники. Среди них были оставлены и таблицы логарифмов.

Я поднял руку и задал вопрос — не устроят ли его четырехзначные таблицы? Лысенко спросил:

- А что, они у тебя есть?

- Да нет, — ответил я, — но я могу их составить в течение примерно десяти дней, если меня освободят от работы и нарядов.

Лысенко принял это за шутку или розыгрыш, но я объяснил ему, что в моей памяти сохранились две формулы, по которым можно вычислять логарифмы и антилогарифмы любых чисел с пятью знаками. Для точности пятую цифру можно отбросить и получить абсолютно точные четырехзначные таблицы.

Эти формулы были мне известны по следующей причине. Когда я учился в 8-м или 9-м классе, наш учитель математики Эдмонд Николаевич Юшкевич вел математический кружок. Мы как раз изучали логарифмы, и он предложил мне сделать доклад о том, что существуют две формулы, позволяющие обойтись без пятизначных таблиц. Они были опубликованы неким инженером Н.В. Погоржельским еще до революции в

одном математическом журнале. Я такой доклад сделал, и формулы мне запомнились. Сейчас я их припомнил и приступил к составлению таблиц. Забегая вперед, скажу, что это потрясло воображение Лысенко, он и вообразить себе не мог, что такие формулы могут существовать, и что восемнадцатилетний паренек может такое знать. Вдобавок к этому, я был лучшим курсантом по радиоделу, и Лысенко даже привлек меня к составлению вопросника (примерно 100 вопросов по устройству, эксплуатации и ремонту танковой радиостанции 9-Р и ответы на эти вопросы), который он использовал для проверки знаний курсантов и для обучения. Таким образом, я был признанным его ближайшим помощником в проведении занятий.

Вечером нас перевели в 1-й взвод 2-й роты. Там все командиры и большинство курсантов — новые незнакомые люди. Сегодня заступили опять (черт возьми!) в гарнизонный наряд, и наш новый 4-й батальон будет в наряде до 15-го января. Я опять назначен в караул. Вот так ирония судьбы! Только что, в третьем батальоне, разделался с гарнизонным нарядом, как нас перевели в 4-й батальон, который только заступает в наряд. Снова придется мерзнуть на посту 4-5 дней. Вообще-то 4-й батальон оборудован хорошо, но в столовой беспорядок. Когда же мы уедем?

Во взводе какой-то хаос, все нам незнакомо. Я теряюсь совершенно. Кстати, в четвертой роте Ваня Плосконос.

Только что узнал, что в караул иду не я, а другой Долбня — курсант-однофамилец, из второго взвода. Я остаюсь. Недавно закончил составлять для Лысенко таблицы пятизначных логарифмов от 1 до 99, приступил к составлению таблиц от 101 до 999.

Хотелось много еще записать, но в теперешней хаотической обстановке не соберусь с мыслями. Запишу позже. Все-таки в наряде быть придется.

## 8-й ЗАПАСНОЙ ТАНКОВЫЙ ПОЛК

7 января 1943 г.

Много кое-чего произошло за последние четыре дня. 4 января я целый день проработал над таблицами логарифмов и почти их закончил. 5 января утром вдруг объявили отpravку. В 2 часа дня выдали сухой паек на 6 января, и мы погрузились в вагоны. Из нашего батальона было 30 человек, из остальных трех — по 60. Из Верхнего Уфалея выехали лишь утром 6 января.

Прощаясь с Лысенко, я отдал ему неоконченные таблицы, думаю, остальное он доделает сам при помощи формул Погоржельского. Он сказал, что добивался моего оставления для преподавания в учебном полку, но ничего не получилось. Да мне и не хотелось, все мы рвались на фронт.

В ночь на 7 января приехали в Свердловск. Покормили нас в 7 или 8 часов вечера, дали сразу и обед и ужин. Еда очень понравилась. Пока ничего определенного о дальнейшей нашей судьбе узнать не удалось. Кстати, Иван Плосконос еще остался в Верхнем Уфалее, видимо, прибудет со следующей командой.

Сегодня Рождество. Мне в хуторе говорили, (хотя я об этом слышал и раньше), что на Святки — с 7 по 18 января — погода каждого дня будет соответствовать погоде того или другого месяца. Так, 7 января соответствует январю, 8 — февралю и так далее. День сейчас безветренный и чертовски морозный. Следовательно, и весь январь будет таким же. Я немного верю приметам, поэтому буду записывать погоду каждого дня Святки.

8 января 1943 г.

Кормят нас отлично. Утром ходили в великолепную баню. После этого нас разбили по экипажам. Мы с Божко оказались в одной 49-й маршевой и 4-й учебной роте. Я в первом взводе — радистом у командира взвода. Взвод включает в себя три танка Т-34. Радиостанция и радист только у командира взвода, остальные машины (линейные) радиостанций не имеют, а на месте радиста-пулеметчика сидит просто пулеметчик. Три взвода составляют танковую роту.

О командире взвода пока ничего не знаю. Зато механик-водитель — бывалый боец. Он 1915 года рождения, танкистом служит с 1937 года. Четырежды ранен, соответственно четыре раза бывал в боях (а может, и больше). Башенный стрелок 1922 года рождения, тоже фронтовик.

Сегодня день морозный, немного ветреный, но мороз слабее, чем вчера. По приметам таким будет февраль.

9 января 1943 г.

День гораздо теплее, чем два предыдущих, но морозный. Значит, в марте будет полегче.

10 января 1943 г.

Сейчас утро. Похоже, что день будет еще теплее (это на апрель!). Сегодня, вероятно, пойдем на работы. Однут нас в теплое или нет? При таких морозах много не работаешь. Пока об этом ничего не известно.

13 января 1943 г.

Нас таки обмундировали. Заменяли хлопчатобумажные

брюки на ватные и выдали ватные фуфайки, а также заменили шинели. Пока занятий нет, но ходим на работы. Страшно мерзнут руки и ноги.

Один раз нас вывели на площадку и поручили выдолбить ямки под столбы диаметром 20 см и глубиной 45 см, норма была дана каждому по одной ямке за день. Мы работали по двое, один с железным ломом, другой с лопатой. Холодный лом обжигал руки даже через рукавицы. Это была адская работа. Замерзшая глина (мороз был около 40–45 град.) была как камень, лом от нее просто отскакивал. Долбили по крохам, но за день, все же, по ямке на брата сделали.

15 января 1943 г.

Меня постигла очередная беда. Вчера вечером нас послали на разгрузку вагонов, носили какие-то ящики, похоже, что со снарядами. Мы были в ботиночках на одну портянку, и я тяжело отморозил пальцы на обеих ногах. На трех пальцах вскочили волдыри. Ходить я совершенно не могу. В санчасть не поместили, валяюсь на нарах на второй полке. Все ужасаются, видя мои ноги, значит обморожение тяжелое. Выходит, что я не зря боялся этой зимы!

16 января 1942 г.

Кроме пальцев на ногах я в тот же день сильно обморозил нос. Он весь покрыт белой пленкой и коричневой коркой. В общем — отличился. И теперь я уже боюсь, что если еще раз так тяжело обморозу ноги, то могу остаться на всю жизнь калеккой. Но решил гнать тяжелые мысли.

19 января 1943 г.

Сегодня Крещение, но мороз спал. Вчера в санчасти волдыри на ногах прокололи. Еще никуда не выхожу. Послезавтра иду на перевязку.

20 января 1943 г.

Вчера закончил составлять четырехзначные таблицы логарифмов первой тысячи. Осталось составить пропорциональные таблицы для интерполяции.

23 января 1943 г.

Я все еще освобожден от ходьбы. Но сегодня уже должны выписать, иду в санчасть. Нас всех перевели в другую казарму. Новостей никаких нет.

Сейчас немного теплее, чем в предыдущие дни, однако зима еще впереди. Может быть, большую часть оставшихся морозов проведу в условиях фронта.

25 января 1943 г.

Кто-то начал вырывать стихи из моей тетради. До слез обидно на таких товарищей. Хорошо, что по памяти я все могу восстановить.

26 января 1943 г.

Сегодня я болею последний день. Завтра иду на работу в мороз и холод. Но не нужно бояться этого. Просто, я привык сидеть в тепле, а ведь другие работают, и у них все в порядке. Думаю, что теперь это не так будет неприятно, как в это же время год назад, когда я работал в хуторе на молочной ферме.

Говорят, что скоро начнутся занятия.

3 февраля 1943 г.

Вчера начались занятия, которые будут продолжаться до 14 февраля. Может быть, к марту выедем на фронт, тогда останется терпеть холода не более месяца. Занятия проходят интересно. Вчера большую часть дня провели на воздухе (тактика) а также изучали пушку. Сегодня до обеда изучали снаряды. После обеда резко потеплело. Сейчас едем на завод, будем знакомиться с танком в процессе его сборки.

8 февраля 1943 г.

Вчера занятий не было, весь день занимались уборкой городка. Очень расстроился из-за того, что холода так на меня действуют. Это все последствия моих обморожений в прошлую и эту зимы. Мне совестно перед моими товарищами. Они находятся в таких же условиях, но держатся более достойно. Надо взять себя в руки и вести себя не хуже их, иначе они будут относиться ко мне с пренебрежением.

Ноги мои пока в сохранности, так как хожу в валенках, которые нам наконец-то выдали. На дворе стало теплеть. Эти дни солнце греет сильнее, и снег слегка подтаивает под его лучами. Осталась по моим подсчетам треть морозных дней этой зимы.

9 февраля 1943 г.

Все эти дни относительно теплые. Если утром и бывает «славный» морозец, то часам к трем-четырем дня заметно теплеет. Ноги постепенно заживают.

Вчера была тактика, ездили на танках, очень интересно. Проезжая по опушке леса мимо железнодорожного полотна, мы заметили будку путевого обходчика, остановились возле нее и зашли погреться. Железнодорожник посетовал, что, хотя и находится почти в лесу, но с дровами у него плохо, так как рубить деревья им не разрешают, а все поваленные, что были поблизости, давно использовали на топливо и дров достать негде. Вот, если бы дерево упало под ветром или по другой причине, его тоже можно бы было использовать на дрова.

Наш механик-водитель предложил: а что, если сосну

свалить танком? Предложение всем понравилось, наш командир машины, как и я — новичок в танковых вопросах, полностью положился на механика. Мы сели в машину и подъехали к краю леса. Замедлив ход, механик наехал на сосенку диаметром около 20 сантиметров. Мы в танке даже ничего не почувствовали, машину лишь слегка качнуло да сквозь грохот двигателя послышался треск. Когда через мгновение мы остановились и вышли из машины, увидели позади поваленный ствол сосны с ветвями, обломанными гусеницами танка.

Путевой обходчик был очень доволен «подарком» и тут же принялся топором обрубать ветви и носить их к сторожке.

Осталось три дня учений, день стрельбы и день для зачетов. Сейчас меня мучает фурункул не шее. На меня прямо валятся неприятности одна за другой. Стараюсь не падать духом, вспомнив поучительное изречение Фридриха Ш, приведенное на одной медали, что была в моей домашней коллекции: «Lerne Leiden ohne zu Klagen» («Учись страдать безропотно»).

На этом закончилась моя записная книжечка, сделанная из половины плаката с текстом:

«Товарищи красноармейцы! Не жалеите ни времени, ни сил на учебу и закалку.

Тяжело в учении — легко в бою».

Как я уже упоминал в записи от 3 февраля, мы работали на заводе, номер которого — 76. Этот завод выпускает дизельные двигатели для танков. Нас использовали на различных участках сборочного конвейера. На одном из участков проверялись и промывались 12-плунжерные насосы для впрыскивания газойля в цилиндры двигателя. После промывки форсунки насоса нужно было обернуть пергаментной бумагой, которая была нарезана кусочками размером примерно 10X10 сантиметров. Кроме того, там была грубая оберточная бумага. Вот из этой бумаги я и сделал себе книжечку. Первые записи, начиная с 12 февраля по 27 февраля я сделал, правда, не в книжечке, а просто на полоске оберточной бумаги.

12 февраля 1943 г.

Вчера на полигоне были стрельбы из орудия при движении танка, а также стрельба из нагана и автомата ППШ. И тут я попал в историю.

Дело в том, что мой механик-водитель, о котором я уже упоминал, дал дельный совет из своего боевого опыта. Когда танк идет в бой, нужно быть готовым ко всему, в том числе и к эвакуации из подбитой машины через десантный люк в



днище танка. Этот люк находится под ногами радиста-пулеметчика. В критический момент через него вылезает первым радист, затем по старшинству — командир машины, спускаясь из башни через освободившееся место радиста. Третьим выползает механик-водитель и последним — башенный стрелок. Десантный люк открывается на петлях вниз. Если бы люк открывался внутрь, его могло бы вырвать взрывной волной при наезде танка на мину. Люк удерживается 12-ю барашками. Конечно, есть угроза, что под люком окажется кочка или пень, тогда опустить крышку люка полностью не удастся и придется выходить из танка либо через люк механика-водителя, либо через люки командира или башенного стрелка сверху башни. Но под огнем противника это было бы равносильно самоубийству.

Для того чтобы быстро опустить крышку люка, бывалые танкисты, идя в бой, свинчивают 8 или 10 барашков из двенадцати. Поскольку и на этих учениях могла поступить команда эвакуироваться через десантный люк, механик посоветовал мне свернуть 10 барашков, оставив всего два, противоположных петле. Я так и сделал.

Видимо, я перестарался и почти полностью свернул с резьбы и два оставшихся барашка. Во время тряски, когда мы ехали вперед и стреляли из пушки, барашки соскочили и крышка люка опустилась вниз. Петля крышки расположена спереди по ходу машины, поэтому крышка просто скользила по поверхности почвы. Просвет между днищем и землей (клиренс) у танка Т-34 составляет 40 сантиметров.

Вдруг поступила команда двигаться задним ходом и в таком состоянии сделать еще выстрел из орудия по мишени. Во время движения где-то на поверхности грунта оказалась кочка, люк за нее зацепился, в результате петля была сорвана, а крышка упала на землю. Я этого даже не заметил, но когда сдавали машину местному механику, за которым она была закреплена, и он обнаружил поломку, разразился страшный скандал. Механик грозился передать на меня дело в трибунал, так как я испортил боевую машину. Что такое трибунал, мы уже знали.

Однажды, еще в 39-м учебном танковом полку один из курсантов, будучи часовым у вещевого склада, открыл окно и штыком ружья подцепил из ящика кусок хозяйственного мыла, которое он будучи как и все мы, постоянно голодным, хотел поменять у местных жителей на хлеб. Каким-то образом он попался, на штыке ружья нашли следы мыла, и его судил трибунал прямо у нас в части. Ему дали 10 лет

тюрьмы с заменой на три месяца штрафной роты. Эти роты только-только появились по приказу Сталина, и их комплектация была весьма актуальным вопросом.

Примерно это грозило и мне, но угроза, к счастью, осталась на словах, местный механик сжалился и починил люк, не заявив на меня командованию полка.

Нам продлили срок обучения еще на 5 суток. К 20 февраля обучение должны закончить.

Меня радуют успехи на фронте, линия которого на сегодня проходит через Курск, Белгород, Волчанск, Чугуев, Балаклею, Лозовую. Это направление на Харьков. На других направлениях не хуже. Когда услышу об освобождении Харькова, буду писать домой.

Меня все больше беспокоит шея. Это уже не фурункул, а огромная, сантиметров пять в диаметре, опухоль. Возможно, еще предстоит операция. Сегодня иду по этому поводу в санчасть.

13 февраля 1943 г.

Вчера ходил в санчасть. Оттуда направили в городскую поликлинику. Там нарыв вскрыли. Было немного больно. Освободили от работы до 16 февраля, потом нужно прибыть на перевязку.

Заниматься скоро закончим.

Сегодня передали, что наши войска взяли четыре города, в том числе и на Донбассе. Скорее бы освободили Харьков!

16 февраля 1943 г.

Уже освобождены Ростов и Ворошиловоград. Давно уже взята Рогань, что под Харьковом. Жду очереди Харькова.

Сегодня был в поликлинике, освободили от работы до 19 февраля. Дни по утрам морозные, но к обеду теплеет. Занятия сегодня заканчиваем.

18 февраля 1943 г.

В ночь с 16 на 17 февраля радио сообщило об освобождении Харькова. На сегодня заняты несколько станций, в том числе и Змиев. Вчера я послал письмо домой на квадратных кусочках бумаги, которой заворачиваем форсунки плунжерного насоса на заводе. Надежды на то, что мама уцелела, мало, но не написать было бы неразумно. Буду писать в Харьков каждую среду.

Жизнь проходит нормально. Кормят неплохо. Шея моя заживает.

Машины получать будем, очевидно, еще не скоро, может даже и не здесь, а поедем для этого в Нижний Тагил.

Холода скоро кончатся, во всяком случае, при наличии валенок пережить оставшиеся холодные дни можно.

19 февраля 1943 г.

Сегодня уже направили на работу на строительство. Но я с утра ушел в поликлинику на перевязку, и там дали освобождение от работы до 23 февраля.

21 февраля 1943 г.

Нас направили на работу на 76-й завод опять на интересный участок — сборка танкового двигателя В-2. Думаю, что это поможет мне хорошо изучить мотор и стать в дальнейшем не только радистом, но и механиком-водителем, что было бы совсем неплохо.

Кормят с каждым днем все хуже. Обещали давать добавочный обед на заводе, но только обещали.

По радио объявили, что освобождены Павлоград, Красноград, Люботин, Мерефа, Покотиловка.

23 февраля 1943 г.

Вчера нам надели погоны вместо петлиц в соответствии с новой формой. Сегодня в честь празднования Дня Красной Армии — день отдыха. Утром на завтрак дали даже по кусочку масла, в остальном кормили не лучше, чем всегда. Сегодня еще будет художественная часть.

27 февраля 1943 г.

Работаем по-прежнему на заводе. Стали давать дополнительный обед за 1 рубль 30 копеек. Денег у меня уже нет, спасибо нашему механику-водителю Михайлову, он мне одалживает.

На дворе с каждым днем теплеет. По календарю завтра конец зиме, но это, видимо, не для Урала. 24 февраля написал письмо домой, третье напишу 3-го марта.

Кормят нас все хуже и хуже.

На этом заканчиваются записи на отдельном листе. Из остатков разных бумаг я соорудил блокнот с массивными картонными корочками от переплета какой-то книги. Чтобы он не растрепался, я переплет отделал тонким медным листом, который подобрал в отходах на заводе. На медной поверхности переплета острым шилом выдавил узоры, свое имя и год — 1943. На обороте первой страницы вывел надпись: «Дневник. Начат 1 марта 1943 и окончен.....года» а также свою подпись.

Со второй страницы начинается текст.

Весна 1943 года.

1 марта 1943г.

Началась весна. Что сулит она мне? Какие принесет мне радости и какие горести? От этой весны я кое-чего ожидаю. Услышу ли я вести с Родины и какие это будут вести? Какая

судьба ожидает меня? Слишком много вопросов. Все же, как радостно встречать весну, ведь это прекрасная пора года! Здравствуй, весна!

3 марта 1943 г.

Сегодня напишу третье письмо домой. На заводе работаем в ночную смену. С заводскими обедами что-то дела не ладятся. Вчера ничего не дали, что будет сегодня — увидим. Вот прогудела сирена, час тридцать ночи, перерыв на обед. Валенки сдал — в них уже тяжело ходить. Ноги медленно заживают, шея тоже. Дождусь перерыва и пойду в санчасть.

4 марта 1943 г.

Весна берет свое. Снег постепенно подтаивает. В остальном все по-старому. Жду не дождусь письма из дому.

6 марта 1943 г.

Сегодня рота заступает в наряд. Я не знаю, куда попаду, но без валенок будет плохо — на дворе похолодало. Спал лишь 4 часа.

8 марта 1943г.

На заводе уже работать не будем. Перешли на строительство военгородка. Начались холода, что сильно беспокоит мои ноги. После обморожения они стали чувствительны даже не к морозу, а просто к холоду. Если дальше будет невыносимо, попрошу снова выдать валенки. В остальном все в порядке. Домой письмо напишу 11 марта.

10 марта 1943 г.

Неутешительные известия. Радио сообщило о сдаче немцам Краснограда, Павлограда, Лозовой, Красноармейска, Краматорска, Лисичанска и Барвенково. Харьков под прямой угрозой. Завтра пишу четвертое письмо, может, уже последнее.

Похолодание продолжается, хотя сегодня и теплее вчерашнего. Ноги пока терпят, хотя мы весь день работали на воздухе. В остальном все по-прежнему.

15 марта 1943 г.

Дни идут. Вместе с ними уходят и морозы, которые бывают по утрам, до обеда. Наша рота ходит либо на работы, либо в наряд. Сейчас ночь на 15 марта, нахожусь в гарнизонном карауле. О Харькове известия тревожные. Пожалуй, больше писем писать туда не придется. Впрочем, 19 марта (время отправки пятого письма) я запишу об этом.

Вечер. Только что прочел сводку — бои уже в северной части Харькова. Неужели не удастся удержать город? Как мне не везет!

16 марта 1943 г.

Вчера Харьков сдали!..

18 марта 1943 г.

На дворе по-прежнему холода, только в полдень слегка подтаивает. Неужели холодно будет и в апреле?

Сейчас заступили в караул. Между прочим, начались повторные занятия. Со дня на день ждем получения машин. Хотя бы скорее!

Я до сих пор не написал, как зовут членов моего экипажа. Командир машины, он же командир взвода — лейтенант Болотов Павел Иванович. Механик-водитель — старший сержант Михайлов Василий Алексеевич. Башенный стрелок — сержант Мороз Иван Дмитриевич. Люди неплохие, боюсь лишь, что со своими бесконечными болячками я неважный для них компаньон.

20 марта 1943 г.

Когда же будет тепло? Целый день зябнем на холоде, а по утрам бывают приличные морозы. Скоро наступит второй месяц весны, а тепла все нет. Может, оно наступит в мае или июне? Но до этого времени мы вырвемся на фронт. Хотя бы скорее! Кормят все хуже и хуже. Дают уже по 200 граммов хлеба на день. Говорят, что это 12-я тыловая норма. Трижды в день суп — просто мутная вода. На ужин, тем не менее, дают по маленькому кусочку красной рыбы. У этой рыбы жесткая твердая шкурка. На кухне ее сдирают и выбрасывают на помойку. Мы эти шкурки собираем, складываем в котелок и варим в отопительных печах. Получается рыбный суп, а вареные шкурки становятся съедобными.

23 марта 1943 г.

Черт возьми! Конец марта, а морозы жуткие, как зимой. Вчера были в наряде на кухне. Работая здесь, мы набираем пицци для своих офицеров — трех комвзводов и командира роты. Офицеры питаются в отдельной офицерской столовой, но кормят их еще хуже, чем нас, поэтому, находясь в наряде на кухне, мы набираем в котелок супа погуще и передаем им.

Когда бывшие фронтовики (Михайлов и другие) говорят нам, что на фронте дают такую густую кашу, что можно в нее воткнуть ложку, и она не упадет, никто им не верит. Мы настолько отвыкли от разных каш и густых супов, что такие разговоры считаем просто фантазией рассказчиков.

Сегодня ночью едем на машинах в учебную поездку. Придется изрядно померзнуть — в машине даже холоднее, чем снаружи, к броне страшно дотронуться. Когда же, наконец, потеплеет?

25 марта 1943 г.

Вчера заступили в наряд. Сейчас ночь на 26 марта. Я сижу в теплом помещении технических классов, куда назначен

дневальным. С 27 на 28 марта заступим в полковой караул, а с 30 на 31 марта опять в наряд на кухню. С 1 апреля должны бы получать машины. Жду этого часа.

Стихи так и не идут в голову. Моя поэма о хуторе Мокрове так и приостановилась на прологе. Для памяти запишу его. Он был написан в черновом варианте без окончательной обработки. Звучит слабо — дома я писал лучше.

Непроглядная ночь над Уралом плывет,  
За окном воет ветер угрюмый.  
Я, как прежде, встречаю один новый год  
С невеселой, тяжелой думой...

Позаброшенный злою судьбой на Урал,  
Забывая лихие невзгоды,  
Я с тоскою глубокой не раз вспоминал  
Пролетевшие юные годы.

Пред глазами моими нередко встает  
Усыпленный дремотой сонливой  
Хуторок, где я также провел Новый год  
Вдалеке от Отчизны любимой.

Там провел я свои одинокие дни...  
Как печальны, грустны они были!  
Все ж, сдается, целебным лекарством они  
Для разбитой души послужили.

И поэтому мне не забыть этих дней,  
С теплым чувством я их вспоминаю,  
И поэму свою, плод бессонных ночей  
С благодарностью им посвящаю!

Вот и все. Может, будет время и желание писать дальше, а пока умолкаю.

29 марта 1943 г.

Сегодня последний день повторных занятий. Завтра зачеты, а потом вскоре и получение машин. На дворе начало теплеть. Скоро должен полностью стаять снег. Завтра, похоже, идем в наряд на кухню.

30 марта 1943 г.

Вчера занятий не было — работали. Около 4-х часов дня меня и еще троих ребят сняли с наряда и отправили в командировку за 60 километров от Свердловска. Мы должны привезти в часть картофель для кухни. Поедем на танковом тягаче (ходовая часть танка, но без башни), к которому прицеплены огромные сани, величиной не меньше, если не больше танка. Нам выписали продукты на двое суток. Выехать все же не удалось, тягач был неисправным. К 1 апреля теперь, конечно, не вернемся.

31 марта 1943 г.

Вчера все же вечером выехали и прибыли в городок Арамиль — около 20 километров к юго-востоку от Свердловска. До места назначения еще около 10 километров, но не хватило горючего. Переночевали на какой-то квартире. Сегодня утром сопровождающая нас кладовщица уехала в Свердловск за продуктами на 1 апреля и за горючим.

Весь день мы отдыхали. Продукты нам не подвезли, а те, что у нас были, заканчиваются.

У хозяина, где мы на квартире, оказалось много книг. Среди них я обнаружил очень ценные для меня. Жаль, что не смогу за такое короткое время с ними познакомиться. Увидел, кстати, и таблицы логарифмов, на которые в свое время потратил столько сил, а также книжку с описанием приемов вычислений на канцелярских счетах, об упрощенных действиях над числами, а также самоучитель стенографии. Еще школьником я мечтал научиться стенографировать, но такой литературы мне не попадалось, я бы много за нее дал. А теперь все же не удержался и переписал себе стенографические знаки, попробую освоить.

На дворе заметно потеплело.

3 апреля 1943 г.

1 апреля приехал лейтенант, привез горючее и продукты. Утром мы прибыли в совхоз и начали грузить картофель. К вечеру сани загрузили, плотно поужинали вареной картошкой. В совхозе нам выдали также немного молока. Ночь мы дежурили у саней, а утром снова поехали в Арамиль. Там позавтракали, ели картошку с маслом и молоком, была горчица и даже пиво. Впервые в своей жизни я попробовал, хотя и легкое, но спиртное.

Дома я спиртного в рот не брал — ни пива, ни вина или наливки, не говоря уже о чем-то более крепком. Неудивительно, что пиво вскружило голову. После завтрака поехали дальше. В Уктусе нам дали буханку хлеба на 6 человек. Вечером мы приехали в часть. Оказалось, что наша рота уже уехала в Нижний Тагил. Дело в том, что машин, выпускаемых «Уралмашем» в Свердловске, на все маршевые роты не хватало. Поэтому часть рот отправили в Нижний Тагил, где тоже выпускались танки. Мы переночевали, и сегодня едем в Нижний Тагил догонять своих.

Тогда я и не подозревал, что именно в Нижний Тагил был эвакуирован Харьковский завод, выпускавший танки Т-34, которые были созданы харьковскими конструкторами Кошкиным и Морозовым. Если бы я это тогда знал, может быть, среди рабочих завода я бы нашел знакомых

харьковчан.

4 апреля 1943 г.

Вчера во второй половине дня поехали на вокзал, и в 6.30 поезд отъехал из Свердловска. Ночью прибыли в Нижний Тагил. Пошли на трамвайную остановку. Я не успел втиснуться в переполненный трамвай и отстал. Со мной остался также лейтенант Сысоев (видимо, это один командиров машины нашей роты). Мы сели в следующий подошедший трамвай и приехали в какую-то казарму. Переночевали, а сегодня уже прибудем в свою часть. Со вчерашнего обеда еще ничего не ели, но у нас осталось еще по пачке концентратов и вещмешок картошки. Что будут делать ребята с этими продуктами, не знаю.

Начал изучать стенографию. Когда освою, буду в дневнике писать знаками. Повторяю ими последнее предложение (далее идут две строчки стенографическими знаками).

5 апреля 1943 г.

Вчера прибыли в часть.

10 апреля 1943 г.

В части понемногу обжились. Нахожусь в восьмой учебной танковой роте 2-го батальона 2-го учебного танкового полка. Маршевая рота имеет номер 22/11. Казармы здесь лучше свердловских, кормят тоже чуть лучше, чем там. Занимаемся. Вчера на стрельбище наша рота показала хорошие результаты. Обещают скоро выдать машины.

На дворе стоит теплая солнечная погода, плохо лишь, что слишком грязно. Здесь нас заново переобмундировали (далее опять идет строка стенографическими знаками, но прочесть ее мне не удалось).

12 апреля 1943 г.

Сегодня минуло полтора года, как я ушел из дому. Срок, как будто, небольшой, но мне сдается, что с тех пор прошло уже много, много лет. Как-то свыкаешься с такой жизнью, хотя дом вспоминается часто. Чувство горести у меня уже не такое, какое было в первый год скитаний. Можно прямо сказать, что душевные раны заживают. Меня уже не прошибают слезы, когда вспоминаю мать или отца, а брата я уже не видел четыре года — он был призван в армию в 1939 году, так что тут и говорить не о чем. Действительно, что значит молодость! Какая она беспечная и забывчивая! Разве мама моя, если она жива, хотя бы минуту не думает обо мне? Или о брате, или об отце? Нет, сердце матери их никогда не забудет и до конца жизни будет обливаться



кровью. Неужели я не увижу никогда свою бедную мать и остальных родных? Господи, пошли конец этой войне, конец, которого еще не видно!

15 апреля 1943 г.

Чувствуется, что вот-вот будем получать машины. Уже все готово, списки и прочее. Вот только жаль, что мы не получили их в Свердловске. На «Уралмаше» танки делают с литыми башнями, а здесь – со сварными. Они гораздо слабее литых – менее прочные. Все равно хочется скорее получить машину и уехать отсюда.

Сегодня нахожусь в карауле. Погода ветреная и холодная, но это ничего. Осталось отстоять еще 4 часа и все.

20 апреля 1943 г.

Вчера несколько человек, в том числе и меня, сфотографировали для книги почета, как отличников боевой подготовки. На руки дадут по три карточки размером 3X4 сантиметра. Две оставлю себе, одной сменяюсь с Алексеем Божко.

Все говорили, что вот-вот пойдем получать машины, а теперь опять надежда пропала. Теперь очередь нашей роты только 26 апреля. Если и тогда не получим, то ждать придется до мая и больше.

Уезжая из Верхнего Уфалея, я отдал формулы для нахождения логарифмов технику-лейтенанту Лысенко, но переписал их также и себе. Теперь их не найду – где-то затерял. У меня дома сохранилась та тетрадь, в которой я конспектировал статью Погоржельского во время подготовки доклада в школьном кружке. Я разыскал ее и сверил формулы и пояснения с теми, что я записал тогда в блокноте. Я поражаюсь и сейчас тому, что моя память сохранила эти формулы и указания о допустимых сокращениях и округлениях чисел без малейшей неточности спустя два года после того, как я имел с ними дело.

24 апреля 1943 г.

Сегодня день полон переменчивыми настроениями. Находимся в карауле и каждую минуту получаем немаловажные для нас новости. Утром сообщили, что наша рота получит сегодня машины. Когда радость наша достигла зенита, пришло известие, что машины получим завтра. Мы немного остыли от возбуждения, как вдруг удар грома среди ясного неба: нашу роту заменили другой, а мы получим машины только в середине мая. Проклятие! Над нами висит какой-то злой рок. Еще столько времени терпеть! Впрочем, судьба знает, как поступать! Возможно, это все к лучшему. Сейчас есть еще слабая надежда, что отправимся на завод за

машинами сегодня вечером.

Ко всему этому сегодня по моей просьбе Михайлов получил на меня обед, потом кому-то не хватило одной порции второго блюда, обвинили его, а он — меня за то, что я, дескать, попросил его получить на меня обед, и из-за этого вышла путаница. Мы поругались, и, кажется, после этого отношения наши испортились. Хуже всего, когда нарушается дружба в экипаже, да еще перед отправкой на фронт. Как я хотел избежать этого!

25 апреля 1943 г.

Опять разговоры, что сегодня получим машины. Кстати, сегодня Святая Пасха. Вспоминаю Пасху прошлого года на Дону и позапрошлого — дома. Тогда я писал на олимпиаде работу по немецкому языку в институте иностранных языков и получил пятерку, хотя первого места и не занял.

Настроение у меня приподнятое. Если бы еще получить машину, то был бы праздник вдвойне. Тогда мы покинем хмурый Урал, и начнется боевая жизнь. Христос воскрес!

29 апреля 1943 г.

Я не ошибся в предчувствиях. 25 апреля после обеда мы пошли на завод и получили танк под номером 33538. Это было ночью. Перед утром получили комплектующие детали — триплексы, оптику, радиостанцию и танковое переговорное устройство. Этим оборудованием уже сами доукомплектовывали машину.

Днем 26 апреля заправляли танк горючим и продолжали доукомплектовывать. К вечеру в основном все закончили.

Утром 27 апреля машину вывели в тир и произвели пристрелку орудия и пулеметов. После этого танк поставили на железнодорожную платформу, которую вывезли на заводской путь. Затем пришлось попотеть — загрузили в машину 99 снарядов для пушки 76 мм калибра. Это была очень тяжелая работа. Снаряды были упакованы в ящики по 3 или 4 штуки. Тащить такой ящик вдвоем было очень тяжело и неудобно. Мне было легче разбить ящик и носить снаряды на плечах сразу по два. Боеукладка в танке меньше, но нам посоветовали брать снарядов как можно больше, заполняя все свободное место. Вместились 99 снарядов, сотый поместить уже было некуда.

К вечеру мы все закончили. Вчера приводили машину в порядок, помыли и покрасили свежей зеленой краской. Вечером погрузились в вагоны — телячьи теплушки.

Помню, кто-то сказал, что в одном из литейных цехов есть патока. Решили ее набрать, чтобы с нею пить чай. Была глухая ночь, цех был огромный и совершенно безлюдный.

Было как-то жутко по нему идти, казалось, что находишься на какой-то другой планете. Я добрался до бака с патокой и зачерпнул котелком. Патока предназначалась для формовки в литейном производстве. Она была перемешана с опилками. Наверное, туда была домешана и еще какая-то гадость, чтобы рабочие ее не расхищали. Мы этого не знали. После того, как мы ее попробовали, страшно резало в животе и тошнило. Пришлось от этого лакомства отказаться, хорошо еще, что не было никаких последствий.

Нам выдали сухой паек и неприкосновенный запас (НЗ). Ночью мы выехали. Сначала нас тащил паровоз, а с утра и до вечера — электровоз.

Утром проехали станцию Сан-Дonato, потом еще какие-то мелкие. Говорят, едем к Чусовской, потом на Горький. Урал наконец-то остался позади.

Проехали реку Чусовую и едем дальше.

30 апреля 1943 г.

В 3 часа дня я заступил дневальным по вагону. Часа в 4 проехали станцию Левшино. К шести часам справа показалась река Кама и мы подъехали к Перми. Там пообедали, нам выдали сухие продукты, и мы легли спать. Говорят, что будем ехать через Москву.

1 мая 1943 г.

Вчера вечером на какой-то большой станции еще раз поели в столовой, потом легли спать. Ехали всю ночь. Сегодня день холодный, пасмурный. Днем варил суп. В своем экипаже я за повара.

Мы предполагаем, что поедем через Курск, другие говорят, что поедем по другой ветке — южнее.

Одной из трех выданных нам фотографий я, как и предполагал, обменялся с Божко. Это единственный человек, с которым я вместе уже полтора года. Мы уже были вместе еще в Сталинграде, до поездки в хутор Мокров. Теперь мы в одной танковой роте, он тоже радист у своего командира взвода. Я на снимке вышел получше других. Здесь я помещаю оба снимка.

Сейчас объявили, что едем все же через город Киров, до него осталось 6 километров. Сказали, что там будет праздничный обед с водкой в честь празднования 1-го мая.

Все было преувеличено. В Кирове, правда, покормили неплохим обедом, но не таким хорошим, как обещали, и, конечно, без всякой выпивки. Сейчас находимся еще на станции. Следующим крупным городом должен быть Горький.

2 мая 1943 г.

Ночью проехали станцию Свеча. Двигаемся к Ярославлю. В полдень были на станции Буй. Природа красивая, дни то теплые, то холодные. Начались конфликты с экипажем. Я стараюсь во всем им угодить. Все же Михайлов на 9 лет старше, четырежды ранен, фронтовик. Мороз тоже на два года старше и тоже фронтовик. Лейтенант, хотя и пришел прямо из училища, но, все же, офицер. Я один зеленый необстрелянный новичок. Но, все же, это не причина пренебрежительно относиться ко мне и вести себя со мной, как с прислугой. Я и обед им сварил, и воды принесил, и дров накопил — все недовольны. Сегодня упрекали, что я, якобы, долго сплю, хотя я от природы сплю мало и встаю очень рано. Допекли до того, что я фыркнул и отказался от еды. Ко всему обнаружил, что у меня пропало два больших сухаря. Ну что ж, такая, видно, моя судьба, суди их Бог. Иногда они на станциях что-то продают тайком от меня (большим спросом у жителей пользуется мыло). Мне очень горько и обидно, я ничего им плохого не делаю. Но я же не виноват, что моложе их всех, новичок в военном деле и не все умею делать, как они, за недостаточностью опыта.

Сегодня, вероятно, будем обедать в Ярославле, до него осталось 80 километров.

3 мая 1943 г.

Вчера вечером остановились в Ярославле, где и пообедали. Города и станции стали выглядеть по-новому. Свет в окнах стал более тусклым из-за затемнения, а мы уже отвыкли от светомаскировки. Небо все время пересекается лучами прожекторов, видно, сюда уже залетают немецкие самолеты.

В Ярославле простояли всю ночь до трех утра. Потом поехали и к рассвету были уже на станции Ростов. Я утром поднялся первым и заварил кашу. На следующей остановке за мыло выменяли молока и позавтракали. Потом опять поехали, и сейчас стоим на станции Александров, ждем у столовой обеда. До Москвы совсем близко, около 100 километров. Из личных продуктов у меня остались лишь четыре сухаря.

4 мая 1943 г.

Вчера доехали до станции Софрино. Стояли там остаток дня и всю ночь. Сюда нас довез уже электровоз. До Москвы 46 километров. Сегодня наши должны поехать за продуктами, которые нужно было получить еще вчера. На сегодня есть еще концентраты и у меня — один сухарь.

На станции Софрино стояли весь день и лишь около пяти вечера подъехали к Москве. Всю эту дорогу по сторонам

тянулись дачные поселки, дома отдыха, санатории. Вокруг Москвы ехали с короткими остановками. Из окна я увидел знакомую по газетным фотографиям и по кинофильмам фигуру рабочего и колхозницы у входа на сельхозвыставку и вход в какой-то павильон, а также какую-то церковь. Вот она — старушка Москва! Жаль, что пришлось увидеть ее лишь издалека!

Сухие продукты еще не получили, а съели уже все, что имели. Между прочим, говорят, что мы поедем на Донбасс. Вот было бы хорошо!

5 мая 1943 г.

Вчера вечером остановились у какой-то станции Московской Окружной железной дороги и стояли там всю ночь. Сегодня утром получили продукты до 15 мая и поехали дальше. Остановились на станции Канатчиково. Продукты получили такие: хлеб, сухари, соль, сахар, колбаса и концентраты. О табаке, курительной бумаге и спичках я не говорю. Мы с механиком-водителем, как некурящие, отдаем все командиру и башенному стрелку.

Ехали мы по окраинам Москвы, но ничего замечательного не увидели, хотя окраины города не лишены красоты. Деревья тут уже распустились, и дома по склонам холмов выглядят очень красиво среди еще убогой зелени.

6 мая 1943 г.

Сейчас два часа ночи. Стою дневальным по вагону. Пользуюсь остановкой, чтобы разборчиво записать. Вчера мы отъехали от Канатчиково и остановились на станции Бирюлево (или что-то в этом роде). Там мы и стояли до сегодняшней ночи. Москву покинули как раз, когда я заступил на смену. Москва позади, лишь луч прожектора над ней достигает поля моего зрения. В настоящую минуту стоим на станции Барыбино. На рассвете мы уже были на станции Михнево, затем на Жилево, где пробыли до вечера.

Около 4-5 дня подъехали к Кашире. По обеим сторонам дороги изумительная природа с березовыми лесами. Перед станцией увидели красиво раскинувшийся на горе город с множеством церквей. Перед городом пересекли реку Оку.

В свое время мы переезжали Каму, а началась моя служба на Волге. Так я побывал на самой большой реке России и ее двух главных притоках.

7 мая 1943 г.

Едем все на юг... Проезжаем многие мелкие станции, на некоторых подолгу стоим. От Москвы отъехали уже на 230 километров.

Сегодня у меня вдруг закружилась голова, и я на

мгновение потерял сознание. Потом все прошло, но остался неприятный осадок. Не хватало мне еще потерять здоровье.

8 мая 1943 г.

От Москвы мы уже в 350 километрах к югу. Стоим на станции Ефремов. Проезжаем по местности, которая была занята немцами. Кругом следы бомбежек, окопы, заграждения. Станции все разрушены.

Произошел конфликт с командиром, в чем он заключался, я не записал и уже не помню.

*Продолжение следует.*

## ПОЭЗИЯ

Александр РОМАНОВСКИЙ  
«Вдруг написанные стихи...»

## ИЗ ЦИКЛА «С ЛЮБОВЬЮ К БОГУ И ЖЕНЩИНЕ»

\* \* \*

Спасибо, Господи, за все:  
За то, что в этом грешном мире  
На крыльях ангел нас несет  
И дарит песни нашей лире.

За доброту весенних дней,  
За горечь прошлых поражений,  
За каждый день, где мы умней —  
Меняем гордость на смиренья!

За откровение страниц,  
И в них веков чистописанье,  
За шепот любящих ресниц  
И наш уход вне расписанья!

За блеск непризнанных идей,  
За смелость мысли и сомненья,  
За поминание людей —  
В молитвенном церковном пеньи!

За звездный час, влекущий ввысь,  
За счастье женщины любимой,  
За то, что даришь Ты нам жизнь,  
И в нас присутствуешь незримо!

\* \* \*

В жизни нашей мало покаянья,  
Но в исходе убежавших лет,  
Трудно перечислить все страданья,  
В чьих-то душах очертивших след!

Вряд ли перечислить все обиды  
И число не скрыть душевных ран!  
В колокольной, звонной панихиде  
Растворим все беды и обман!

В перезвонах, также как в молениях,  
Я сжигаю грех свой, как свечу,  
В искренних, смиренных извиненьях  
Душу покаянную лечу!

Ты прости меня и нас, великий Боже,  
В нанесенье мне и мной обид!  
Знаю, колокольный звон, поможет:  
«Восхожденье наше сотворит!»



## ПРИЗНАНЬЕ

Ты — из рифмы разрисованной мечта,  
Пробужденье чувства спозаранку,  
В снах моих умение летать  
И веселая красивая приманка!

А еще, ты — от волшебных рук —  
Изваянье очарованной природы,  
Ликованья серебристый звук,  
Разрушение упоительной свободы!

Невозможно просто не любить,  
Наслаждаясь дивным силуэтом!  
Жизнь твою нельзя благотворить,  
Прячась от любви своей при этом!

**P. S.** Все сказал, а прочее оставил на потом,  
Черной пастой на простой бумаге...  
Все признанья расписал пером,  
А полет остановил на взмахе!

\* \* \*

Ты уехала за границу,  
    За границу моей души.  
В снах моих тебе не присниться —  
    Распростаться нам Бог разрешил.

И бровей волшебной дугою,  
    Мое сердце — не восхитить,  
Для меня ты стала другою,  
    Не проси любовь возвратить!

Не проси, как то было раньше —  
    На закате, зарывшись в траве.  
Под гитару, звонко, без фальши  
    Одурманенной петть голове!

Не проси, как небесные своды,  
    Мне колени твои целовать,  
Утопая в женской природе,  
    Обо всем, обо всем забывать!

Но надеюсь, ты не узнаешь,  
    Что любовь — это вечности миг,  
И как образ вскоре растаешь,  
    Как снежинка в ладонях моих!

И в судьбе еще непрожитой  
    Стань предметом другой любви,  
И красиво, по новому свитой,  
    Ты, конечно, подольше живи!

Ну, а мне пусть останутся эти,  
    Вдруг написанные стихи,  
В продолжении долгих столетий,  
    На пороге событий других!



**ИЗ ЦИКЛА «ИРОНИЧНАЯ ПОЭЗИЯ»****«ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ХАРЬКОВА  
МОСКОВСКИМИ ПОЭТАМИ...»**

Поэты приехали званые:

«Известны на всю страну!»

Их почитатели рьяные

Оваций подняли волну!

Лица горят восхищенные,

У женщин в глазах восторг.

Поэтами насмерть сраженные,

Они готовы на все!

И я вот стою, обиженный,

Забытый вдруг всеми и вся.

Друзьями своими униженный,

«Талант мой забыли!... Зря!»

Забыли друзья московские

Что есть еще в мире поэт!

Фамилия его Романовский

Он тоже любит рассвет!

Он тоже может часами,

Забыв про свои грехи,

Весь мир, поедая глазами,

Свои написать стихи!

Он тоже красивых женщин

Любимцем мечтает быть...

Такие серьезные вещи:

«От зависти хочется выть!»

Но я успокоился истиной:

«Пророков в Отечестве нет!»

И вам заявляю искренне:

«Я — самый лучший поэт!»

Читаю свои стихи редко,  
Но громко кричит душа.  
И с явно Божественной меткой  
Для счастья она хороша!

Для счастья родных и любимых  
Для всех кто рядом — вокруг  
Поверьте, совсем не мнимый,  
Я - самый искренний друг!



\* \* \*

Немая встреча. В сумерках — лицо.  
Глаза без блеска, без игры, без цвета, —  
Пронизаны отчаянным сюжетом,  
Как будто бы  
                                залитые свинцом.

Куда ж девались синие глаза?!  
Когда-то в них купалась я, тонула,  
И глубиною так меня тянула  
Их, чуть ли не библейская,  
  краса.

Пережитого бродят голоса:  
Протесты, хвори, перебои веры...  
...Порой сверкают обнажённым нервом —  
Мои,  
                                ещё зелёные,  
  глаза.

В. Б.

Застывший зал.  
Читаю переводы.  
Вдруг вспышкой — небывалые овации,  
Как будто небо  
Сумасшедшей акцией  
Меня швыряет в солнечную коду.

Стою. Молчу.  
Во мне парит разрядка,  
Дареная друзьями-оппонентами,  
Но громче всех  
Горит аплодисментами —  
Он, мною не забытая загадка.

\* \* \*

Сбудется — не сбудется?  
Явится — не явится?  
Эдакой беспутницей,  
Эдакой красавицей...

Зашумит, завертится,  
Грянет чая чайным, —  
Так мечта заветная  
В жизни  
и случается.

### ФАНТАЗИЯ

Всё стремлюсь и стремлюсь я туда,  
Где живая морская вода.

Где листва благородных деревьев  
Успокоит расшатанный нерв.

Где гортензия, гордо звеня,  
Белой шапкой накроет меня.

Где, забыв бытовые грехи,  
Люди просто читают стихи.

Знают риск, знают стыд, знают честь.  
В той стране много не перечсть.

Сколько там вдохновляющих чувств!  
Только я всё стремлюсь да стремлюсь...



## ПРОЗА

Владислав ШАПОВАЛОВ

## РУКИ МАТЕРИ

В посёлке Троицкий, что на Белгородчине, установлен памятник невинно-погибшим мирным жителям, расстрелянным тут же, неподалёку, в хуторе Калиновка, 4 июля 1942 года. В монолите бетона старик, скошенный пулей. Упал на одну руку, а другую поднял, прикрыв мать с девочкой. И памятная доска, на которой имена...

Погибло тринадцать человек. Среди них семеро детей:

Черных Егор — 15-ти лет,  
Черных Миша — 15-ти лет,  
Травкин Ваня — 12-ти лет,  
Яковлев Лёня — 11-ти лет,  
Травкин Боря — 10-ти лет,  
Травкина Рая — 4-х лет,  
Травкин Женя — 1 год от роду.

Позже я узнал, что мать, потерявшая четырёх детей и послужившая прототипом для скульптуры, жива и что ей воздвигнут монумент при жизни.

И вот я стучусь в незнакомую дверь, а сердце бьётся учащённо: здорова ли, жива?..

Дверь отворилась. Передо мною предстала рослая, с чуть выдающимися скулами, знакомая мне по монументу, женщина, только сорока годами старше. Я узнал её. Та же стройность во всей фигуре, мужественные черты лица. Время не согнуло её. Высоко, как на постаменте, держа голову, она пригласила меня в комнату.

Я ничего не изменил в её рассказе. Да и какой смысл! Никакое «художественное» воображение не способно представить себе то, что даёт жизнь. На что она способна...

Вот её рассказ — Натальи Константиновны Травкиной.

## 1.

Наталья проснулась, когда в серо-пепельном оконце проступила двумя чёрными соломинами крестовина рамы.

Мерно, чуть слышно, тикали на кухне ходики, глубоко, во сне, дышал Иосиф. Посапывал в зыбке Женя.

Бережно, чтоб не побудить мужа, Наталья спустила на глиняный пол босые ноги. Подобрала захватом ладони рассыпавшиеся на плечи волосы, склонилась над зыбкой.

Женя лежал на боку, подложив под щеку ручку, тёмное пятно головы скатилось ниже подушки. Переложила мальчика, постояла согнувшись над зыбкой, и, взяв со стула кофту с юбкой, вкрадчиво пошла на кухню. Все трое старших спали на печи. К утру полосатая ряднина сбивалась под ноги, и Наталья, став на лавку укрыла самую меньшую — Раюшу. Девочка, прожевав губами, задержала дыхание и тут же снова примерла детским непробудным сном.

Подошла к столу — увидела на скамейке торбу, завязанную шворкой. Торбу — жалкий дорожный скарб — Наталья собрала ещё с вечера, и эта, прежде неприметная ничего не значащая в доме, вещица остро кольнула сердце...

Щёлкнула на часах, скользнув по колёсику, цепка, зашатался иссиня-зеленый стакан стеклянного грузика, и Наталья очнулась. Тронула рукой захватанную завёртку на кухонном столе, открыла диктовую дверцу.

Накануне она готовила хлебы, в хате стоял ещё тёплый приятный дух выпечки. Достала начатую буханку с рельефными отпечатками капустного листа на поду, с глубоко запёкшимися до черноты углинами древесной золы, отрезала небольшой ломоть. Покропила краюху солью — и что бы ни делала, думала об одном и том же...

Выходя в сенцы, Наталья оглянулась назад и в узкой половинке двери увидела угол самодельной люльки с деревянной решеткой, железную кровать с ещё девичьими пуховиками и строгий во сне мужнин профиль.

Иосиф вставал позже, и Наталья дарила ему несколько самых дорогих по утру минут сна. Постояла, и всё было бы, как прежде, как всегда, если б не легло тяжестью на грудь что-то ещё непонятное и не до конца осознанное...

Заметно светлело. Наталья ополоснула в сенцах лицо и руки, подвязала косынкой волосы и, стараясь не стукнуть клямкой, вышла с подойником и коркой хлеба во двор.

В низинах ещё стояли туманы; кое где, на возвышениях, просматривались травяные плешины взлобков. Птичьим гомоном отзывались кустистые перелески. Воздух был

настолько девственно чист и свеж, что чувствуешь, как его вдыхаешь.

Хутор кучно, из пяти хаток, гуртился к густому чернолесью; прямо от окон через луговину с просыхающим на лето ручьём поднимались до самой хребтины тронутые уже лёгкой желтизной хлеба. Сзади, откуда оранжево загоралось небо, стоял непроглядной стеною тёмный дубняк, а с противоположной стороны горизонт был иссиня-чёрным. Наталья оглянула распаханную ширь, и её охватил ужас этой открытости и незащищённости...

Зорька стояла в своём закуте. Повернув голову смотрела большими телячьими глазами, опахивая их длинными ресницами. И как только хозяйка появилась в проёме, встретила её негромким, на полдыха, мычанием. Наталья сунула ей окраек буханки, огладила белые пятнышки шерсти между рогами. Так она голубила свою ведерницу перед дойкой, Зорька отпускала молока больше, на ласку.

Иосиф проснулся, когда Наталья отзвенела белыми тугими струнами молока в подойник и вернулась в сенцы. Сняла с бечёвки холщовую редину, покрыла сверху глечик. Продавила пальцами выемку в холстинке, стала цедить молоко. Глядь, а он стоит уже готовый, с торбой в руке.

— Ося, как же я с четырьмя?..

Еле выговорила с болью в голосе.

— Дык он же где? — нарочито молодцевато произнёс Иосиф, и в этой нарочитости Наталья уловила всю горечь того, что случилось.

А он ещё смелее добавил:

— Дык мы его остановим.

## 2.

А через год фронт подошёл к хутору Калиновка.

Наталья, вспомнив последние слова мужа, криво усмехнулась, но тут же пристрожила себя.

От Иосифа было всего два письма. В первом он писал, что ранен в бою и находится в госпитале на лечении, — ну и, слава богу, хоть жив, а что, может, калека, то не такая уж и беда при всеобщем горе, если вернётся, век доживём и так. Во втором коротко писал, что из команды выздоравливающих его направляют в маршевую роту. В воинском деле она не очень-то разбиралась, но чутким сердцем уловила в скупых строчках и тревогу, и беду. Коль не домой, то уже худо. Значит, всё это не замиряется и невесть сколь протянется.

В нескольких верстах от Калиновки, если взять напрямки

через угор, в селе Ястребовка, жила Натальина мать. Ястребовку немцы заняли раньше, и мать, зная, что на хуторе осталась дочка с четырьмя детьми, пробралась ночью через линию фронта. В полголоса, чтоб не поднять переполох, позвала в окно:

— Наташка...

И голос родной, а вздрогнула. Подхватила живое потёмному, отодвинула, на ощупь засов.

В мирные дни на хуторе никто не имел моды брать наружные двери на запоры. Да их, замков, считай, и не было. Но с приходом лихолетья многое изменилось. Наталья отворила дверь и не кинулась к матери, а сперва оглядела, нет ли кого поблизости за её спиной. Только затем, не удержав слёзы, в тихом беззвучном рыдании обняла мать, уронив голову на её плечо.

— Ой, какая там страсть, — простонала мать шёпотом, — что у нас в Ястребовке робилось. Людей сколько побилло...

С вечера за горизонтом, где находилась Ястребовка, что-то сильно гремело, а, когда начало смеркаться, небо взялось багровым кровоподтёком. К ночи зарево немного присело, но всё равно видно было, что там что-то горит.

— А дитёв надо сховать, — всё так же таясь вполголоса произнесла мать.

Она ещё не отдышалась, должно быть, бежала или шла поспехом, её беспокойство передалось Наталье.

Вдвоём они внесли в погреб по оберему соломы, устлали земляной пол. Сверху покрыли солому рядном. Перевели сонных Ванюшку с Борей, перенесли на руках четырёхлетнюю Раюшу. Мальчики, волоча ноги со сна, цеплялись носками за порог. Уложили всех рядом.

Не спали. Сидели впотьмах, вслушиваясь в неясные шорохи, что долетали через открытую дверцу, молчали. Наталья держала на руках Женю, думала, как же осталась там, наверху, Зорька и подсвинок с курьми, которых с таким трудом она удержала до сих пор, бог весть каким прокормом.

Женя спал беспокойно, ворочался и что-то невнятно бормотал, суча ножками. Наталья то и дело перекладывала его с руки на руку.

Вскоре они надышали, в погребе стало жарко.

— А чаго мы мучаимси? — сказала мать, — пойдём в хату, а как что услышим, сразу перебежим. Погреб-то рядом.

На дворе было тихо, мирно горели в вышине звёзды. Означало себя кромкой светлеющего небокрая хлебное поле.

Они вернулись в хату. Наталья положила Женю в колясочку, что ещё для первенца смастерил муж — так та

зыбка и перекачала всех четверых по очереди, — сама примгнула на кушетке, уступив кровать матери. Спали там или не спали, только рано утром обеих всколыхнул неясный шум, что доносился с улицы. Мать подошла к окну, отодвинула занавеску.

— Немцы! — сразу осел её голос.

На краю хутора послышалась автоматная трескотня.

Наталья схватила Женю из колясочки, выбежала в сенцы, затем во двор. И только хотела уже спуститься в погреб, как увидела бегущего соседа.

Максим Сотников работал в совхозе пасечником, дома держал несколько дуплянок, прикрытых сверху кулями соломы. Бывало, срежет кус янтарно солнечных сотов, несёт через межу в деревянной миске. Хлопцы её, Ванюшка с Борькой, ходили потом с надутыми лоснящимися пузами до самого вечера и ко всему клеились.

Он бежал за тыном вдоль улицы в одной нательной рубаше, со взбитым впереди чубом, рас-терянными глазами. Крикнул что-то и, взмахнув рукою, точно загораживая её с ребёнком, упал подкошенный.

То, что он крикнул, Наталья не разобрала. Но поняла, что обращался дед Максим к ней, а прикрывающий их знак рукой указывал: куда ты суёшься, да ещё с дитем! Наталья прижала ребёнка к себе, закрыла рукой головку.

В это время взойкнула сзади мать. Наталья оглянулась, а мать наложила руки на голову и, как-то неловко оседая на ноги, не своим, чужим, голосом произнесла:

— Вот мы и дожили...

На беду выскочили из погреба дети, они проснулись от выстрелов, позвали мать, но возле них никого из взрослых не оказалось. Ванюшка метнулся по ступенькам вверх, за ним — Боря. Раюша всхлипнула, но тут же подхватила и тоже следом... Наталья хотела на них прикрик-нуть и загнать назад, да тут её будто кто хлестнул железной плетью по рукам. Женя вздрогнул весь у неё на руках, будто его на мгновение свело судорогой, и смяк...

Не помня себя, Наталья спустилась в погреб, положила безжизненное тельце на солому и, ещё не осознавая, что положила мёртвого, выползла сама вся окровавленная наверх и потеряла сознание...

### 3.

Двое суток Наталья пролежала в беспомощности вместе с мёртвыми детьми и матерью. Выходило и, поднявшись до зенита, накалив землю, заходило солнце. Слетали по утру с

наседа, подавались ближе к лесу на подножный прокорм куры. Зазывно, поджимая запалые бока, мычала на привязи Зорька. Повернув голову, выглядывала в дверь коровника. Верещал в своём закуте изголодавшийся поросёнок. Да никто их не слышал...

На третью ночь выходили из глубоких немецких тылов наши окруженцы, человек пять или шесть. Изголодавшиеся, оборванные, брели потай, пробираясь окраинами подалее от дорог. Наткнулись на Троицкое — отступили назад. Село большое, шлях уторован. Тут, как пить дать, полно их. Смотрят, а в стороне, под лесом, несколько хаток отдельно. Не иначе — хутор какой-то высельный. Притаился в затишке глухомани. И там он, вражина, ясное дело, заробует остановиться.

Было уже глубоко за полночь, месяц, высветив белёсые стены хуторских мазанок, завяз в тучах, всё вокруг примёрло непроглядной тьмой. Лишь со стороны Троицкого доносились какие-то непонятные звуки и время от времени вспыхивали одинокие, ползли вверх по небу красные светлячки трассирующих пуль — шипяще-стелющимся эхом запоздало отзывалась на выстрелы дубрава.

От истощения уже не было сил. Рискнули попытаться счастья. Зайти в хутор, чтоб чем-нибудь поживиться. Первым, шагов на сорок впереди, шёл их вожак, сержант, не споривший на воротнике петлиц. За ним, немного рассредоточившись, прокрадывались остальные. Сержант осторожно, чтоб не шумнуть, открыл плетёные из лозы воротца: двор запустелый, хатына без признаков жилья. Душок трупно-фронтальной стелется низом. Ступил дальше — остановился, застолбнев. Так и стоял в нерешительности.

— Что там? — не терпелось задним.

Сержант оглянулся, сложив ладони рупором, произнёс шепотом:

— Тут мёртвые...

Когда подошли все, кто-то ахнул:

— Братки, дак это ж дети!...

Застонала Наталья, сквозь забытие она услышала разговор и пришла в себя. Разодрала залипшие сухой кровью веки, еле различила на фоне тёмного неба несколько силуэтов.

Правая сторона головы занемела, слышала Наталья плохо и почти ничего ясно не видела, — подтекающая из-под волос кровь заливала глазницы.

Наталья подала голос, и бойцы, казалось бы не из робкого десятка, струхнули. Но тут же сообразили, что ничего опасного вокруг нет, что это всего лишь бабий стон, подошли

ближе. Сержант нагнулся, и Наталья увидела петлицы.

— Наши... — выдохнула, преодолая боль.

Радость была куцей. Измождённые лица, заросшие щетиной по самые глаза, залоснившиеся от пота, приставшие к телу мокрые гимнастёрки, да и весь вид её спасителей сказал о многом, и она то ли от того, что зашевелилась и потревожила раны, то ли от сознания их общей безвыходности снова провалилась в беспамятство.

Одного из своей небольшой команды сержант послал в хатыну. Тот обшарил сенцы, перебрал горшки на кухне, и, ещё не понимая, что Наталья в обмороке, спросил:

— Мамаша, там скисло молоко, можно его взять?

Наталья снова очнулась. С трудом подняв израненную руку, молча указала на погреб. Двое спустились вниз по ступенькам и вместо продуктов, как ожидали оставшиеся наверху, вынесли убитого младенца...

— Там он... там... — стонала она, не видя, что вынесли Женю.

Всех пятерых сложили рядышком у погреба, прикрыли полосатым рядном.

— Покличьте соседей... — обеспокоилась Наталья, заметив, что солдаты собираются уходить.

Кто-то из них смотался в одну сторону, в другую.

— Везде побитые, — обернулся ни с чем.

— А её куда? — обратился один из солдат к своему командиру.

Сержант молчал. Он, видимо, не знал, как поступить с женщиной, с живой, но не способной двигаться. Она связала бы им руки. Но и оставить её одну тоже не смел.

— Вы меня не бросайте... — точно разгадала она его мысли и попыталась подвестись, но от резкой глубинной, простреливающей всё тело боли, у неё помутилось в голове.

Когда она пришла в себя, то увидела, что солдаты ладят две жердины, увязывая их путами на расстоянии друг от друга. Кто-то вынес из хаты шерстяное одеяло, под которым она проспала с мужем всю свою супружескую жизнь. Стало ясно, что они готовят что-то вроде носилок. Наталья, с трудом преодолая нестерпимую боль, дотянулась побитою рукой к Жене, тронула холодный, как железо, лобик. Дети лежали рядом и каждого в темноте, с закрытыми, стянутыми кровавой коркой глазами, она опознала и каждому роняла на грудь своё бесслёзное лицо.

#### 4.

Ночь иссякла на корню. Серой кромкой у небокрая

занимался рассвет. Солдаты поспешали. Они несли раненную Наталью огородами в сторону Троицкого, попеременно перехватывая поручни носилок, часто сменяя друг друга из-за одолевающей слабости. Один шёл, для разведки, впереди, двое, то и дело оглядываясь, прикрывали носилки сзади. Шелестела под ногами картофельная ботва. Встретился на пути ровик, и Наталья простонала. Сержант, остановившись, прислушался.

Не подходя к Троицкому шагов на двести, сделали передых. Носилки опустили под ракитой, одиноко стоящей на краю поля, возле оврага. И дальше не пошли. Начали шептаться. Наталья со страхом поняла, что солдаты боятся заходить в селение и, с тревогой подумав, что её кинут здесь, обеспокоено шевельнулась.

По пути у неё растряслись раны, начала подтекать свежая кровь. Наталья чувствовала, что слабеет.

— Лежи-лежи, бабка, — укоротил её сержант.

Сам же, приказав всем отходить к леску, что за хутором, и собираться у его южного края, где начинается дубовая роща, спустился вниз и оврагом пробрался к селу. Залёг под кустом сирени, высмотрел улицу, надворные постройки захудалой хатёнки, что стояла в ряду крайней. Наконец, убедившись, что ничего опасного нет, подошёл ближе и легонько стукнул в оконце.

Это оказалась хатёнка Марии Фоминичны Черных, солдатской вдовы и дальней родственницы Натальи Травкиной. Свой век Мария Фоминична коротала с дочерью и старым дедом Демьяном, больным на ноги. Натянув впотьмах юбку, запнувшись платком, она боязно отворила дверь, вышла босая на порог, и, не приглашая ночного пришельника в дом, долго не могла взять в толк, чего от неё хотят.

— Мы уходим. Она лежит под ракитой, — поспешно произнёс сержант и точно растаял перед нею впотьмах.

Мария, растерявшись всё также стояла на пороге.

— Чё тама? — подал с печи голос через настежь оставленную дверь дед Демьян.

Вернувшись в хату, Мария увидела, что Демьян натягивает уже на тощие бёдра портки, ищет на колу, забитом в простенок, свою замызганную кепку.

— Горе...

К горю можно было уже и попривыкнуть. Оно ведь тоже величина относительная, и то, что в иные времена кажется бедственным, ныне проходит за пустяк.

— Чё щё?! — озлился старый, недовольный тем, что Мария



тянет с объяснениями.

Ничего непонятно: их кто-то всколыхнул, постучав в окошко, а в хату не зашёл. Так может лишь сосед. И что там могло стрястись?..

Как могла Мария растолковала то, чего ещё и сама как следует не знала. Без лишних слов Демьян сходил в летний хлевок, наскоро выкатил оттуда ручную, наскоро сколоченную из старых досок тележку. На той колымаге, хромающей на одну сторону из-за ковыляющего колеса, он развозил по огороду навоз. Кинул на дно соломки, покотил вдоль овражка. Мария, не отставая, поспешала следом за пустой тарактелкой, попискивающей ступицей при каждом обороте перекошенного колеса, тревожно оглядывалась по сторонам и отчего-то пригибалась.

У ракиты, где обпасен каждый бугорок, действительно лежало что-то длинное и плоское, будто вытянутое на доске, не похожее на человека. Мария подошла ближе и по одежде признала свою троюродную, по бабушке, сестру...

## 5.

Наталью, обмыв засохшую кровь на теле, определили в запечье, подальше от дурного глаза. Дед Демьян забил два гвоздя на противоположных стенах, натянул между ними шворку. Мария сняла в горнице занавеску, поцепила на шворку. Строго-настрого приказала своей Алёнке никому не рассказывать, что у них тётя. А сама рано утром подалась в соседнюю Ястребовку.

На следующую ночь в крайнюю хату на пустующей улице Троицкого пробралась через патрульные заставы Валентина Ивановна Померанцева – акушерка Ястребовского медпункта. Свой белый халат она, чтоб не было лишних улик, не стала брать. Захватила с собой лишь пузырёк очищенного самогона вместо спирта и небольшой огарок свечки. Мария к тому времени уже подрала на ленты простыню, выварила её в кипятке и успела просушить. Завесила окно одеялом, зажгла куцый огарок.

Вдвоём они перенесли страданицу на кушетку, приладили, чтоб не падала от руки тень, светильню. Мария прикрыла Наталье ноги. Затем Валентина Ивановна взяла обмылок, долго цокала соском ручноймыльника, вытерла руки и тщательно протёрла пальцы самогоном. Только после этого подошла к раненой. Мария, так же вымыв руки, подсобляла ей.

Стояла июльская жара. Мухи забивали окна. Заскорузные раны покрылись в течении трёх дней гнойными окалинами. Кое-где, на трещинах, выступала кровь. Валентина Ивановна

выковыряла из ран червей, измаранных сукровицей, обработала как следует все поранки самогоном, наложила повязки. Наталья ни разу не дала себе вскрикнуть. Сцепила зубы, сжала до побеления веки. Так и лежала, сковав тело, точно мёртвая.

У Померанцевой, как говорили в округе, была «лёгкая рука», на свет она принимала младенцев нетрудно и удало. Принимала она роды на дому каждый раз и у Травкиной — искусно вязала пупки, и, пришлёпнув по жопке, садила кроху на ладонь, высоко поднимала над собой, придерживая другой рукою. Мир звонко оглашался пробудным криком. Весь век она принимала на руки жизнь, теперь они, святые руки, встретили смерть.

В следующий раз Валентина Ивановна пришла дня через три. Так же ночью легонько царапнула ноготком шибку, не задерживаясь, сменила повязки. Она раздобыла где-то немного мази Вишневого, ещё четыре шайбочки стрептоцида, и теперь была довольна, что врачует по всем правилам лечебного дела. Управилась живо, ушла, кроясь оврагом, чтоб её не увидели.

Так она время от времени навевывалась в посёлок, где никто не знал про тайну крайней хатёнки Черных, заботливо пеленала Натальины раны, и они, отзывчивые на доброе бескорыстное сердце, заживали споро и без нагноений.

Наталья, скрытая от людей, отделенная ситцевой занавеской от всего мира в своём полутёмном запечье, изученном до каждой царапинки на стене, лежала беззвучно. Услуги подавляли её, и она, не требуя ухода, лишний раз никого не беспокоила, стараясь быть в доме незаметной, чтоб не стеснять кого-либо своим обременительным присутствием. С другой стороны, она тоже чувствовала щадящее отношение к себе и молча была благодарна. О детях и матери ей старались не напоминать, но видно было, что она постоянно думает о них, часами глядя в одну точку.

Поднялась Наталья где-то через месяц, но руками ничего ещё не могла делать. Голова сильно болела. Пулевое ранение, задев сбок затылка кость, видимо, повредило какие-то корешки. Наталья стала замечать, что гложет на правое ухо. Да в том никому не хотела признаваться.

— Ну, я пойду, — закинула однажды за столом, испытывая безмерную благодарность и вместе с тем стеснённую вину своим горем.

Наталья уже вечеряла вместе со всеми за столом, и у неё начала сходить с лица затворническая желтизна.

— Куда?.. — с придыханием еле выговорила Мария.

В хуторе никого из живых не осталось, имущество и всякую живность уже давно растаскали. Мария по указке Натальи — сходи, что ж за зря добру пропадать, — принесла щепоть соли, два чёрных казана, полкуля ячневой крупки, чудом сохранившуюся на миснике. Жить на пять пустых хат Марии казалось жутковато.

— По свету, — отказала Наталья.

## 6.

Так она скиталась по свету, живя подпольно на одном месте по недели-две, то у родственников, то у знакомых. Осенью она тайно пробралась в хутор.

Хутор к тому времени, без единой живой души, начал захламляться. Глиняные мазанки, в дождях и непогоде, облупились и стали рябыми, точно в коросте. Кое-где чернели выбитыми шибками провалы в окнах. Наталья увидела своё подворье — сердце остановилось, и она испытала то чувство, что уже раз перенесла. Упала на землю, политую кровью детей, еле поднялась, задубевшая...

Но собрала силы, выкопала на огороде картошку и ведро лука, собрала початки кукурузы. И как немец начал отступать, припряталась на хуторе, чтобы пересидеть, пока перейдёт фронт.

Её, одичавшую, разыскали под вечер, когда солнце, уложив по мягкому февральскому снегу длинные фиолетовые тени, начало садиться за угор. Молодой лейтенант в погонах, чего она сразу не могла понять, чтобы это значило, и старшина в смушковой шапке долго от неё чего-то добивались, наконец, столковавшись, пообещали зайти утром. Их привела Мария и в разговор не мешалась, но когда военные ушли, посоветовала:

— А чего терпеть, скажи им всё...

Наталья смотрела недвижно в окно и, казалось, не видела его.

— Пущай все люди знают...

Сидели потемки, огня ещё нельзя было зажигать. В поддувале просыпались сквозь колосники раскалённые жарины древесных огарков, красно высвечивая стены, и Мария завесила от греха окно.

— Здесь ночевать будешь, али к нам пойдёшь?

Наталья покачала головой.

Когда Мария ушла и шаги её примёрли где-то за окном, Наталья поднялась. Разыскала старый жмуричек, достала совком из поддувала жарину. Прикурила фитилёк, поправила зёрнышко огонька. Огораживая пламя ладонью,

подошла со светом к тумбочке, взяла оттуда огрызок ученического карандаша и тетрадный клочок бумаги. И как села за стол с карандашом в руке, не удержалась...

Тем карандашом писали ещё дети — Ванюшка с Борей. Те держали карандаш, как учили их в школе. А Раюша брала карандаш захватом в кулачок, чиркая бумагу вдоль и поперёк. В последнем письме Иосиф просил, чтобы ему прислали обведенную ручку Жени. Наталья приложила крохотную растопырку на свободное место внизу письма, обвела каждый пальчик. Затем передала огрызок Жене, и он наставил под пятернёй целую, известную только его возрасту, грамоту вензелей...

Не слова, слёзы пролила на тот клочок тетрадной бумаги Наталья, просидев до ночи, пока не сник, согнувшись на дно блюда, выпив последние капли жиринок, фитилёк.

Утром, как обещали, явился лейтенант со старшиною. И ещё третий с ними, капитан в новой военной фуражке с блестящим козырьком. Брови чёрные, нос крючком. И глаза водянистые на выкате.

— Ну, готово? — живо спросил.

Ему, видно, не терпелось. И как узнал, что Травкина ничего не написала, передёрнулся как-то весь непонятно.

— Вот так всегда, я так и знал! — грубо упрекнул тех двоих, что вытянулись перед ним, не смея молвить слова.

Наталье стало жаль лейтенанта и старшину. Как она поняла, они допустили оплошину и теперь стояли виноватыми.

— Ну хорошо, — произнёс, чуть картавя, капитан, — я тут кое-что набросал.

Вынул из бокового зашинельного кармана вчетверо сложенный лист бумаги, передал Наталье.

— Читать, мамаша, умеешь?

Слово «мамаша» ёжисто царапнуло слух, к ней ещё никто так не обращался.

Затем ей велели одеться. Наталья накинула на плечи плюшку — жакетку из чёрного плюша, повязалась платком. И, выходя из хаты, перекрестилась.

Трое вооружённых вели её хутором в сторону Троицкого. Влажно лопотали по халявкам сапог широкие полы шинелей; путалась в длинной юбке, поспешая, Наталья.

— У вас было четверо детей? — уточнял некоторые детали капитан.

Через время опять:

— Совхоз назывался «Казацкая степь»?

И снова:

— А муж не в плену?

Её никогда не допрашивали, и она испытывала какое-то неприятное чувство, всё больше проникаясь к этому горбоносому человеку каким-то ещё мало осознанным недоверием. Особенно насторожил её последний вопрос. Были, конечно, разные думки за полтора года такой бойни, поди, много чего перетрёшь в голове, но она и мысли не допускала, чтоб это с Иосифом случилось что-то подобное.

— Какие от него вести?

«Какие вести... — усмехнулась себе, — знала бы где он, ластовкой полетела...»

Ещё издали, подходя к Троицкому, Наталья заметила на сельсоветской хате красный флаг, а на площади какие-то серые загороды. И когда приблизилась, то себе подивилась... не загороды то, не частокол, а солдатики, выстроенные на снегу в длинные ряды перед потрёпанным грузовичком с опущенными на все три стороны бортами. Тут же, возле крайка резинового колеса, стояла скамейка в виде приступки. С машины ей подали руку и встали на помост.

Площадь сразу осела, выделив хаты по самые завалины. Кое-где, меж дворов, чернели провалами свежие гари, отчего улица выглядела по-старушечьи щербатой. Солдатики с ружьями и развёрнутыми знамёнами стояли двумя кутами — на левое крыло и правое. Сбок их сбились чёрной изреженной кучкой миряне. Кое-кого из сельчан Наталья узнала и теперь терялась, принято ли здороваться отсюда, с трибуны. Она поклонилась всем разом.

— Митинг, посвящённый освобождению Троицкого нашими доблестными советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, объявляю открытым! — звонко прокричал немолодой мужичок в латаных сапогах и московке из перекрашенной мадьярской шинели.

Это был известный на всю округу довоенный председатель сельского совета по имени отчеству Иван Васильевич, покалеченный ещё в ту, первую империалистическую, войну. Когда Наталья регистрировала детей, Иван Васильевич каждый раз, вручая метрики, тепло поздравлял и крепко, по-мужски, жал ей руку. Наталья не видела его с тех пор, как вступили немцы, и теперь отметила, что он крепко сдал по сравнению с тем, каким был в прежние годы. Да и все, кого она встречала, мало были похожи на себя, война формирует людей по своему облику и подобию.

Подошла очередь, и её подтолкнули вперёд на свободное место. Наталья очутилась посреди кузова. Сотни глаз смотрели на неё в упор и она, никогда не испытывая на себе

давление взглядов, растерялась и невольно отступила назад. Но капитан вытолкнул её на прежнее место.

Она забыла, что в плюшке лежит записка, а все слова, которые знала, которые заготовила, растерялись. Не соберет к месту. Ком сдавил горло.

— Бабка, начинай, начинай! Чего молчишь! — понукал капитан шепотом.

«Какая я тебе бабка, — мысленно обиделась Наталья, — меня в тридцать лет война такую согнула...»

Однако, внимание, которое было сосредоточено на ней гуртом людей, заставило одуматься, Наталья достала из плюшки сложенную вчетверо бумагу, развернула её и дрогнувшим голосом прочла:

— «Немцы — звери, — запнулась, еле выговорила следующие слова: смерть им, проклятым врагам!»

Дальше читать не смогла. После той кромешной ночи Наталья боялась этого слова, не произносила его себе. В глазах у неё помутилось, и она качнулась. Её поддержали сзади, а капитан выхватил листок бумажки из её руки и вышел вперёд, застувив Наталью спиной.

— Русские люди! Фронтовики! Слушайте голос русской матери! — Произнёс он так громко, чтобы его услышали в последних рядах:

«Восемь месяцев назад я, как и все советские люди, жила радостно и счастливо. Росли мои дети, старшие уже ходили в школу. Звонкие детские голоса неслись из каждой квартиры. Каждый, кто любит жизнь, кому дороги семья и дети, знает, какое это счастье. Мы тогда проживали в Калиновском отделении совхоза «Казацкая степь».

При чтении капитан делал паузы и становилось так тихо, что было слышно, как сзади, на фронто́не сельсоветовского крыльца, лопотал на ветру красный флаг.

«Когда мой муж Иосиф Кузьмич Травкин ушёл на фронт, я осталась с четырьмя детьми в возрасте от одного до двенадцати лет. Четвёртого июля тысяча девятьсот сорок второго года в четыре часа утра в Калиновку ворвались фашисты. Ничего не разбирая, они открыли автоматную очередь. Я упала, потеряв сознание, а когда очнулась, то увидела, что все мои дети убиты, а в моём теле двенадцать огнестрельных ран».

Читал капитан выразительно, хотя на морозе картавил сильнее. Голос его, густой, басистый, походил на тот, что по радио объявлял фронтовые сводки. Мороз по коже дерёт.

«Это сделали немцы! Таковы они все! О, звери! О, бесчеловечные враги! Слышал ли ты предсмертный крик

наших крошек, мой любимый муж?! Так отомсти же за них, за невинную кровь! Истребляй фашистского гада! Ведь он ещё топчет нашу родную землю, он ещё убивает таких же, как наши, детей Украины и Белоруссии!..»

Колонны, казалось, сомкнулись плотнее — нигде остриё штыка на винтовках не шелохнётся. Чёрное вороньё, грая над стрехами, тьмой пронеслось. Белый пушок инея кое-где на деревьях мучнисто осыпался.

«Товарищи! Братья! Кровь невинных детей, пепел сожжённых хижин стучат в наши сердца. Они зовут нас перебить всех проклятых немцев, истребить их гадючье племя. Только тогда мы сможем вздохнуть свободно. Помните об этом всегда. Помните и мстите! Пусть боец не ложится спать, не кладёт винтовку, если он в день не убил хоть одного немца! Поклянёмся же, что не устанем мстить врагу до полного его истребления! Бойцы! Вы слышите предсмертные стоны детей?! Смелее же идите вперёд, на Запад! Смерть детоубийцам! Убей немца! Убей! Убей!! Убей!!!»

Когда закончились выступления, кто-то подал команду. Солдатики развернулись и длинной колонной, поделенной на части, со знаменем впереди, прошли маршем перед автотрибуной на Запад, как и призывал капитан. Лица их были не столько суровыми, сколько мрачными, и Наталья подумала, что они идут в смерть и что, может, не сегодня-завтра кого-то из них уже не станет...

## 7.

Жизнь начинала как бы сызнава. Разыскала уцелевшую миску, выровняла погнутую алюминиевую ложку. Приняла от Марии казанок.

Когда-то старший Ванюша садил меньших Борю и Раю рядышком и при тусклом помаргивании жмурика читал из вечера в вечер книжку про какого-то невольного отшельника. Этот страдалец после кораблекрушения попал на необитаемый остров один. Пораясь у печи с рогачами, постоянно озабоченная своими хлопотами по хозяйству, Наталья урывками, одним ухом, прислушивалась к монотонному бубнению за столом.

«Вот какая совсем иная жизнь, не похожая на людскую...» — думала себе.

Теперь её жизнь чем-то походила на ту, что в Ванюшкиной книжке, а хутор в самом деле напоминал необитаемый остров. Тяжелее всего было перенести эту глушь и беззвучие.

Вестей от Иосифа никаких не было, хотя Наталья на

всякий случай по несколько раз на день подходила к портфельчику. Тот портфельчик Ваня, когда прервалась учёба в школе, повесил на грушу возле ворот вместо почтового ящика, и туда успела ещё залететь последняя весточка из госпиталя. Надежд было мало, однако Наталья навевывалась к ободранному портфельчику на суку, закладывала руку в матерчатое нутро, хотя знала, что почту за ненадобностью никто в хутор не носит — её просто тянуло подержать там руку.

И всё же Наталья не могла снести тяжкого одиночества, особенно после того, как побывала на митинге. Перед сумерками её, одну единственную на все пять хат в запустелом и уже одичавшем хуторе, охватывал какой-то панический страх, и она боялась подходить к кровати, зная, что не заснёт. Одну ночь продумала, другую, наконец, решила: в ноги упаду, а буду просить, неужто сердце камень, не растопится?

Что могли её, материнские руки, кроме как хлеб растить, детей пестовать, а теперь, побитые, и того меньше. Но они, руки матери, сгодились.

В ту пору готовилось самое грандиозное столкновение двух сталеи на прочность, какая выдержит, и, естественно, заранее собирались врачевать не только изрешеченные тела, но и повреждённые машины. Наталью Константиновну Травкину взяли в мастерские по ремонту танков.

Мастерские они так только назывались, потому что постоянного места для них не было, приходилось каждый раз, по-цыгански переезжая, ютиться в самых разных помещениях, где можно было наскоро поставить тот или иной станок и загнать в ворота, часто проломленные в кирпичной стене, танк. Наталья встретила незнакомый доселе мир.

Её завели в длинный сарай барачного типа с оконцами поверху, приставили к большому корыту с керосином. Резкий запах керосина был знаком ещё до войны, брали его для лампы, а то и подтопки при сырых дровах. Но в последнее время пришлось перейти на каганец, и теперь этот запах приятно, мучительно напоминал прошлую жизнь и домовитый дух родного очага. Наталья помнит, как трудно было отмыть руки, если где попадёт крапинка керосина и как от маленькой его толики портится продукт, долго неся невидимые следы тошнотного привкуса во рту. Теперь она окунала в керосин руки по самые локти и пропахла насквозь так, что всё на свете, за что бы ни бралась, куда бы ни пошла, ей отдавало машинной гнусью. Мыла она части от моторов,



снятых с побитых танков. Поначалу давали ей что попроще — какую зубчатку или шатун, а как немного наломала руку, то и клапана, кулачковые валы и даже топливный насос. Особенно робко бралась Наталья за топливный насос, этот чуткий прибор, вызывающий в ней понятие чего-то нутряно-сложного и недоступно-скрытого в теле машины, отчего, может, зависела вся её железная жизнь.

Осторожно, чтобы не наделать заусениц, Наталья отвинтила нарезные болтики, сняла крышку с прокладкой, и, разобрав насос по частям, разложила их на доске, что брошена поперёк корыта. Прополоскала всё по очереди. Насухо вытерла ветошью. Затем свернула тряпицу заостренным концом, выбрала мазутную черноту в недоступных уголках и как почистила, все части собрала на место. Обратным порядком.

Солнце блеснуло в верхнем оконце, косой луч, пробив чад цеха, высветил синий до дна керосин в корыте, тронул насос, и он улыбнулся, будто новый, освежёнными гранями.

Работа для неё была и занятой, и отрадной, Наталья просто забывалась на весь день и к ночи валилась на свой сенничек в такой утome, что лишь ухо — к подушке, а веки уже слиплись. Вот если б не руки...

Руки ныли по ночам во сне, не давали полного роздыху днём, на работе. Её тело прошили несколько пуль, одна задела мякоть четырех пальцев, жгутовые шрамы, стягивая кожу, мешали разогнуть ладонь. Но в том она никому не признавалась и, тая изъян, сжимала кулачок, чтоб, упаси боже, никто не увидел поранки и не вернул её назад, в гражданку.

Но больше мучили дети. Днём она как-то забывалась в работе, а вот ночью... Они приходили к ней во сне, и она ничего не могла поделать с собой, изводясь непреходящей болью в сердце. То являлся старший Ванюшка, уже пятиклассник — помога в хозяйстве и так, глава заместо отца над младшими. Слушали они его пуще матери, щадящей малых во всём, и она, наблюдая за ними со стороны, улыбалась себе самой скорбно-счастливой улыбкой, которая бывает лишь у матери. Учился он хорошо и уже, было, заготовил книги на будущий год — обернул каждую в газетку, составил на полочке рядышком. Каждый раз, проходя мимо, не мог не остановиться перед завтрашней радостью. За ненадобностью учебники в разруху никому не сгодились, их не растаскали, как утварь или еду. Остались они в избе нетронутыми, и Наталья, в последний раз прощаясь с родным очагом, обводя горницу глазами,

задержала на полочке печально-долгий неразлучный в памяти взгляд...

То снился средний, Боря, озорник и лукавец, шут знает в кого удавшийся, и сделает шкodu — ни за что не признается, а как начнёт балагурить — век не переслушаешь и сразу не разберёшь, что несёт нескладицу. Но с уходом отца пострел как-то приник и стал незаметным. Где подевалась прыть. Забьётся в уголок, сидит неподвижно, а как его окликнешь — посмотрит на тебя дикими не признающими глазочками...

Раюша у них вся в материнских заботах. И снится она чаще всего, как пеленает обёрткой из кукурузного початка свою тряпичную ляльку с глазами и носом, наведенными послунявленным химическим карандашом.

И всё ж постоянно снился Женя.

Наталье снилось, как она в крайнем напряжении выхватила его из колясочки, выскочила во двор, как что-то жёстко ударило её по рукам, и как Женя, весь вздрогнув, тут же бессило смяк...

От жгучей боли в руках она сразу просыпалась и уже до утра не могла сомкнуть веки. Так сны мучили её из ночи в ночь, и она чувствовала, как выкрученная днём на работе, не набрав силы отдыхом, всё больше слабеет.

Рядом с нею, в цехе, работали такие же, как она, женщины, частью обездоленные похоронками, частью совсем ещё девчата, не изведавшие супружества и семейного счастья. Особенно она подружилась с Марфой — дебелой молодайкой из под Фастова. Здоровая, размашистая в плечах, до упаду работающая, она тянула за двоих, и ей поручали даже неподъёмные коленвалы, которыми она орудовала, как рогачами у печи. Можно было только удивляться, как она поднимала тяжесть, недоступную и мужику. Марфа потеряла дитё в дороге во время эвакуации, когда бомбили эшелон, сходная доля сроднила их, тем более что позволяло соседство: железные корыта их стояли рядом и места их на втором ярусе деревянных нар тоже находились бок о бок. Однажды Наталья поделилась бедою:

— Не сплю я, Марфа, сны одолевают...

Марфа поставила коряжисто узловатый вал на попа, навесила крутой излом чёрных бровей над тёмными, как пропасть, глазами. Будто в сердце кольнула:

— Малэнькэ трэба.

— О-о-ой, — еле продохнула Наталья, тронув рукой грудь, где остались лишь висячие блинчики.

Те мысли, приспанные в сознании, всё же постоянно витали где-то рядом, но так ясно не прорезывались, может

из-за того, что она их боялась.

– И я хочу... – призналась Марфа.

Она отнесла поперек себя, упирая в живот, коленвал на пирамиду и, когда вернулась, добавила:

– Малэнькэ дуже хочу, Колымы не хочу.

Логика войны – в смерти. По своему подобию она диктует законы, супротивные самому существу природы. Строгий указ запрещал беременеть женщинам, служащим в армии, что приравнялось к членовредительству. Таких отдавали под военный трибунал. Затем отправляли в тыл и после родов ссылали на лесоповал, а детей изымали в государство.

Приказ им перед строем зачитал политрук и, без дрогнувшего мускула в лице, дал расписаться каждой. Никогда в человеческой истории зарождение жизни не считалось умышленным нанесением себе телесных повреждений, и никогда ещё в человеческой истории не карали за беременность по всем законам военного времени.

## 8.

Поначалу было трудно привыкнуть к шуму и металлическому лязгу, что стоял в цехе с утра до ночи. Рычали на испытательных стендах моторы, грюкали, отдавая наковальным звоном в ушах, кузнечные молоты. С дребезжащим визгом, от которого мох поднимался на руках, бешено вращались карборундовые точила. Наталья, привыкшая к шёпотному шелесту спеющего жита, глухо земляному топоту босых ног, невесомому щёкоту степного жаворонка, вздрагивала от неожиданности, если включался тот или иной агрегат, но постепенно вживалась в новые для неё звуки и уже различала, где какая идёт работа и для чего к «огненному жучку» – так называла она электросварочный аппарат – подгоняют громадину танка.

Ясное дело, лучше всего запоминала она детали, с которыми приходилось возиться самой. А когда увидели, что Наталья очень быстро освоила свою работу, её перевели кладовщицей. Она зашла в узкую коптёрку с электрическим освещением, с длинными стеллажами по бокам и растерялась – такая сложность свалилась на её голову.

На нижних полках лежало что потяжелее – опорные, для гусениц, катки с прорезиненными ободами, стальные секции траков, ведущие, с крупными зубьями, колёса. А выше – какие-то шлангочки, изолированные провода, медные трубочки. Отдельно, в землянке, хранились крупнокалиберные, все в масле, пулемёты, оптические, в

коробках, прицелы и ещё целый ворох каких-то премудростей, которые она долго не могла осилить памятью. То, что у двери в землянку стоял часовой, говорило о важности и ответственности дела, которое теперь поручено ей. Здесь надо было крепко мороковать головой, разбираться в бумагах. Наталья вся ушла в изучение новых обязанностей и вскорости уже неплохо разбиралась, что кому требуется и где находится та или иная вещь.

Вслед за деталями она познавала и людей. С утра, первейшим, прибежал из четвёртого цеха Самуил Мойшевич — Михайлович, как он изменил своё отчество, так легче произносить. Небольшого росточка, проворный и деликатный, он иногда мог принести даже конфетку, бог где раздобытую в такое страшное безвременье, и та облапанная, перемятая в руках карамель, которой он сластил, жгучей болью отзывалась в её сердце, напоминая детей...

— Будьте любезны... — беспрестанно повторял он и, поднырнув под прилавок, обходительно оттирал кладовщицу в сторону, а сам забирался в глубину склада, роясь и отыскивая на свою потребу то, что ему нужно. Он не давал Наталье поднимать тяжёлые железяки и сам отбирал их на тележку. Наталья в напряжении ждала, чтоб он уже управился, и когда Михайлович уходил, она с облегчением вздыхала.

Все остальные проходили за день как-то по-деловому незаметно, рабоче-обыденно. Ещё кто оставлял свой след в памяти, так это Аноха Крутских — мужиковатый зауралец с ухарско-раскидистым сибирским характером.

— Ну-ка, Алёна... — называл он её каждый раз не своим именем и тут же наотмашь, по залихватски хлопал могучей ладонью по доске, припечатывая заявку.

Этому подай. Поднеси. И он не доходил до того крайнего унижения, чтобы это подсобить снять какую-нибудь тяжелину с полки. С ним вообще разговор короткий: дай — и всё. Из-под земли вынь, а положи. Наталья побаивалась его — он и в ухо залепить может, не страшась штрафной, где, по его хвастливым разговорам, он уже побывал трижды.

В мастерские Аноха Крутских попал, выйдя по ранению в нестроевые, но каждый раз грозился подать рапорт, чтобы его отправили на передовую, так как ему, таёжному медвежатнику, постыдно «вакшаться с разными винтиками-болтиками». Но рапорт не подавал.

На работы в мастерские пригоняли немецких пленных. Зная, что у Натальи постреляли детей, Аноха куражился.

— Если ф я, Даха, иво сустрел... ты мне лишь покажи, я иво, гада-кровопийца, вот этими клешняками, — выставял он руки-ковши и попытался присоседиться к ней плечом, отдающим терпким козлиным потом.

Наталья развернулась, сжала что силы израненный кулачок и со всего маху саданула в вонючее плечо. Отскочила, себе дивясь, в угол, оскалилась ледяными остриями глаз.

После ухода Крутских Наталья приходила в себя, успокаивалась, зная, что теперь уже до вечера всё сойдёт благополучно.

Ещё находясь в цехе, Наталья не слышала, что происходит за его стенами. Перестук ремонтного грохота заглушал все прочие звуки. Теперь же, оставаясь наедине в минуты коротких роз-дыхов, она всё отчётливее разбирала неясный, утробно-земляной гул, что доносился со стороны фронта. А по тем танкам, что в большинстве поступали на территорию мастерских, можно было хотя бы отчасти представить, что там творилось. Говорили о том, что тяжёлые бои идут под какой-то там Прохоровкой, о которой она и слыхом не слыхала, да теперь война учит всех своей географии.

К вечеру канонада усилилась, и Наталья с тревогой посмотрела на дверь. Задумалась на минуту, сняла с гвоздика заявки, что собрала за весь рабочий день. Отметила прибыль-убыль в книге учёта, потушила свет. Захватила амбарный замок, вышла со своей каморы...

Во двор мастерских волоком тащили битую технику — тяжелейший танк. Старшина Самойлов — комендант подразделения — поднял руку. Сцеп остановился и, танк, клюнув опущенным дулом пушки, замер.

Весь танк был в пыли, оскалисто блестели свежим металлом на его мёртвой туше снарядные поранки. Одна из колдобин была величиной с ладонь, Наталья подошла ближе и, примеряя, вложила в неё пораненный кулачок.

— Божечки ж ты мой, силища-то какая супротив мягкого тела.

## 9.

К осени фронт откатился далеко, под самый Днепр, тылы начали подтягиваться, и воинская часть, в которой служила Наталья, готовилась к передислокации. Привычный, уже как-то устоявшийся ритм жизни сбился. Всё пришло в необычное движение. На склад запасных частей, в подмогу, выделили несколько девчат. Тесное, забитое деталями помещение заполнилось оживлённым гомоном, стукотом

молотков, забивающих деревянные ящики. Наталья моталась распорядительницей из конца в конец своей каморы, еле поспешала.

По правде, новые слова, особенно длинные и совсем не русского звучания, настораживали её. Помнится, как странно, дико — на ляд кому оно сдалось! — отчуждённо прозвучало для неё слово «эвакуация». Затем она испытала на себе, что такое «оккупация», перевернувшая, как ничто, её жизнь. Теперь вот это — слово п е р е д и с л о к а ц и я...

Постигая всю эту несусветную муть, Наталья начинала постигать, что война имеет и свой страшный язык.

Да в круговерти повседневных забот некогда особенно размышлять. Лишь поздно вечером, когда она после смертельной утомы валилась на свой сенничок и смыкала веки, невольно при-ходили мысли: какая непомерная работа идёт следом за фронтом — это ж надо только подумать! Ничто на свете не берёт столько сил, как война, и ничего худшего люди не могли себе придумать, как ту же бойню...

На погрузку эшелонов пригоняли из лагеря пленных. Немцы брели, гребя сапогами пыль нечётким строем длинной колонной, под окриками стрелков расходились небольшими кучками по цехам. В кладовую выделяли человек пять-шесть. Стараясь не смотреть в глаза русским, немцы сразу принимались по-деловому за работу. Свободно ходили между стеллажами, сдвигали ящики, выносили их во двор. Странно было смотреть на их зелёные френчи в обжитой своим духом каптёрке, слушать короткий переклик чужой речи. Трудились они не спеша, но споро, работа у них подвигалась укладисто. В такой близости Наталья ещё не встречалась с немцами, и, как чумных, чуждалась каждого, кто проходил мимо, непримиримо поглядывая на них из-под жёстких бровей остистыми глазами.

— Командант, — обращались немцы за указанием к Наталье, сразу признав её тут за хозяйку-распорядительницу. Будто варом обжигало её это инородное слово.

Однажды она очутилась с немцем так близко, что случайно они столкнулись. Испугавшись, Наталья отпрянула назад. Пленный тоже в страхе отступил к полкам. Но по его полохливому лицу было видно, что струхнул он больше от того, что толкнул женщину. И как ни странно, боялся он того, чтобы «командант» не приняла недоразумение за какой-нибудь срамной умысел. Пленный искал в её глазах извинение, и она, не улыгнувшись, чуть смягчила черты лица.

Конечно, это были уже не те немцы, которых она потай наблюдала из своего лазаретного запечья через шибку, вмазанную в стену, или которых встречала, бедую по дворам близких и знакомых. Спесина на них была сбита начисто, хотя и держались они гордо и независимо, аккуратно исполняя свой невольничий долг. Наталью поражало, что даже голод не принизил их головы. Бывало, помнит она, до какого унижения доходили при немцах наши пленные из-за огрызка чёрствого хлеба, а эти будто не видят, если кто развернёт бумажку с варёным бураком или принесёт горсть семечек. И хотя на них была все та же зелёная, правда, теперь уже довольно обмятая форма, вызывающая омерзение, те же обкованные кусочками металлических пластин вдоль ранта сапоги с широкими и уже этим почему-то отвратительными раструбами халявок, те же пилотки, отношение к ним изменилось, ибо трудились они честно, без хитростей и отлынивания, держались достойно, и это вызывало чувство какого-то ещё неосмысленного до конца не то что уважения — этого слова в то время применительно к немцам допустить было нельзя, — а простого человеческого отношения. Тронув костистого немца плечом, Наталья, на удивление себе, ощутила такую же, как у всех людей, плоть, и это больше всего привело её в какое-то непонятное смятение, будто она раньше не знала этого, не представляла да и не думала, что у них есть ещё и тело, уж не говоря о душе.

Немец, вытянувшись виновато, повторял одно и то же слово, Наталья, округлив глаза, непонимающе и понимающе смотрела на него из-под дрогнувших в горестном изломе бровей. Конечно, это были чужие слова, Наталья их не слышала ещё, но они не походили на те, «военные», что знала она прежде, и теперь поняла, что немец извиняется.

— Иншульдиген зи, иншульдиген зи, битте, — повторил он и в его приглушенном голосе чувствовалась не только неловкость, а и уважительность, которую можно встретить у мужчин к женщинам не часто.

Наталья молча кивнула головой. Немец еле заметно улыбнулся.

«Зачем всё это?.. Ведь он такой же, как я... И никакой не зверь... И кто всё это придумал?..»

## 10.

Пленные немцы, обращаясь к ней со словом «командант», будто нарекли: весной, когда снег сошёл и земля взялась мягкой опушкой зелени, Наталью вызвали в штаб части.

В ту пору находились они уже в районах Западной

Украины, местности для Натальи новой и необычной своим хуторским складом. Странно, что вместо привычных для неё сёл на русских просторах, встречались тут лишь отдельные, с подворными постройками, усадьбы, раскиданные друг от друга километра за два-три. Смотришь в одном месте, у перелеска, соломенные стрехи кольцом — хата, сарай для скота или, как тут называют, повитка, высокий конус клуни, приземистый дровник, — в другом, у самой низины раскатистого яра, в третьем — на самом яру увальной хребтины, где, видно, судьбою выпал лоскутный надел. По узкой стежке, пробитой в плотном, ещё невысоком дёрне, она спустилась вниз, к небольшому ключу, перешагнула ручей чистой, как стекло, воды, поднялась на пригорок, где стояла усадьба, обнесенная жердяной загородой. Вечерело. Окна, выделив крестовины, зажелтели слабым светом, во дворе, кроме часового, никого не оказалось. Наталья назвала пароль и вошла в узкие ворота.

По сути, она себя не считала военной, хотя носила гимнастёрку и солдатские, уже совсем сбитые, ботинки. Поэтому не имела моды, как другие молодаянки в армии, козырять рукой. Вошла, согнувшись под низкой притолокой, в крестьянскую хату и, ещё не различая лиц, поздоровалась, как это было принято у них на хуторе, с небольшим поклоном головы. Ей сделали замечание.

В хате было темно, горела вместо лампы сплюснутая под фитиль гильза от крупнокалиберного пулемёта. Однако Наталья уловила, как один из тех, что находился ближе к огню, поморщился. Его широкие погоны отражали свет серебряными зеркальцами, положенными на плечи, а высокая фуражка захватывала округлой тенью почти половину белёсого потолка.

За некрашеным столом сидело человек пять. Военные звания, которые Наталья различала уже хорошо, были у всех высокие, и она просто растерялась, кому следует доложить, что явилась по вызову, тем более, что офицеры, вероятно отложив свои дела, свели на ней не то любопытные, не то испытывающие взгляды.

И прежде она ощущала страшное стеснение, когда ей уделялось всеобщее внимание. Тот митинг на машине с опущенными бортами до сих пор, если вспомнит, отзывался в сердце, а здесь такое большое начальство, и она, остановившись у порога, не в силах шевельнуться, чувствовала, как у неё занемели ноги.

— Наталья Травкина? — вывел её из оцепенения всё тот же подполковник с блестящими серебром погонами.



— Травкина, — коротко ответила она.

— Ну, как вам работается?

Такого вопроса Наталья не ожидала. По правде, с тех пор, как оповестили её про вызов, передумала она о многом. Вообще, тяжёлое состояние переносишь, когда вот так идёшь в полном неведении, что тебя ожидает, и за дорогу чёрт знает что в голове перетрёшь. Была и затаённая слабая надежда: может, какая весточка о муже Иосифе объявится... Но тут же эту мысль притупила другая... Наталья даже в уме боялась произнести то страшное слово...

Ей следовало отвечать, а она молчала. Ну, как работается? Как всем. Ноша досталась тяжкая, да рази кому сейчас легко? Поди, весь свет на одном горе сошёл, хотя Наталья видела, что кое-кто удобно укрылся в затишку мастерских, война-то она не всем одинаково достаётся, кому мимо, а кому всё в рыло, да в рыло, как говорится, кому беда, а кому мать родна, да не о том толк и забота — скорее бы замирилось на земле, уж мочи нет больше терпеть...

— А как у вас с образованием? — спросил всё тот же подполковник, и Наталья поняла, что он тут главный.

С образованием один смех да и только. Из хутора до школы далеко, походила, пока снег выпал, а больше обуви не было. На второй год — ещё столько же.

— Вы сколько окончили классов?

— Один-два, хоть друг о дружку стукни.

Подполковник сразу не разобрал, а когда понял, чуть заметно улыбнулся.

— Вот тут её накладные, — сказал другой офицер, у которого на одну звезду меньше на погоне, а медалей на груди больше, и положил перед подполковником несколько листов.

Подполковник внимательно рассмотрел бумаги. Потом спросил:

— Так ты одна осталась?

— Чисто одна.

— А муж?

Наталья пожала плечами.

Кто его знает? Может, на хутор и приходят письма, да так и оседают в портфельчике, а вернее всего, не идут, возвращаются по обратным адресам, ведь там, в Троицком отделении связи, знают, что почту в хутор носить некому. Наталья впервые пожалела, что сорвалась с места, может бы уже знала какую весточку. Теперь со слов подполковника она поняла, что вызвали её не для того, чтоб сообщить, где Иосиф, и мысленно усмехнулась своим наивным надеждам...

На столешнице лежала ещё какая-то бумага, сложенная пополам. Наталья сразу и не заметила её. Но, когда подполковник перестал задавать душу выворачивающие вопросы и начал внимательно читать, что там написано, а все остальные стали ждать, пока он кончит, Наталья тоже положила глаза на тот чуть синеватый листочек. Она уже знала: на всех, кто нанимается в армию, заводят личное дело, это, наверное и была бумага на неё.

— А где вы находились во время оккупации? — перебил её мысли подполковник.

Опять это страшное военное слово. Наталье уже приходилось отвечать за него, будто она в чём виновата. Иногда из далекой германской кабалы возвращались невольники. Кое-кого отпускали по неизлечимой болезни, иным удавались побег. Числились они там, на каторжных работах, по номерам. Цифровую наколку наносили на руку, чуть ниже локтя, Наталье приходилось видеть эти страшные знаки. Теперь она чувствовала, что на неё тоже наложено какое-то клеймо, которое, как татуировку, и не снять, и не счистить.

— Блукала по свету...

— А чем занималась?

Ну, чем можно заниматься, как не спасением души, хотя с какой радости дерево, если на нем не уберегли листочки...

Отпустили её, когда уже совсем за вечерело, боязно было возвращаться назад. Как на допросе побывала. Выкрутили её вдоволь, как хотели. И так брали на испыт, и этак. Всю на изнанку вывернули. А чего добивались, не понять. Ничего ж она такого не сделала, не допустила. Думала, ночами глаз не смыкая, что б всё это значило, да молвить кому слово про тот вызов не решалась. Может, запрет в военное время таким разговорам, сколько вокруг всего засекречено, она сама ставила подписи на всяких предупредительных документах.

Лишь через три недели Травкиной выдали военную форму, теперь уже настоящую, не обноски и назначили комендантом ремонтных мастерских. Немец как метил.

## 11.

Наталья пристроила на ящике зеркальце, подобрала одной рукой волосы, а другую примерила пилотку. Сразу преобразилось всё лицо.

Подбила пилотку на бок, чуть натянула на лоб, как делают солдаты, и, повернув голову, глянула как бы со стороны. Еле узнала себя. Военная одежда придаёт человеку мужественный вид, но в той женщине, которую отражал

небольшой осколок, скорбно прорезались прежде всего истрадавшиися черты.

Прихлопнула зеркальце оборотной стороной, уронила лицо в ладони.

Конечно, вся эта амуниция — и сапоги, и ремень, и погоны — подтягивает и строжит, да и в глазах окружающих как-то утверждает, вроде ты становишься сильнее, хоть под гимнастёркой бьётся всё то же слабое женское сердце. Но с тех пор, как Наталья увидела надвигающуюся зелёную форму с огоньками на животе, у неё как сложилось ко всему, что связано с войною, предосудительное отношение, так и осталось на всю жизнь, чья бы та форма ни была. Форма служит смерти, а не для жизни, что претит материнской сути. Никогда Наталья не думала, что сама влезет в неё...

Да куда более сильное потрясение она перенесла, когда её вызвали в особый отдел.

Сидя за деревянной перегородкой, под плакатом, призывающим убить зверя в его же логове, особист в портупее через плечо и гвардейским значком на правой стороне груди, развернулся на скамейке и, не вставая, допьялся к ящику, обитому железом, поднял крышку, вынул оттуда кобуру, положил на перила загороды. У Натальи обмерло сердце.

Тёмно коричневая кобура из добротной выработанной кожи лоснилась на истёртых до черноты гранях, и то, как эта зловещая штука тяжёлым тупым стуком легла на перила, означало, что она не пустая.

Наталья, положив руки на грудь, отступила назад.

— Пошто оно мне... — выдохнула стоном.

— Положено, — казённо ответил особист, и то, как он произнёс это слово, дало понять, в какие жёсткие тиски угодила она. Так, что и не выпрыснешь.

Особист справил бумаги, а Наталья неприкаянно стояла у стены, под плакатом, и ей невольно вспомнились слова: «Убей немца!»

— Мы переходим границу, — объяснил он, смягчая тон, — а там логово. Да и тут, по лесам, зверья всякого навалом. Сейчас без оружия нельзя.

Думала ли она, гадала, куда забросит её судьбина. Могла ли допустить, что очутится бог-весть где, в глуши неведомого края, о котором и помыслить не могла, сидмя сидя тридцать годов на хуторе, ведь за всю свою жизнь она и знала-то всего Троицкое да материну Ястребовку...

— Расстёгивай ремень, — оборвал Натальины мысли особист, усекнув её замешательство.

Туго соображая, захваченная тяжкими думами, Наталья не уловила пошлости во фразе особиста. Сняла руки с груди, щёлкнула пряжкой. А он, выйдя из-за своего прилавка, живо перехватил ремень, ловко нанизал на него мочку кобуры. И, молодецкато угнувшись, обвинил её талию поясом, норовя пальцами ужать бёдра.

Вскрикнув, Наталья отскочила. Металлическая штуковина, обтянутая кожей, грохнула на пол. Только тут Наталья поняла, что произошло.

«И как он может!» — в отчаянии произнесла мысленно, чувствуя, как участилось дыхание.

С тех пор, как она попала в армию, кроме всех прочих невзгод, приходилось ещё испытывать на себе давление облапывающе-похотливых взглядов щеголеватых офицеров, терпеть похабные шутки отъевшихся старшин. И чем дальше двигался фронт, чем сытнее становилась в армии жизнь, а с переходом через границу начхозы вольнее не гнушались подножным прокормом, тем наглее становились увивания напорных приставал. Никогда не думала она, мысли не допускала, что в таком строгом и суровом деле, как война, придавившая неизбывным горем, найдётся место для постыдного блуда. Как перед концом света обезумели люди...

Да в следующую минуту она зацепенела, перетрусив задним числом, как эта штуковина, что грохнула на пол, не пальнула!..

— Распишитесь вот здесь, — сухо, отчуждённо произнёс особист и указал пальцем на графу в журнале.

Наталья старательно, чтоб не покривить почерком, медленно, затягивая время и отдаляя ту неприятную минуту, вывела свою фамилию, положила ручку. Робко, насильно потянулась к темнеющей кобуре, и первое, что ощутила, так это вес. Пистолет оказался намного тяжелее, чем она предполагала. Невольно подумалось, как всё то, что губит жизнь, сделано основательно и прочно, и как то, что стоит против бранной беды, зыбко и разимо.

Несколько дней Наталья не решалась ходить с оружием. Так тяжела была эта подневольная ноша. Ей бы жизнь понести под сердцем, а не смерть...

Подпихнула увесистую кобуру под сенник, вроде забыла, а мысль та сторожко стояла всё время на чеку и куда бы ни пошла, что бы ни делала, выкинуть из головы её не могла. Но и оставлять без особого догляду проклятую машинку нельзя. За тот кусок железа, так ловко, старательно выделанный умельцами ружейного дела, и за решётку сведут.

В овраг, на стрельбы, Наталья приохотилась к Марфе. Метилась Марфа без промашки, пистоль брала запросто, как ухват или кухонный нож. Пригнанная по ладони рукоятка пистолета начисто, без остатка, тонула в её широкой мужицкой руке.

— Я колы ходыла в осовиахим, то там и воздушка була и мелкашка. А патронив сколько хочешь. Инструктор вторювся, так я вже настрилялась, — озорно подмигивала она.

С трепетным, каким-то внутренним страхом Наталья смотрела на тёмно-округлую дырочку воронёного дула, откуда идёт смерть.

— Ты ось так, — учила её Марфа, — ливу ногу вперед, а плечи трохи розверны.

Собрав все, что ни на есть морщины у висков, Наталья стискивала веки, и как ни готовила себя, всё равно от резкого хлопка вздрагивала, хотя стреляла Марфа. Иначе не могла.

— Шо ж тут такого! — дивилась Марфа и, оттянув и тут же спустив на место верхний металлический брус, передала пистолет Наталье.

Минута далась трудно. Надо было превозмочь что-то такое, чего она не могла. Не смела. Что перечит всему её материнскому существу. Взяла пистолет, и он ожёг руку мертвяще холодной твердью. Тот холодок оледенил душу, напомнил самую страшную ночь, когда она, пересиливая смертельный недуг, нанесённый ранами, дотянулась, прощаясь, горячее в жару ладонью к остывшему лобу Вани...

— Шо ты! — не поняла Марфа.

Она подошла вплотную, взяла Натальину руку и через её палец сверху нажала на спусковой крючок.

Выстрел хлопнул незамедлительно. Сильный толчок ударил в плечо. В ноздри въелась пороховая гарь.

## 12.

Как-то по осени, уже за Вислой, к мастерским подъехала полуторка. Из кабины, хлопнув дверцей, вылез измятый сержант с медалями на груди и пышными усами на загорелом лице. Волосы на голове у сержанта были светлыми, усы чёрными, с винтами на концах. Сержант подошёл к часовому на проходной.

— Слушай, паря, — обратился по-простецки, — как бы нам загнать старушку на яму.

И кивнул на свою полуторку.

Часовой, примкнув ложе винтовки со штыком к ноге, не ответил.

— Чё ты, будь человеком, — отступил назад сержант.

— Не положено, — коротко ответил часовой.

— Знаю, что разговаривать на посту не положено, а ты кликни кого.

— Он — комендант, — махнул свободной рукой часовой во двор.

— Иде?

— А вона.

— Дык то ж баба! — воскликнул сержант.

— У нас комендант Травкина.

— Травкина?.. — удивляясь, произнёс сержант.

— Да, Травкина, — утвердил часовой.

Наталья обратила внимание, что у ворот происходит что-то непонятное, приблизилась к забору.

— Сержант Орлов, — отрекомендовал себя бравый усач.

Выяснив, что надо, Наталья разрешила заехать.

— Знаете, с благодарностью говорил сержант, — поспешая следом за комендантом, — без ямы нам не обойтись.

И на ходу подкручивал усы. Наталью эти буравчики раздражали и смешили.

— А если б у вас нашлось болтиков на шестнадцать штуки четыре и вовсе было бы прелестно.

— На шестнадцать найдётся, — ответила Наталья и крикнула часовому: выпустишь потом!

Часовой согласно кивнул головой, а Наталья пошла в кладовую за болтами. Сама не понесла, послала Марфу, которая к тому времени заняла её место кладовщицей.

Шофёр залез в яму и возился недолго, что-то с полчаса. Поддомкратил одну сторону, ослабляя рессору, затем перешёл на другую. Сержант, оставаясь наверху, согнулся в три погибели, и, вывернув бычью шею, отчего глаза его налились краснотою, заглядывал под колёса, давал руководящие указания. Наталья, захопотанная своим, выпустила их из головы. Как вдруг её позвали.

«Чё ищё там?» — повернула голову в сторону полуторки.

Если б знала, не теряла времени, а то, вишь, какое важное дело.

— Спасибочко превеликое, — картинно выставлял свои усы сержант, — ей-богу, не добрались бы до расположения.

— Да не за что!.. — всегда испытывала она какое-то стеснение в таких случаях, если ей выражали благодарность.

Надо было выгонять машину за ворота, а сержант мялся.

Он явно хотел что-то сказать ещё.

— Тут вот какое дело... — начал несмело сержант, и Наталья подумала, что они будут просить ещё что-то. — Мы слышали, что ваша фамилия Травкина?

— Травкина... — остановилась от неожиданности Наталья.

Сержант Орлов тянул, Наталья, предчувствуя что-то ещё неясное, настороженно заволновалась. Сердце её замерло, а дыхания не стало: может, о Иосифе что?..

— У нас тоже в части есть Травкин.

«Слава богу», — отлегло на душе, и она с облегчением вздохнула.

— Возможно, какой родственник, а то — муж?

— Кто иво знает, — произнесла она и спокойно добавила: Травкиных много на свете...

Сержант со своим шофёром уехал, а разговор не выходил из головы. Так всю ночь и промаялась в смутных догадках. Думала Наталья о нём, Иосифе. И хотя она не видела его в военном — как ушёл в своём пиджачке и самодельных черевиках, так и остался в глазах — и не представляла, как он мог выглядеть в гимнастёрке и галифе, всё виделся он ей то вымученным после тяжёлого ранения, то вот таким, бравым, с медалями и солидными, как теперь, к концу войны, стали заводить многие, усами, и она гнала радостные, печальные мысли долой, но они упорно сопротивлялись и мучили обессиленное к утру сознание...

А сержант Орлов, встревоженный случайным совпадением, тоже не мог успокоиться. Вернулся в своё расположение, отыскал Травкина. Тот как раз чистил колесо походной кухни, стоя на колене.

— Что делаем? — подошёл к нему бодро, уверенный в добром деле.

— Да вот... — указал на поломанную спицу Травкин.

Вообще, Травкина в части знали, как мастерового человека, руки его были действительно золотые, и их приберегали для всяких поладок.

— Слушай, паря, ставь магарыч.

Иосиф, не обращая внимание на болтовню Орлова, копался в ступице долотом, выковыривал трески дерева.

— Ты чё ж, глухой?

— А тебе чего? — серьёзно спросил Иосиф, не выпуская долото и молоток из рук.

— Жену твою нашли, говорю.

На те слова Иосиф не обратил а никакого внимания, мало кому взбредёт охота поболтать языком на подвесах. Внимательно сосредоточась, примерил затесок новой спицы

в норку ступицы, чиркнул гвоздём метку, где обрезать.

— Правду говорю.

Вдруг мысль как-то повернулась, и он опустил молоток наземь. Всякого случалось повидать на фронтовом веку — вызволяли из концлагерей пленных, вызволяли и гражданских, угнанных в неволю даже с детьми, и у него мелькнула страшная догадка о том, что среди всего этого подневольного, изведенного под корень люда могла оказаться и его Наталья с малыши. Та ж хуторская сторона он сколько ж под ним, супостатом, была, и оттуда сколько не кидал в последнее время, как освободили, солдатских треугольников — никакого отзвука.

— Иде?.. — еле продохнул. Руки у него дрожали, кадык ходил вверх-вниз.

— В армии.

«Ну, это уже чистая, без подмеса, коротенька побрехенька, — отлегло от сердца, — тут меня не купишь».

В следующую минуту он уже возмутился: рази можно так изгаляться над живою душою! Что за смешки! С этим не шутят.

— В армии, говорю! В мастерских служит. Комендантом.

Куда ей до армии, когда за подол четверо тянут — мал мала меньше. И какой из неё, деревенской бабы, да ещё и комендант!

— Натальей зовут?

— Натальей... — оторопело моргал глазами.

— Константиновна?

— Константин отец был... — ещё больше дивился Иосиф.

— Высокая?

— Высокая.

— Красивая?

— Ну дак! — улыбнулся.

### 13.

Сержант ушёл, заронив смятение в душу, а боль оставил. Невысказанную. Выстраданную. Не давала она продыху, не давала жить. И что ни делал, всё валилось из его золотых рук.

Ночь не спал, наутро явился к своему командиру части. Объяснил всё, и его отпустили. Военская часть, где он служил в ту пору, находилась во втором эшелоне, после ранения Травкин уже не числился в строевых, а так, скитался по тылам на подсобных работах.

Точно десяток лет свалил разом наземь тяжким грузом, первый раз за всю войну примарафетился, как, было,



молодой, зачесал чуб, который к тому времени уже особо не запрещали в армии, вышел, весь подтянувшись, на КПП и упрямился на попутную машину.

Иосиф толковал с часовым, доказывая, кто он и зачем, а глазами шастал по двору. Увидел женскую фигуру в гимнастёрке и, ещё не узнав, распялся на железных прутьях ворот.

Она, точно сердце почуяло, вскрикнула внутренне, повела глазами — обмерла...

Нет, это был не он. Не его стать. Чёрное, исстарившееся морщинами лицо. Запалые, точно вытекшие, глаза...

И — он. В человеке всегда остаётся что-то такое, что навеки роднит его с другим человеком и что никаким временем вытравить нельзя. Это был он, её Иосиф. Обнялись, потерявшись, уронив головы, беззвучно забились судорожной дрожью плечи.

— Где ж дети? Дети где? — Очнулся он первым, глядя на неё, и, ещё не рассмотрев, не признав по-настоящему за свою, насторожился. Глаза невольно искали ещё кого-то, хотя не верилось, что такой выводок можно за собой волочить по ухабинам войны.

Щадя солдатovo сердце, она не сказала ему о детях, надо было немного отойти от встречи, хотя он сразу что-то уловил в её уклончивом взгляде, в горьком скриве губ. А тут люди вокруг. Диво-то какое. Почти со всех мастерских сбежались. И никто никому никаких вопросов — всё понятно и так. Не к месту слова, ничего сейчас незначащие.

Вечер был тяжкий. Самый чёрный из всех. И как только его снести. Их оставили наедине, и они потерялись, о чём говорить. Нет, за годы войны собралось столько, что и за всю жизнь не разведёшь, а уста разомкнуть не в силах. Наталья, уронив голову на грудь мужу, выплакивала последние слезинки, а горло душила такая сухота, такая боль, какой ещё не было. Никогда она не думала, что боль живёт своей жизнью, идя где-то рядом с тобой, и может быть сильнее, чем при горе...

— Где ж дети?.. — упорно он стоял на своём.

В первый день она ничего не сказала ему, щадила. Перепоручила, мол, добрым людям, и он, отшатнувшись, осуждающе посмотрел на неё — как это можно оставить четверых на чужие руки? И этот укор тоже надо было перенести...

— Что это? — взял он её руки в свои.

На тыльной стороне ладони виднелось круглое, в копейку, пятнышко. Пуля, пройдя сквозь руку матери, смешала кровь

матери и младенца.

Его интересовали подробности, а подробности мучили её, и он замолкал надолго.

— Какая ты у меня исстрадавшаяся...

В окне уже светало, а они всё сидели, не видя друг друга, смутно чувствуя далёкую отвыкшую близость.

— Как же это?..

— Кто иво знает?..

Разные толки по земле блукали подпольно, в то время и дыхнуть о том нельзя было. Говорили, будто в одном из сараев хутора остались наши раненые. Вывезти не успели при отступлении. Немцы стали подходить, кто-то из раненых выстрелил в щёлку между брёвнами... Их выдали. Немцы за убитого своего солдата, зашли цепью, выстригли всех поголовно, кто находился в хуторе.

— Ты видела его? — неожиданно спросил Иосиф.

Наталья не поняла.

— Ну, который?..

— А как же. Высокий такой бежал. Узкоплечий. Каска на лоб, лицо рудое, нос крючком. И золотые огоньки на зелёном животе...

Долго сидели молча. Потом он спросил:

— Узнала б?

— У него шрам на щеке.

И ещё он спросил:

— Ну, а если б сустрелся?

Наталья не ответила.

#### 14.

Каждый раз, как приводили на работы немецких пленных, Наталья, холодея сердцем, проведёт беглым взглядом поверху, по головам, задерживаясь на высоких, моля бога, чтоб не попался тот, которого запомнила на всю жизнь, и, не найдя, крестясь в уме, отходила постепенно тем же сердцем.

Война тем временем приближалась к своему завершающему концу, настроение поднималось и командование, узнав о такой небывалой встрече, оставила Травкиных вместе, при тех же мастерских, тем паче, что Иосиф в строевых уже не значился, а руки у него на всё гожие, и в их ремонтном деле тоже. Отвели им небольшую каптёрку, где поместилась всего кровать да сбитый из ящиков стол с осколком зеркала, в которое Наталья стала смотреться чаще. Жили они, как ещё никогда, щадя друг друга, Иосиф жалел её, глядя, какая она несчастная...

И материнская плоть, то ли истосковавшаяся по настоящей жизни, то ли по своему назначению, пробудилась. Наталья понесла.

Но в том никому не призналась. Ходила по земле святою, храня таинство. И если б кто внимательно пригляделся со стороны, то мог заметить, что движения её стали сдержаннее, а осанка покладистой и степенней, как и должно у будущей, уж если уже не бывшей, матери.

Как-то на плацу перед мастерскими выстроили для пересчёта новую партию пленных. Наталья, проходя мимо, бросила исподбровный взгляд, повела поверху машинально глазами, как всегда, как привыкла, и уже намерилась в кузнечный цех, как остановилась. Глаза о что-то споткнулись, а сердце дрогнуло. Прошла мимо, вернулась. И — узнала шрам. Через всю щеку от скулы к губе. Тот самый, который узрела она, когда немец надвигался на неё с автоматными огоньками на животе. Вся боль сошлась в одно у сердца, рука невольно потянулась к поясу.

Наталью узнать он, понятно, не мог. Мало ли таких прошло через его руки. Это она, единого, отпечатала памятью навечно — в железной, надвинутой на лоб, каске, с браво закатанными по локти рукавами, с куцей корягой автомата на шлее через плечо, он бежал, не чуя под собой стонущей людским горем земли, люто сметая всё подряд, неся ещё небывалое зло.

Она растегнула кобуру, и всё в ней сжалось до предела. Весь мир сузился в одну точку.

Да это был уже не тот немец и как бы не то зло. Он, съёжившись, держа застывшие кулачки в карманах распушенной, без пояса шинелишке, стоял на снегу в опорках, закутанных рогожей. Раскатанная пилотка была натянута до самых ушей, шрам почернел, а синий крючковатый нос обречённо торчал из поднятого, куцега и негреющего, воротника. Претерпевая холод, немец ждал, пока закончится пересчёт и, ничего не подозревая, смотрел на хлопочущих солдат охраны.

Ум что-то медлил, а рука тянулась к беде. Тронула холодный металл, на мгновение остановилась. Тот смертный холодок жгучей болью отозвался другим, таким похожим, когда она, прощаясь, дотянулась простреленной ладонью к остывшему лобу...

Нашупала рукоять, её рубчатый бок, весь в нарезках, но такой же холодный, как вдруг что-то глубоко под сердцем, глухо, утробно, давая о себе знать сюда, на свет, стукнулось живое, и пальцы её дрогнули. Преодолевая ещё невиданное

сопротивление, собрав все воедино, какие у неё были, силы, ещё не осознавая до конца, что делает и для чего, Наталья с трудом размыкая пальцы на притягивающем, как магнит, металле, одёрнула руку. И застегнула кобуру.

Чтоб никогда не расстёгивать её.

### P.S.

Когда-то я выступал на комбинате строительных материалов, что в Алексеевском районе Белгородской области. Был как раз юбилейный год, и я вспомнил о трагедии на хуторе, как называла её Травкина — Калиновка, и как его именовали официально — Красный. Смотрю: в зале женщина вытирает платком слёзы. Подходит позже, говорит, что среди расстрелянных там детей и её родные. Видная, рослая женщина лет сорока — а это было на 40-летие Победы, в 1985 году — называет пятнадцатилетних подростков дядей Мишей и дядей Егором.

Это оказалась Нина Николаевна Турова — дочь Марии Фоминичны Черных, которая приютила израненную Травкину у себя в Троицком. Нина Николаевна и помогла мне встретиться с Натальей Константиновной.

И вот я подхожу к дому, где живёт Наталья Константиновна, волнуясь, сейчас увижу мужественную женщину с такой мирной фамилией — Травкина. Что она расскажет и захочет ли? Сколько осаждают её с расспросами, а каждый раз всё надо пережить заново, перенести...

Дверь отворилась, и передо мною выделился силуэт женщины. Дальний свет падал из-за спины, трудно было рассмотреть её лицо, но я понял, что это она, по незгорбленной, хотя и под восемьдесят, фигуре, по спокойным сдержанным движениям.

Небольшая комната, деревянный шкаф ручной работы, скамейки, сделанные, как я узнал позже, хозяином — мастеровым человеком. Мужа своего, Иосифа Кузьмича, она уже к тому времени похоронила, дочь Вера вышла замуж, живёт Наталья Константиновна одна.

...С тех пор как, случилась трагедия, прошло более сорока лет. И я беру эти израненные руки в свои. Руки матери, в отметилах шрамов. Растивших хлеб. Пестовавших детей. Я беру эти святые руки в свои и с невероятным усилием над собой, с болью в сердце, силюсь представить, как вот сюда, в белесое пятнышко на тыльной стороне ладони, поддерживающей головку, вошла пуля, смешав кровь матери с кровью ребёнка...

— А дети до сих пор приходят ко мне по ночам. Боря

занесёт дров, а то у мамы, мол, палец болит (это он знает, что я пораненная) и я просыпаюсь, и слышу, как ноют мои руки... Одно время Ваню видела. Часто. Почти каждую ночь. А потом отошёл...

Наталья Константиновна замолкла, долго сидела, не шевелясь. Сжались, белея, губы запалого рта. Судорожно дрогнули изрешеченные пулей пальцы рук.

Кто приходит? Да разве расспросишь каждого?.. Чаше они спрашивают. Привечала всех одинаково — и школьников, затеявших сбор в её квартире, и многих приезжих с фотоаппаратами и записными книжками. Не знала она, что среди гостей были скульпторы и художники.

— Вам рассказываю, а сама не могу... Когда от меня уходят, обтираюсь холодной водой. И там, у памятника, боялась, что не выдержу... Набили мне рот таблетками... Но говорила, кажется, правильно, откуда слова брались... Вот, альбом подарили...

Листаю картонные страницы.

— А это кто, Ваша дочь? — указываю на девочку, что изображена рядом с Натальей Константиновной на памятнике.

— Марина. Яковлева Марина Ивановна. Нас из высылков осталось-то двое... Когда солдаты заскочили в хату, девочка притворилась мёртвой. Отца и мать с братишкой расстреляли, а она жива осталась... Живёт в Киеве.

Наталья Константиновна как-то вся подобралась и уже другим голосом продолжала:

— А дочь с внучкой бывают у меня часто. И зять Анатолий Григорьевич возит меня к памятнику, это недалеко. Там, под плитою, пятеро моих с мамой... И на то место, где был наш выселок заезжаем. Там сейчас хлеб растёт.

\* \* \*

Наталья Константиновна Травкина отошла в 1985 году. После войны родила девочку. Пятого ребёнка нарекли Верочкой. Вера Иосифовна окончила Курский медицинский институт, замуж вышла тоже за врача — Анатолия Григорьевича Степанова. Сейчас Вера Иосифовна работает во Второй поликлинике города Старый Оскол; Анатолий Григорьевич — заведующий наркологической поликлиники. В их семье родилась девочка — Леночка. Она уже выросла и тоже избрала себе самую мирную профессию на земле, работает врачом в железнодорожной больнице. Появился на свет и правнук Натальи Константиновны — Андрейка...

И всё же!

И всё же: как ни пытался враг вырвать корень Земли Русской, а побеги от него золотые пошли. Да и как изведёшь его, наш род, если у него есть такие святыя матери, как Наталья Константиновна Травкина, способные своим титаническим мужеством вынести невероятные тяготы самой лютой години, чтобы дать бесценное потомство, заложив целительные гены в будущее родного Отечества.

## ПОЭЗИЯ

Дмитрий РАКОТИН

## «Разумом тихо по книгам бреду...»

\* \* \*

Разумом тихо по книгам бреду.  
Много простора.  
Много в истории — в нашем саду —  
Яблок раздора.  
Всё, коль не грусть,  
Так печаль и тоска.  
Всё — как не надо.  
Тщусь я хотя бы одно отыскать  
Яблоко лада.

\* \* \*

Её чубайсам не понять  
И хакамадам не измерить.  
У ней особенная статья:  
Всё вознести и всё похерить.

О, ей саму б себя поднять!  
В беде ж никто ей не поможет.  
Себя рассыпавши, опять  
Она собрать никак не может...

\* \* \*

Вот вышел дворник в стареньком пальто,  
Метлу сжимая сильными руками...  
Я дворников ценю хотя б за то,  
Что очищают мир не языками...

У депутатов — «бабки» не вопрос,  
Те их гребут кликушеством и лаем.  
А дворника зарплата с гулькин нос.  
Ему, ему оклад бы краснобаев!

\* \* \*

Беда не в том, что недоучка  
И что стихи идут с трудом,  
А в том, что ты их пишешь ручкой,  
А надо — сердцем и умом...

### О ВРЕМЕНЩИКАХ

Лгунов, проходимцев — к награде.  
Чем лживей, тем боле «мастит».  
Девиз их: не думай о правде,  
Неправда того не простит.

И муза у них словно сводня,  
И нет в карманах сквозняка.  
Таких обожают «сегодня»,  
Зато презирают века.

\* \* \*

Плакат, воспевающий труд.  
Завод — на овраге овражина.  
С деревьев вороны орут  
Азартно и слаженно.

Труба, этот гимн человеку,  
Вонзилась в туманы, как дышло.  
Тут строили что-то с полвека —  
Не вышло...

### Н.Ч.

Террор зимы. Зима вершит своё,  
Ей наплевать на трудности, потери.  
А мы с тобой заложники её,  
Как выйти нам из яростной метели?

Она — стена, и в ней просвета нет.  
Ещё вчера порхающие скупю,  
Снежинки полонили белый свет,  
От этих мух отмахиваться глупо.

Не вызволить нас и богатырям!  
Крепка снегов языческая ласка.  
Но всё равно мы рады этим дням.  
Террор зимы — пленительная сказка.



\* \* \*

Гвоздит метель, былое подминая.  
И недожизнь — как будто недосмерть.  
Куда ведёшь меня, тропа земная,  
Сквозь какофоний злую круговерть?

Ни в песнях, ни в словах родного края  
Я не найду гармонии уже.  
И только с неба льётся, не смолкая,  
Мелодия, созвучная душе.

### **А. А. БЛОК**

Путь к искусству длинен и тяжёл,  
Он в тумане склок.  
Но над ним, как солнышко, взошёл  
Александр Блок.

Озаряя землю что есть сил,  
Прожигая гиль,  
Он в обычных женщинах Руси  
Разглядел богинь.

Славно пел во мгле российских гроз,  
Не скверня уста.  
Лишь Иуду в венчике из роз  
Принял за Христа...

\* \* \*

Опять мой день бурлит ручьём,  
И можно жить не беспокоясь;  
Опять все беды нипочём,  
И все преграды лишь по пояс.

Опять в душе весна поёт,  
Как птица в гулком перелеске,  
И жизнь янтарно предстаёт  
Во всём своём жестоком блеске.

\* \* \*

Куда ни глянешь — всё одно.  
Союз, как связь времён, распался.  
Сгорела Родина давно,  
Лишь дым Отечества остался.

Всё лживо: люди и «страна»,  
Деянья, помыслы и мысли.  
И лишь Поэзия одна  
Не обманула в этой жизни.

\* \* \*

Уже былого не обрести.  
Не с нами это поколение.  
И нет любви к тому, что есть,  
А есть большое сожаленье...

Планета бедная летит  
В слоях небес необозримых.  
И синим пламенем горит  
От бесов. Зримых и незримых...

\* \* \*

Я вновь повторяю —  
Россия...  
Нет веры. Безрадостен путь...  
А всё же страна —  
это сила,  
Которую надо вернуть!

Встряхнуть зарубежную плесень,  
Ударить сильнее в набат!  
Чтоб тихие русские песни  
Звучали вокруг, а не мат.

Замызгано слово «свобода».  
Оставим его для невежд.  
Покошено столько народа,  
Потоптано столько надежд!

И все мы — и жертвы, и судьи  
«Идей», тупиковых путей...  
А всё же страна —  
это люди...

Надеюсь  
на лучших людей.

## ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей РАСТОРГУЕВ

## ГРАЖДАНИН БАТЮШКА

...Худой и, словно от незримого груза, сутулый отец Владимир с улыбкой осенял крестом подходящих к нему под благословение. Картина, обычная ныне в ограде старинного собора Рождества Пресвятой Богородицы, где он служит, или любого иного из многочисленных – опять же ныне – храмов Алатыря. На сей раз, однако, дело происходило в гражданском, по-советски стандартном здании городской гимназии № 6, где через несколько минут начиналось вроде бы вполне мирское мероприятие – педагогический семинар «Отечественное образование». И под благословение, не таясь от других, подходили хотя и редкие, раз-два и обчелся, но ученики и учителя. Так что сторонний взгляд вполне мог оказаться как минимум недоуменным...

Категоричные ревнители безусловного отделения церкви от государства могут не беспокоиться. За первый год факультативного изучения в алатырских школах курса «Основы православной культуры» контролирующие органы дважды придирчиво проверяли, соответствует ли материал утвержденной программе и согласны ли родители на то, чтобы их дети этот предмет проходили. А в недалеких Чебоксарах под конец этого года сразу 25 учителей отказались продолжать преподавание – то ли те же самые проверки достали, то ли просто душевных сил не хватило.

С другой стороны, «Бог» и прочие изначальные слова сегодня произносятся во всеуслышание уже немногим реже, чем поминалась прежняя священная троица Маркс-Энгельс-Ленин. Так что православные вполне могли бы открыто приветствовать друг друга, как им полагается, во всех общественных местах. А вот поди же – только и именно в Алатыре открылась мне во время недавних майских Дней славянской письменности и культуры такая непривычная, прямо скажем, картина.

Один из многих

Имя «Алатырь» уже само по себе отдает загадкой. Именно так, к примеру, в старину называли янтарь, а материнское

для него Балтийское море – соответственно, Алатырским. Человек же, хотя бы немного знакомый с русским фольклором, скажет, что именно здесь, в Поволжье, должен отыскаться иной камень – бел-горючий. И посреди текущей из-под него быстрой речки непременно найдется част-ракитов куст, а на том кусте – орел, а под его правым крылом – черный ворон. И ворона того орел не бьет, но спрашивает: «Где ж ты летал, что видывал?». А видывал известно что – лежащее в поле тело...

Реальная история песне под стать. Именно здесь, на широком берегу у слияния рек Алатырь и Сура собирал войска перед казанским походом в 1552 году Иван Грозный – о чем и гласит первое упоминание города в летописях. И основан он был как крепость на одной из пограничных засечных линий, и набегу ногайцев изведаль, и безумие пугачевского бунта. В изданный к 450-летию Алатыря его современный летописный свод, к примеру, включен реестр 252 человек в возрасте от пяти месяцев до 90 лет, разными способами убитых «злодея Пугача разбойнической толпою».

В послужном списке алатырской земли – и рождение целого ряда героев обеих Отечественных войн, деятелей науки и культуры, и много иных малых дел на пользу Родины. Но в самом начале городского летописания с великой военной экспедицией соседствует лишь одно событие – постройка теплой соборной церкви с приделом Иоанна Предтечи, в который «царь Иван Васильевич Грозный пожаловал образ Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи в окладе».

Свидетельствуя о значении, которое, очевидно, придавалось новому граду, такое пожалование все-таки не позволяет назвать Алатырь одним из явных исторических центров духовного благочестия. В качестве пограничной крепости он утратил свою роль уже в 18 веке, и дальше пребывал в состоянии не самого последнего, но лишь одного из многих уездных городов весьма распространившегося с тех пор на юг и восток Отечества. По преданию, правда, именно сюда для своего иноческого подвига мог быть направлен Прохор Мошнин, позднее прославленный как Серафим Саровский. Однако именование Алатырского закрепилось за подвизавшимся здесь в 17 веке схимонахом Вассианом, мощи которого были обретыены в середине 18 века, но затем погребены вновь, и точное место этого погребения пока что остается неизвестным.

Причина этой неизвестности – в истории века 20-го. Повествующий о ней второй том того же летописного свода

сохранил недолгую цепочку последовательного искоренения как внешних проявлений религиозности посредством, к примеру, строгого предписания всем без исключения школьным работникам под страхом увольнения «не петь в церковном хоре, не участвовать в процессиях и богослужениях», так и самих церковных зданий и служителей.

Впрочем, недолгую – да не всю. Расстрел одного из священников, казненного 1 декабря 1918 года вместе с «одним здешним буржуем», военным руководителем и тремя солдатами для острастки взбунтовавшихся красноармейцев и демонстрации беспристрастности и беспощадности новой власти, упоминается. А вот сведения о закрытии в 1932 году старейшего в округе Свято-Троицкого мужского монастыря и расстреле его последнего настоятеля архимандрита Даниила со всею братией можно почерпнуть пока что лишь из собственно церковных источников. В целом же в число трехсот новомучеников, канонизированных недавно Русской Православной Церковью, вошли трое алатырских священников, погибших в первые советские годы.

Так что единственной действующей церковью Алатыря долгие десятилетия оставалась Крестовоздвиженская, изначально бывшая кладбищенской. На месте же самого погоста, как водится, возвели стадион и другие постройки, а вековые камни с него тоже вполне по-советски пошли на строительство электростанции...

Словом, хотя из его дооктябрьских соборов и церквей до нас дошли аж полтора десятка, особого, из ряда вон выходящего рвения в отстаивании своих святынь советский Алатырь не проявил. В общую для страны линию – на этот раз медленного возвращения – вписывается и восстановление архитектурного облика собора Иоанна Предтечи, предпринятое по инициативе группы авторитетных горожан в 1970-е годы. Тогда уже и власти осознавали, что восстановление старейших архитектурных памятников – разумеется, не более чем для размещения в них музеев – «имеет для города и района большое культурное и воспитательное значение и одновременно украсит город интересным архитектурным ансамблем». А все работы в качестве коллективного члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводил местный оборонный завод «Электроприбор».

В те же поры зашел разговор и об исторических и охранных зонах, о сбережении старинного центра, опять же дошедшего до наших дней в значительной сохранности. Но

даже возвращение церкви в середине 1990-х годов оставшихся культовых зданий и возобновление Свято-Троицкого мужского и Киево-Николаевского женского монастырей не позволяли Алатырю претендовать на соответствие еще одному толкованию своего имени – краеугольный камень, положенный Спасителем в основание храма.

Пожалуй, город, по своему светскому статусу остающийся просто одним из райцентров Чувашии, и сейчас не претендует на это. Но и малой песчинкой в скрепляющем прочие камни растворе его нынче тоже не назовешь...

### Духовным трудом

Будучи в одной из своих прежних ипостасей профессиональным музыкантом и фольклористом, отец Владимир – в миру Владимир Теплов – конечно же, и сам не хуже многих ощущает песенное звучание алатырского имени. Но для себя считает главным иное созвучие: алатырь – алтарь, место, где приносится жертва Богу. И сами отношения человека со Всевышним, по его убеждению, возникают именно и только на основе такой жертвы или, во всяком случае, труда, совершаемого духом.

Он и сам принес эту жертву, перебравшись из более чем миллионного Екатеринбурга в сорокатысячный Алатырь. Возможность переменить мегаполисное мельтешение на тихую провинциальную благодать иные почитают за счастье. Однако Теплов оставил на Урале не только мимолетную суету, но и дело, которому отдал полтора десятка лет – вполне авторитетный и качественный, хотя и самодеятельный музыкальный коллектив и созданные вместе с единомышленниками областной Дом фольклора и авторскую Школу народной культуры. И уехал в полную для себя неизвестность, где, служа первое время в совершенно неотопливаемом храме, до несмыкания застудил голосовые связки и потерял певческий голос.

Посредине жизни в сумрачном лесу блуждают многие, и в мирской интерпретации такой шаг вполне можно списать на пресловутый кризис среднего возраста, который к тому же пришелся на пору кризиса и распада целой страны. Совпадение тоже духовно важное, поскольку все, что делал Владимир, было направлено как раз наоборот – на сохранение и возрождение. Еще в свою партийную – вполне искреннюю на моей памяти – бытность он, по собственному признанию, недоумевал над словами «Интернационала» о

разрушении старого мира: «Зачем разрушать?»

Уже тогда в нем, как и во многих его товарищах, явственно просматривалась тяга к абсолюту. Так что появление на его жизненном пути отца Иеронима, который долгие годы подвизался на Афоне, а в 1998 году был призван из Иерусалима на пост игумена все того же Свято-Троицкого монастыря, оказалось лишь делом времени – или, как скажет глубоко православный человек, Божьего промысла.

Так или иначе, для нынешнего отца Владимира тот самый бел-горючий камень стоит на пограничье между жизнью и смертью – и приходят к нему люди, ощутившие себя именно на этом рубеже. И делают выбор: с Богом они живут далее или нет. Из Екатеринбурга за Тепловым по этому пути последовал еще один сотрудник Дома фольклора, филолог Олег Востриков – ныне отец Олег, старший священник Киево-Николаевского новодевичьего монастыря. Недавно благословение отца Иеронима на переезд с Урала получили еще несколько его духовных чад.

Но прирастает в Алатыре не только уральская диаспора – и не только теми, кто переходит в духовное звание. Мирянином, к примеру, остался музыкант и опять же фольклорист Сергей Дымов, перебравшийся из Санкт-Петербурга – благодаря чему теперь алатырцы могут наяву услышать распев старинным способом, «крюками» записанной былины или наигрыш на гусях, изготовленных по древнему новгородскому образцу. А куда больше тех, кто время от времени приезжает сюда в качестве паломника.

В числе этих паломников встречается и немало людей, которые облечены властью, весьма обеспечены и, судя по состоянию и росту монастырских строений, жертвуют немалые суммы. Мирской комментатор здесь наверняка отдаст должное управленческому таланту настоятеля. А директор той же гимназии № 6 Владимир Федоров на Пасху пообщался с одним из благодетелей обители: «Зарабатываю, говорит, много, но себе оставляю мало, остальное отдаю монастырю – и здесь воочию вижу, на что эти деньги идут. И чем больше жертвую, тем больше мне Господь дает...»

По некоторым подсчетам, в 2007 году в Алатыре побывало более десяти тысяч паломников. Свидетельствуя об авторитете монашествующих, этот растущий поток одновременно ложится на них дополнительным грузом – отстраняться от мирских искушений в таких условиях куда труднее. Что же касается города, то в его администрации уже всерьез рассматривают эту разновидность туризма как фактор развития. Пока говорить о ее экономическом

значении не приходится. Но в стратегии развития Чувашской республики до 2020 года будущий Алатырь уже значится как православный культурно-исторический, а не только промышленный центр.

Впрочем, о мирском исчислении отец Владимир отзывается вполне однозначно: «Мир по-прежнему смотрит на все с точки зрения прагматизма. А поразмышлять о том, что все это строится духом, а не деньгами – духу не хватает!»

### От Кирилла и Мефодия

По ощущениям отца Владимира, еще совсем недавно – на новом рубеже веков – Алатырь напоминал затхлое болото. На улицах царил несветлая грязь, люди утратили волю к жизни. Так все и шло, пока 8 июля 2001 года в Алатыре не побывал патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Без активной деятельности отца Иеронима и митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы такой приезд, конечно, вряд ли оказался бы возможным. Однако и без власти светской дело обойтись, безусловно, не могло – тем более что, по свидетельству знающих людей, президент Чувашии Николай Федоров отнюдь не лицемерно относится к вере и церкви. Как бы то ни было, описание этого события фактически завершает тот самый летописный двухтомник – и одновременно ставит новую точку отсчета. И тот же самый митрополит Варнава наряду с региональными чиновниками упоминается как полноправный член республиканского оргкомитета по празднованию 450-летия Алатыря.

Подобный – на сей раз муниципально-церковный оргкомитет – был создан и в этом году для проведения Дней славянской письменности и культуры. И официально открылись они в конференц-зале городской администрации. Следом за вознесенной православными молитвой равноапостольным Кириллу и Мефодию, отметив, как непросто, но все-таки меняются к лучшему год от года город и его люди, алатырский глава Михаил Марискин призвал обеспечить высокий уровень содержания намеченных мероприятий и массовый охват горожан.

Первое, насколько могу судить, взяли на себя именно священники. Однако сделали это так, что у нормального человека, искренне обеспокоенного духовным наполнением себя и округа, и желания малейшего не возникало задуматься о границе между мирским и «чисто» церковным. Разве о том, существует ли она вообще...

По словам отца Владимира, одним из моментов,



подвигающих его к Богу, было желание спасти детей. И – не только собственных. Уже став священником, в Алатыре он снова пришел в школу. Похоже, директора гимназии № 6 тогда тоже весьма заботило состояние детских душ. Во всяком случае, сегодня Владимир Федоров безоговорочно разделяет мысль о том, что спасение школы, желающей не просто добиваться минимального соответствия учеников стандартным требованиям, но сеять разумное, доброе, вечное – в ее духовном наполнении. И сегодня в гимназии уже не первый год действует кабинет народной культуры, оборудованный фактически собственными руками отца Владимира и его единомышленников и руководимый его женой, матушкой Натальей. А со временем возник и общегородской культурный проект – с церковной точки зрения, миссионерский.

Главной задачей Дней отец Владимир обозначил поиск духовных основ, опираясь на которые, культурно-исторические грани алатырской жизни обретут ясные очертания. А отец Олег напомнил, что христианские праздники всегда были нацелены на обновление человека, его понимания истинных жизненных целей, расхождение с которыми, собственно, и есть грех. И что в глаголице и кириллице, дарованной славянам братьями-просветителями, содержатся не просто звуки, но смыслы – алфавит исконной православной культуры, которая одна и может противостоять той антикультуре разрушения, что агрессивно выпирает с телевизионных, киношных, рекламных экранов и прочих информационных носителей. Пока эта исконная культура кажется многим чужой – но для того и гости приглашены, и публичные встречи назначены, чтобы определить, какими путями можно проявить ее изначальное родство.

Насчет антикультуры, агрессии и прочего говорено, конечно, уже столько, что все тот же мирской человек, расслабляющийся после работы у телевизора или цепляющийся взглядом за обнаженную женскую плоть на зазывном плакате, как минимум пропустит это мимо ушей. Но ведь и вправду: почему, чтобы впервые услышать москвичку Ирину Леонову и понять, что это одна из лучших сегодня русских певиц, нужно ехать в Алатырь? Тоже, конечно, промысел, но почему ее, как и целого ряда других исполнителей, нет ни на одном из массовых телеканалов? А потому, что традиционная русская песня, по мнению всей шоу-бизнесовой тусовки, которая с этих каналов не сходит – неформат...

Как музыкант Ирина участвовала в песенном празднике «Поющий Алатырь», программу которого вместе определяли клирики и миряне. Как преподаватель Московского государственного университета культуры и искусства – в чтениях «Традиции и современность» и уже упоминавшемся педагогическом семинаре «Отечественное образование». Правда, застрельщиками в образовательной теме выступали уже другие гости – глава московского издательского центра «Истоки» Игорь Кузьмин и директор царскосельской школы «Гуманитарий» Василий Семенцов. Первый представил алатырским педагогам социокультурную программу «Истоки», которая помогает школьникам шаг за шагом если не усвоить систему традиционных для России жизненных ценностей, то хотя бы познакомиться с ней. Второй – программу «Корнеслов», позволяющую проявить и предъявить ученикам опять же систему исходных смыслов русского лексикона, а тем самым – и воплощенные в ней гармонические мировые взаимосвязи.

Уловив, что обе программы опять же опираются на православные основы, иной из обмирщенных читателей вновь насторожится. Но те же «Истоки» в свое время получили одобрение федерального Министерства образования и за двенадцать лет опробованы в целом ряде регионов от Калининграда до Якутска и от Архангельска до Ставрополя. Не обделен контролем и «Гуманитарий», выпускники которого отнюдь не уступают другим абитуриентам в конкуренции за места в ведущих вузах Москвы и Питера. К тому же, хотя отдел образования администрации Алатыря и решил поддержать внедрение «Истоков» в городских школах, насаждать их, как в свое время картошку, по-видимому, никто не собирается. Надежда – на тех педагогов, которые, несмотря на безденежье, замотанность, частокол инструкций и явное безразличие государства, еще сохранили желание не просто отбывать положенные часы, а воистину учительствовать.

Похоже, в Алатыре, как и в каждом «нормальном» городе, таких немного. Во всяком случае, после того же семинара на более подробный разговор с Кузьминым в зале осталось не более десятка человек. Но для закваски, возможно, достанет и этого.

### Шаг за шагом

Подспудный спор между идеалистом и материалистом, верующим и резонером, идущий и во мне самом, можно

продолжать до бесконечности. Вот и в Алатыре, да и в Чувашии в целом он, чувствуется, отнюдь не закончен. Во всяком случае, как признался начальник Алатырского горно Владимир Самойлов, хотя президент республики и митрополит подписали специальное соглашение, региональное министерство образования спешить со всяческими православными программами не рекомендует. Держите, мол, ухо остро.

В принципе, в такой чиновничьей осторожности есть и свои плюсы. В соседнем Ульяновске, который, похоже, в конце концов все-таки переименуют обратно в Симбирск, педагогическому университету уже дали команду быстро разработать программу духовно-нравственного воспитания. Порыв, может, и благой, однако приступы административного восторга расцвету духовности, как показывает практика, отнюдь не способствуют. Там же собираются открывать православную гимназию – но чем она будет отличаться от обычной, никто, по мнению приехавших на Дни «симбиряков», объяснить не может.

Алатырь же нетороплив, хотя, судя по всему, продвинулся много дальше. По признанию того же Самойлова, «у нас очень сильные священники», к тому же с учетом их количества и размеров города на душу местного населения приходится куда больше благодати. Может, потому здесь и предпочитают сосредоточиться на делах небystрых, но более плодоносных. Помимо уже описанных мероприятий в программу Дней вошли и слет юных богословов, которые в своих работах уже попытались использовать опыт «Истоков» и «Корнеслова», и презентацию социокультурных проектов «Сердце отдаю людям», и конкурс историко-краеведческих работ «Живая старина». А последнему школьному звонку, включая его в контекст памяти двух просветителей и тем самым придавая дополнительное духовное значение, на сей раз предшествовало соборное богослужение в одном из храмов.

Обновление затертых смыслов, прорыв к истокам и основам были стремлением Владимира Теплова и прежде. Так что, хотя посвящение в духовный сан и знаменует собой новое рождение, цепочка не прервалась – как и миссия, ставшая делом всей его жизни. Разве что основа углубилась, да окружение поменялось, и то не во всем. Это я опять же как мирской человек рассуждаю.

Отнюдь не во всем изменилось пока что и время. В той же двухтомной алатырской летописи прочел, как 1 мая 1918 года в момент антибольшевистского выступления эсеры и

меньшевики, распределяя посты, требовали удалить с заседания попа Лебяжьева. И еще совсем недавно по той же гимназии № 6 при появлении отца Владимира или другого батюшки прокатывался шепоток: «Глядите, глядите – поп пришел!»

Взращенное на идеях отделения одной части общества от другой, разделения материи и духа сознание, лишь изнемогая под грузом социальных проблем, идет на контакт с церковью и духовенством. Отдать ли им всю духовную власть, а с нею и как минимум долю светской – вопрос отдельный и за тысячелетия не нашедший однозначного ответа. Ясно другое: надевая рясу, принимая сан, настоящий гражданин отнюдь не перестает быть таковым. И проявлять свою гражданскую сущность вправе не только в дни выборов. А вот светский мир, когда наглухо отгораживается от церкви, безусловных успехов не демонстрирует. Во всяком случае, в образовании и воспитании наших детей.

*Алатырь – Екатеринбург*

## ПОЭЗИЯ

Сергей ПОТИМКОВ

## «Он уже всё понял...»

## СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ

*А.П. посвящается*

Венеция стыла в задумчивой дымке.  
И чудилось солнце дневною луной.  
Я был приглашен на чужие поминки,  
чтоб выпить печально еще по одной.

Еще по одной за кого? За кого же?!  
Кто ласточкой в небо на сей раз нырнул?  
Кого принимают светлейшие дожди?  
Кто с жизнью нелепой закончил войну?..

Зеленой воды колыхалось болото.  
Чернели гондол нежилых корабли.  
Я знал, что погибнет неведомый кто-то.  
Чужой. Но знакомый. Там где-то. Вдали.

О, как бы узнать его смертное имя?  
Как шепотом крикнуть: Постой! Не спеши!  
Ведь ты еще будешь безмерно любимым.  
Не рви же, не рви парус красной души!

Я знал, что меня никогда не услышат.  
И там, в одинокой московской глуши  
лежит уже тело и нервно не дышит.  
Я знал. И в канал

бросил  
евро  
гроши.

## НОЧНОЙ ЭСКИЗ II

Усталые маски гадают,  
где бездны любви, а где мель.  
Как склепы, дворцы проплывают.  
И кружится тьмы карусель.

### УТРЕННИЙ ЭСКИЗ III

Знамен ленивых осьминоги  
качают утренний причал.  
И окна стрельчатых острогов  
лучами брызг летят к очам.

### УТРЕННИЙ ЭСКИЗ IV

Как быстро рай полночный тает.  
Ему, казалось, не было конца.  
Венеция рассветная стекает  
косметикой увядшего лица.

### ВСТРЕЧА

Конфета «Венеция» — сладкая смерть.  
Очей и ночей объеденье.  
Воды изумрудно упругая твердь.  
Веков золотое сечение.

Я дожил, чтоб дождей твоих привечать,  
дождей повстречать наваждение  
и тонких ботинок хромую печать  
оставить в углу приключений.

Как снег разноцветный, летит конфетти.  
Исклеваны чайками блики.  
Измученным солнцем свети же, свети  
сквозь дымку прозрачной туники!

Глубокие вздохи упали в канал,  
и быть равнодушным преступно.  
Во сне я сто раз в твой чертог проникал,  
когда ты была недоступной.

Теперь же мы вместе с тобой навсегда.  
Пылает лицо, словно маска.  
И тонет в жемчужной лагуне звезда.  
А небо дырявит указка

столпа, на котором играет Лев  
и крылья восточные чистит.  
Венеция — родина всех королев,  
отечество западных истин!

**ХАРЬКОВСКАЯ РЕПЛИКА**

Где раньше расщепляли атом,  
власть нынче Город кроет матом.  
Вершит неправый приговор.  
Его выносит черный вор.

Больница стала каталажкой.  
Но нам твердят: се есть поблажка.  
Мы ходим медленно с ума,  
коль плачет белая тюрьма.

Ее засыпал снег неволи.  
И гаснет беззащитно крик.  
А мы не ощущаем боли —  
страх вглубь души давно проник.

И полюбила вкус наркоза  
и летаргии наша честь.  
Но ноет, чертова заноза.  
Она, как Бог, — то нет, то есть.

\*\*\*

Всеми мускулами крови  
Ойкумене я служил.  
Был здоров в своей основе.  
Нездоровым был режим.

То в Уганде, то в Судане,  
то в весенней Фергане  
выполнял властей заданья,  
верил, что служу стране.

Из-под ног ушла Отчизна.  
Не раскрылся парашют.  
Власть по-прежнему капризна.  
Президент же — просто шут.

Может, есть страна на свете,  
Ойкумены на краю,  
где приказ найду в планшете:  
«Родину храни свою!»...

Канут годы, сгинут лица  
омерзительных чинуш.  
В светлой юности столице  
нам еще сыграем туш!

Красный флаг над Белым Домом  
мы поднимем до небес.  
Красный флаг с лицом знакомым:  
Ленин?  
Иисус?  
Зевес?..

\* \* \*

Он уже все понял:  
в жизни нет покоя.  
Он уже все понял:  
нечего искать.

Где-то за рекою  
ходят-ходят кони.  
Век не переплыть.  
Век не обуздать.

\* \* \*

Она ничего не просила.  
И знала, что я обману.  
И мы не умчимся по Нилу  
в открытую мною страну.

Она так легко засыпала,  
прижавшись к невидимым снам...  
Она мне присниться мечтала.  
Но был одиноким я там,

где воют гиены ночные,  
созвездья крошит вертолет,  
и пушки жирафные выи  
вонзают в далекий восход...

Мы вместе потом просыпались.  
Я кофе заморский варил.  
Она о любви ворковала,  
которую я не любил.



## ЭССЕИСТИКА

Анатолий МИРОШНИЧЕНКО

**«ЛЮБИМЕЦ ВСЕЙ ПАРТИИ», ИЛИ  
«ИНЫХ ВРЕМЁН ТАТАРЫ И МОНГОЛЫ»**

В Письме к съезду от 23–25 декабря 1922 года [I, с. 3–6] В.И. Ленин, озабоченный проблемой устойчивости Центрального комитета партии и опасностью раскола в нём, охарактеризовал личные качества наиболее влиятельных членов ЦК, «способных ненароком привести ЦК к расколу». Ленин сосредоточил внимание на «качествах двух выдающихся вождей современного ЦК: «Я думаю, что основным в вопросе устойчивости... являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по моему, составляют большую половину опасности такого раскола...»

Мы остановимся на ленинских характеристиках только двух членов ЦК — Сталине и Бухарине.

Далее Ленин пишет: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».

Четвёртого января 1923 года Ленин написал (продиктовал) Добавление к письму от 24 декабря 1922 года, в котором довёл свою мысль о Сталине до логического завершения: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому и предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, менее капризен и т. д.»

Совсем в ином тоне Ленин пишет о молодых членах ЦК Николае Бухарине и Георгии Пятакове. Нас интересует первый из них, о нём Ленин сказал так возвышенно, как ни о ком другом: «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей

партии, но его теоретические воззрения очень с большими сомнениями могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нём есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)».

Ленин не назвал имени члена ЦК, который должен занять место генсека после перемещения Сталина на другую должность. Судя по характеристикам «выдающихся вождей современного ЦК», имя нового генсека само просится в строку: «любимец всей партии» Бухарин!

Однако Ленин оставил этот вопрос открытым и не решился предложить товарищам кандидатуру Бухарина, поскольку «ценнейший и крупнейший теоретик партии» «никогда не учился... и никогда не понимал вполне диалектики», да и помимо того было в нём «нечто схоластическое». Куда такой теоретик мог бы завести партию?.. Евангелие от Матфея (Гл. 15, ст. 14) отвечает на этот вопрос однозначно: «Оставьте их, они — слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму».

Я обратился к ленинскому Письму к съезду, чтобы представить читателям портрет (пусть политический) Николая Бухарина, написанный пером самого Ленина, который видел Бухарина насквозь. Лиха беда начало. Будут проявляться и другие его портреты, и облик его будет изменяться до неузнаваемости...

Не стану погружаться в кремлёвский политический аквариум тех лет, в котором перманентный революционер Бухарин виртуозно плывал большую часть своей жизни, вплоть до исключения из партии и ареста в феврале 1937 года. У меня другая задача. Я решил посвятить это эссе не партийным распрям, а рассмотрению «Злых замечок» Николая Бухарина, опубликованных в газете «Правда» 12 января 1927 года [2], и его доклада на Первом всесоюзном съезде советских писателей «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР» [3, с. 479–503], поскольку они имеют самое непосредственное отношение к литературе в целом, к творчеству Сергея Есенина в частности и характеризуют самого Бухарина как личность.

Прежде чем перейти к «Злым замечкам», приведу два признания Николая Бухарина из его автобиографии в Энциклопедическом словаре Русского библиографического института Гранат [4, с. 52–56].

Признание первое: «Примерно около этого времени (времени учёбы в городском училище. — А.М.) или несколько позднее я пережил первый т. н. «душевный кризис» и окончательно разделался с религией. Внешне это,

между прочим, выразилось в довольно озорной форме: я поспорил с мальчишками, у которых оставалось почтение к святыням, и принёс за языком из церкви «тело христово», победоносно выложив оное на стол».

Признание второе: «Случайно мне в это время подвернулась знаменитая «лекция об Антихристе» Владимира Соловьёва и одно время я колебался не антихрист ли я. Так как я из Апокалипсиса знал (за чтение Апокалипсиса мне был, между прочим, сделан строгий выговор школьным священником), что мать антихриста должна быть блудницей, то я допрашивал свою мать — женщину очень не глупую, на редкость честную, трудолюбивую, не чаявшую в детях души и в высшей степени добродетельную — не блудница ли она, что, конечно, повергало её в величайшее смущение, так как она никак не могла понять, откуда у меня могли быть такие вопросы».

Нет необходимости комментировать эти «признания» — они и без комментариев чересчур «красноречивы». Замечу только: «признания» свидетельствуют, что бездуховность, безнравственность, кощунство и прочие пороки поразили Николая Бухарина ещё в отроческом и юношеском возрасте. Это второй портрет Бухарина.

После публикации «Злых заметок» в «Правде» (а «Правда» — зеркало большевистской идеологии и морали) Бухарин мог торжествовать. Их перепечатал журнал «Октябрь» (1927, № 2), в том же году им посвятил передовую статью журнал «На литературном посту», они были изданы отдельной брошюрой, опубликованы в сборнике «Этюды» (М., 1932). Эхо «Злых заметок» донеслось до наших дней: они оказались настолько «актуальными», что через шестьдесят с лишним лет их перепечатал в 1988 году журнал «Вопросы литературы» [5, с. 220–227]. Так пришлось по душе русофобская злоба Бухарина освобождённым Хрущёвым из мест заключения троцкистам, назвавшим себя «большевиками-ленинцами». А как же: ведь все они «великороссы»!

В чём же состоят достоинства «Злых заметок» Николая Бухарина и почему они так популярны? Правда, не в среде русского народа, а в узком кругу инородцев. Попробуем разобраться в этом.

Взяв в качестве объекта для критического анализа дилетантское стихотворение П. Дружинина «Российское», напечатанное в журнале «Красная новь», Бухарин всласть «потоптался» по нему и перешёл к далеко идущим выводам

общероссийского масштаба. В беспомощной строке Дружинина «На кой же чёрт иные страны» Бухарин обнаружил «просто-напросто шовинистическое свинство», но не остановился на этом. Дальше — больше: «В «старое доброе время» выдающуюся роль в деле кристаллизации российской националистической идеологии играл, как известно, квас. Отсюда — «квасный патриотизм» — выражение, которое считалось бранным в устах всякого мало-мальски прогрессивного человека». Тот факт, что «русской националистической идеологии» не было ни в помине, ни в природе, ни в качестве государственной политики Российской империи, «прогрессивного» Бухарина не смущает — его ложь всё равно подхватят соратники и будут повторять, как аксиому, на все лады и вдальблывать её в головы доверчивым людям.

Покончив с П.Дружининым, Николай Бухарин со свойственным ему полемическим азартом взялся за Есенина и за «есенинщину» (возможно, это его термин), не понимая, что дилетант Дружинин и гениальный Есенин фигуры в поэзии несопоставимые, а, может быть, делая это умышленно, чтобы опустить Есенина как можно ниже — до примитивизма Дружинина.

Прочитую несколько абзацев из «Злых замечок», чтобы перед читателями проявился ещё один облик Бухарина.

«Между тем есенинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания явление нашего литературного дня. Есенин талантлив? Конечно, да. Какой же может быть спор? Но талантлив и Барков, этот прямой предшественник пушкинского стиха. Талантлив в высокой степени «академик» И. Бунин. Даже Мережковскому нельзя отказать в этом свойстве. Есенинский стих звучит нередко, как серебряный ручей. И всё таки в целом есенинщина — это отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого ещё более гнусная. Причудливая смесь из «кобелей», икон, «сисястых баб», «жарких свечей», берёзок, луны, сук, господ бога, некрофилии, обильных пьяных слёз и «трагической» пьяной икоты; религии и хулиганства, «любви» к животным и варварского отношения к человеку, в особенности к женщине; бессильных потуг на «широкий размах» (в очень узких четырёх стенах ординарного кабака), распушенности, поднятой до «принципиальной» высоты, и т. д.; всё это под колпаком юродствующего квази-народного национализма — вот что такое есенинщина»... Есенинская поэзия по существу своему есть мужичок, наполовину

превратившийся в «ухаря-купца»; в лаковых сапожках с шёлковым шнурочком на вышитой рубаше... Он даже может повеситься на чердаке от внутренней душевной пустоты. «Милая», «знакомая», «истинно русская» картина!»

«Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального характера»: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще. Выбившийся в люди, в «ухари-купцы», мужичок нередко ломает себе шею, доводя «до логического конца» «широту» своей «натуры» (известное «моему ндраву не препятствуй»), — «широту», которая есть по сути дела внутренняя расхлябанность и некультурность. На более высоком фоне общественного развития она и обнаруживает себя как таковая. Противоречие между высокой самооценкой и поистине жалкими «рефлексами» таких «ужасно широких» личностей может привести к трагическому личному концу».

Этой грязи с бесчисленными кавычками, которую вылил «культурный» Бухарин на одного Сергея Есенина, хватило бы на десятерых «любимцев партии», если перечислить их «заслуги» перед русским народом... Напрасно он в отрочестве колебался: «не антихрист ли я»? Теперь можно ответить утвердительно: Антихрист!

«Есенин талантлив», «Есенинский стих звучит нередко, как серебряный ручей» — вот всё, что выдавил из себя Николай Бухарин, говоря о Есенине как о поэте. Гениального, любимого русским на-родом Сергея Есенина Бухарин по сути дела втоптал в грязь. Так он почтил память поэта, повторив под занавес своей чёрной речи лживую байку о его самоубийстве.

А другого русского гения, Александра Сергеевича Пушкина, Бухарин походя оскорбил, назвав Баркова «прямым предшественником пушкинского стиха». Хотелось бы знать, возмутились ли пушкинисты этим абсурдным и оскорбительным для имени и чести Пушкина утверждением?

К «Злым заметкам» Бухарина прислушались «наверху» и вскоре без официального постановления ограничили периодичность издания и тиражи книг Сергея Есенина, выдачу их в библиотеках читателям, публичное чтение его стихотворений...

А не на совести ли Бухарина (если она у него была) кровь без вины виноватых, арестованных, с пристрастием допрошенных и расстрелянных Алексея Ганина, Николая

Клюева, Ивана Приблудного, Сергея Клычкова, Василия Наседкина, Петра Орешина и других крестьянских поэтов из окружения Сергея Есенина?..

Коснёмся ещё одной важнейшей проблемы: отношения Бухарина к историческому прошлому России и положению в ней великороссов. Ленин в 1914 году посвятил этой теме отдельную статью «О национальной гордости великороссов» [6, с. 629–632], из которой Бухарин поместил в «Злых заметках» небольшой фрагмент. Поскольку он невелик, я приведу его полностью. Шла Первая мировая война, а Ленин писал: «Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим своё рабское прошлое.

Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает своё рабство... такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

Не только этот фрагмент, а вся статья Ленина полна яростного, агрессивного революционного пафоса, откровенных грубостей и унижительных для русского народа пассажей.

Читатель, наверное, думает, что «ценнейший и крупнейший теоретик партии» тринадцать лет спустя (после ленинской статьи) по иному смотрит на русскую проблему, на историю России и на самих великороссов... Да нет же! Он слепо следует в фарватере ленинских переборов, а проблему только углубляет и усугубляет (он ведь тоже «великоросс»). За примером ходить далеко не надо — обратимся снова к «Злым заметкам»: «Но вот что интересно: у нас в литературе уже поднялась, как на дрожжах, другая «гордость великороссов», которая воспекает именно наше рабское прошлое. Ибо где в настоящем у нас это «рабское прошлое»?

Оно — в темноте.

Оно — в мордобое.

Оно — в пьянстве, в «море синем, Хвалынском» водки и слёз, как прекрасно (не по-есенински) говорил старичок-крестьянин на московской конференции.

Оно — в матерщине.

Оно — в дряблости, неуважении к труду, в хулиганстве.

Оно — в «ладонках» и «иконках», «свечечках» и «лампадках».

Оно — в остатках шовинизма («на кой же чёрт иные страны»!).

Оно — в свинском обращении с женщиной.

Оно — во внутренней разнузданности, в неумении работать над собой, в остатках обломовщины, интеллигентского самомнения, рабского темпа работы.

И всё это наше рабское историческое прошлое, ещё живущее в нас, воспевается, возвеличивается, становится на пьедестал лихой и в то же время пьяно рыдающей поэзией Есенина и его многочисленных подражателей и подражательниц.

По этой линии идёт воспевание «русского начала» в новой поэзии. А на самых высотах идеологии расцветает возврат к Тютчеву и другим. Ещё бы!

*Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить»*

Ни одного просвета ни в прошлом, ни в настоящем России: всё черным-черно. В такой цвет выкрасили нашу Великую Державу два «великоросса» — Ленин и Бухарин...

Оплёвывать «рабское историческое прошлое» России и русского народа Николай Бухарин начал задолго до «Злых заметок»: в 1920 году он написал работу «Экономика переходного периода. Часть I. Общая теория трансформационного процесса» [7, гл. X, с. 146], положительно встреченную Лениным. В этой работе Бухарин дал теоретическое обоснование необходимости пролетарской диктатуры и «концентрированного насилия» и сулил русскому народу жизнь в «бесклассовом коммунистическом обществе», правда, чем то похожем, как две капли воды, на рабство. Вот так оно выглядело в десятой главе указанной работы: «С более широкой точки зрения, т. е. с точки зрения большего по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Бухаринское коммунистическое будущее сияло, как две заснеженных вершины Эльбруса в солнечный день. Не правда ли?..

Трагедия состояла в том, что теоретические разработки Бухарина («начиная от расстрелов и кончая трудовой

повинностью») внедрялись в практику повседневной жизни: великие стройки коммунизма, всесоюзные комсомольские стройки и стройки меньшего размаха, беломорско-балтийские каналы и т. д. осуществлялись при массовом участии заключённых, большинство которых были арестованы и брошены в тюрьмы и концлагеря по ложным доносам и обвинениям или по указаниям «сверху» (большевикам нужна была дармовая рабочая сила).

А что касается расстрелов — им несть числа на всех уровнях народной жизни и надстройки, начиная с крестьянина и кончая императором и его семьёй.

Я немного отвлёкся от главной темы эссе, но я обязан был представить читателям очередной словесный портрет «ценнейшего и крупнейшего теоретика партии» и сообщить им о последствиях одной из его теоретических работ.

Завершая рассмотрение «Злых замечок» Николая Бухарина и его роли в посмертной судьбе гениального русского поэта Сергея Есенина, я должен сказать читателям следующее. «Злые заметки» по сути своей — смертный приговор убиенному двумя годами раньше Есенину и его бессмертной поэзии. Бухарин патологически ненавидел Есенина и поставил перед собой сатанинскую цель — стереть с лица русской земли и самого поэта и его поэзию, да не учёл главного: Есенин из числа русских светочей — созидателей России, а сам то Бухарин из компании перманентных революционеров — её разрушителей. И неспроста жизнь Бухарина закончилась бесславно, если не сказать позорно. А Сергей Есенин, дважды убиенный, живёт и будет жить в России до скончания времён, если «иных времён татары и монголы», объединившись, не вломаются в её пределы...

Обратимся теперь к докладу Н.И. Бухарина «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР» на Первом всесоюзном съезде советских писателей в августе 1934 года.

Я не собираюсь анализировать доклад ни полностью, ни частично. Отмечу в нём только ряд общих положений.

1. В целом доклад содержательный, но стилистически неровный, а местами и необъективный. Всё в нём рассматривается и оценивается с классовых, партийных позиций.

2. Самые ёмкие в докладе два раздела: первый — Поэзия и второй — Поэтика как технология поэтического мастерства.

3. Исключение составляет пятый раздел — Историческая вышка, уровень поэтического творчества в СССР и задачи



поэзии.

В начале этого раздела Бухарин наговорил всякой высокопарной чуши («Мы, СССР, — вышка всего мира, костяк будущего человечества»; «Мы — наследники тысячелетий всей культуры из века в век»; «Мы — воплощение исторического разума, основная, победоносная сила всемирной истории» и т. п.), а потом долго, путано и многословно «философствовал» о всяком разном, в том числе об уровне поэтического творчества и социалистическом реализме.

4. В третьем разделе доклада Бухарин рассматривал и оценивал творческие достижения семнадцати поэтов. Все поэты, кроме Есенина, заслужили у Бухарина положительные оценки. Самых высоких похвал удостоились Валерий Брюсов, Владимир Маяковский и Борис Пастернак.

Так как же докладчик представил делегатам и гостям Первого съезда советских писателей творчество Сергея Есенина? Почти так же, как в «Злых заметках»: грубо, предвзято, уничижительно; искажая, оговаривая и демонизируя нравственный и творческий облик Есенина.

Цитирую строки, отведённые в докладе Бухарина Есенину: «Более почвенным, гораздо менее культурным, с мужицко-кулацким естеством прошёл по полям революции Сергей Есенин, звонкий песенник и гуслир, талантливый лирический поэт. Он совсем по-другому «принял» революцию. Он принял только её первые этапы, или вернее, первый этап, когда рухнуло помещичье землевладение. Песенный строй его речи, опора на народную деревенскую ритмику, на узоры деревенских образов, глубоко лирический и в то же время разухабистоухарский тембр его поэтического голоса сочетались в нём с самыми отсталыми элементами идеологии: с враждой к городу, с мистикой, с культом ограниченности и кнутобойства. Его порывы к пролетариату были в значительной мере внешними рефлексамии. Его настоящее поэтическое нутро было наполнено ядом отчаяния перед новыми фазисами великого переворота. Но в нём глубоко таилась надежда и на то, что история пойдёт по другому пути. «Исповедание веры», настоящее кредо его поэтического творчества имеется в его по-своему замечательной брошюре «Ключи Марии» [9, с. 186–213].

Суждения Бухарина о «Ключах Марии» поражают своим верхоглядством. Он ничего не сказал о произведении в целом, а выдернул из последнего раздела несколько строк и нашёл там мужицкий «социализм» «прямо враждебный

пролетарскому социализму»; обнаружил в высказываниях Есенина о «марксистской опеке в идеологии сущности искусств» угрозу «строительству пролетарской культуры» и т. п. То есть из мухи сделал слона.

Я перечитал «Ключи Марии» (Есенин написал их в 1918 году в двадцать три года, когда тридцатилетний Бухарин был уже матёрым партийным волком). И снова я убедился, что это умная, глубокая, цельная, прекрасно написанная статья, свидетельствующая о недюжинной эрудиции Есенина. Статья об орнаменте, его образах и фигурах, оживотворённых и широко используемых в крестьянской жизни от изб до предметов быта и одежды; о культуре обиходного орнамента; о существе творчества в образах и о многом другом.

В «Ключах Марии» Есенин предстаёт перед читателем пророком, а критикующий его Бухарин — партийным начётчиком.

Неудержимое, жгучее, бешеное желание Бухарина унижить, развенчать, растоптать Сергея Есенина как человека и поэта таково, что он теряет контроль над своей речью. Оттого Есенин у него «звонкий песенник и гуслир», потому «песенный строй его поэтической речи, опора на народную деревенскую ритмику, на узоры деревенских образов» и даже «тембр его поэтического голоса сочетались в нём с самыми отсталыми элементами идеологии». Это же надо сочинить такую нелепицу да ещё озвучить её на съезде писателей! И завершить её не менее убийственным выводом: «Его поэтическое нутро было наполнено ядом отчаяния перед новыми фазисами великого переворота». Если бы у Есенина не было ни души, ни сердца, ни божественного поэтического дара, а только «поэтическое нутро» — он бы стал не Есениным, а Бухариным... А какое же «нутро» было у самого Бухарина, если и девять лет спустя после смерти Есенина он продолжал втаптывать его в грязь, его, поэта, слава которого прокатилась по всей Руси Великой.

Вот что меня особенно удивило и поразило в процессе изучения бухаринских «откровений»: ни в «Злых заметках», ни в докладе на съезде советских писателей Бухарин не процитировал ни одного стихотворения Сергея Есенина! «Почему?» — спросил я сам себя. По размышлении я пришёл к следующему выводу: матёрый большевистский идеолог знал, что делал... Если бы он поместил в «Злых заметках» или в докладе хоть одно стихотворение Сергея Есенина, читатели, поддавшись его очарованию, могли бы расценить бухаринскую брань, как клевету на поэта. Поэтому доступ

есенинской поэзии в бухаринские печатные труды был закрыт навсегда. А брань в этих трудах кипит и клокочет и по сей день...

Упомянул Бухарин в докладе и Александра Сергеевича Пушкина, но своеобразно: «Нужно помнить, что действительно великие мастера, даже люди лёгкого дыхания, как Пушкин, наш замечательный гений, беспечный и легкомысленный, был тружеником и эрудитом и стоял на самой вершине современной ему культуры». И снова Бухарин говорит о Пушкине с поразительным, возмутительным, умышленным «легкомыслием»! Так что же он воздаёт Пушкину — хвалу или возводит на него хулу? Прославляя по-рочить, — иезуитская манера Бухарина.

Перечитываю в очередной раз «Злые заметки» «великоросса» Бухарина и его доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей и диву даюсь: они насквозь пропитаны ядом ненависти к России, к её созидательной истории и миссии, к многотерпеливому и покладистому русскому народу, к нашим национальным светочам и литературным гениям, а к стоящему в их ряду Сергею Есенину — особенно...

С горечью и сокрушением думаю: с каким же остервенением и ожесточением троцкистско-бухаринские «великороссы», а по сути «иных времён татары и монголы» [8, с. 67], вторгшись в Россию, узурпировав власть, обезглавив Державу, принялись наводить в ней «революционный порядок», опираясь на поверивших большевистским пропагандистам рабочих, на распоясавшихся матросов, на бежавших с фронта дезертиров, на латышских стрелков и на китайских головорезов...

А соратник вождя мирового пролетариата, «ценнейший и крупнейший теоретик партии» Николай Бухарин теоретически обосновывал и оправдывал тотальный террор против лучших представителей всех слоёв населения, массовые расстрелы русских офицеров и казаков, вандализм, грабёж (по слову Ленина «грабь награбленное!») церковных ценностей, разрушение исторических святынь и православных храмов, аресты и высылку священнослужителей и людей других сословий в концлагеря и другие преступления (их не перечислить и не сосчитать!).

На этой драматической ноте я заканчиваю своё эссе. Изученные мною материалы не позволяют мне завершить эссе оптимистическим эпилогом.

P.S.

Где же кроются истоки и причины многолетней, стойкой, патологической ненависти Николая Бухарина к Сергею Есенину, самому яркому литературному явлению десятых-двадцатых годов двадцатого века? В источниках, использованных в эссе, ответа на этот вопрос я не нашёл и решил сделать несколько предположений и поразмышлять, где же «зарыта чёрная кошка»...

1. В происхождении? С 1915 года по апрель 1916 года Бухарин жил в Швеции. В Интернете воспроизведён Рапорт стокальмской полиции № 99 от 3 апреля 1916 года об аресте Мойши Абы Долголевского [10]. Псевдоним ли это Бухарина? Или это его подлинное имя?

2. В раннем «душевном кризисе», в результате которого он «разделался с религией»?

3. В сатанизме разрушительной революционной работы?

4. В космополитизме?

5. В русофобском круге общения и духовном перерождении?

6. В головокружительном взлёте на вершину партийной пирамиды?

7. В неограниченной власти, гордыне и высокомерии?

8. В банальной, испепеляющей зависти «ценнейшего и крупнейшего теоретика партии» к русскому парню из рязанской глубинки, достигшему в поэзии заоблачных высот и удостоенному всенародной любви?

Не могу остановиться ни на одном из этих предположений, хотя любое из них может быть ключевым.

Надеюсь, что кто нибудь из моих проницательных читателей знает истинную причину или засекреченный исток непримиримого отношения Бухарина к Есенину и со временем сообщит мне о них. Пекусь об этом истины ради.

#### ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ЭССЕ

1. В. И. Ленин. Последние письма и статьи. 23 декабря 1922 г. – 2 марта 1923 г. (М., Политиздат, 1976, с. 3–6).

2. Н. И. Бухарин. «Злые заметки» (М., газета «Правда», 1927, 12.01).

3. Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчёт / Репринтное воспроизведение издания 1934 года. Доклад Н. И. Бухарина «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР (М., «Советский писатель», 1990, с. 479–503).

4. Деятели СССР и Октябрьской Революции.

Автобиографии и биографии – Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. – Т. 41 – вып. 2. Социология – Союз СССР / Репринтное воспроизведение издания 1930 года (М., «Книга», 1989, с. 52–56).

5. Журнал «Вопросы литературы» (М., 1988, № 8, с. 220–227).

6. В. И. Ленин. Избранные произведения в трёх томах (М., Политиздат, 1972, Т. 1, с. 629–633).

7. Николай Бухарин. Экономика переходного периода. Часть I. Общая теория трансформационного периода (М., Государственное издательство, 1920, гл. X, с. 146).

8. Н. М. Рубцов. Стихотворения (1953–1971) (М., «Советская Россия», 1977, с. 67).

9. Сергей Есенин. Полное собрание сочинений в семи томах. Том пятый. «Ключи Марии» (М., «Наука» – «Голос», 1997, с. 186–213).

10. Х. Бьёркегрэн. Скандинавский транзит. Российские революционеры в Скандинавии. 1906–1917. («Омега», 2008).

Иван ПЕТРОВ

## ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА АДМИРАЛА КОЛЧАКА

Почти за 300-летнюю историю Омска с ним было связано много людей, известных всей России. Разные были их судьбы, разная осталась и память о них. Одни числились и числятся по разряду героев, других склоняют за недостойное поведение в определенных обстоятельствах, за неудобную политику, проводимую ими в свое время.

И это естественно, — скажет читатель и будет прав. На то ведь и существует общественное мнение. Однако, мнение это, часто случается, подвержено колебаниям. Случается, с течением времени характеристики меняются на прямо противоположные. Вплоть до того, что тем, кого в свое время судили и расстреливали, теперь сочиняют стихи и ставят памятники. Именно так случилось с людьми, о которых пойдет речь ниже.

Жизнь этих двух неординарных личностей оказалась связанной с Омском совершенно неожиданно. Ранее они о нем вообще мало что знали. Но, как известно, судьбы человеческие часто непредсказуемы и жестоки. Именно такими они оказались у Александра Васильевича Колчака и его гражданской жены Тимиревой Анны Васильевны. То были воистину трагические судьбы.

Их знакомство произошло в начале Первой Мировой войны в Гельсингфорсе. Он был другом и однокашником ее мужа — Сергея Николаевича Тимирева, с которым когда-то вместе учился в Морском корпусе. Теперь они вместе принимали участие в войне на Балтике. А. В. Колчак был начальником оперативного отдела штаба флота, а С.Н.Тимирев командовал одним из боевых кораблей. И так случилось, что время от времени они то вместе, то порознь появлялись в Гельсингфорсе.

Встретясь они до замужества, она не задумываясь предпочла бы своему суженому его — Александра Васильевича Колчака, этого воистину блестящего офицера, которого все тогда уважительно называли учеником легендарного С. О. Макарова и уже в то время прочили ему

адмиральский чин. Его короткая и звучная, как выстрел, фамилия была в ореоле славы. Он слыл героем-полярником, ходившим с известным исследователем Севера Эдуардом Толлем на поиски загадочной земли Санникова, а после таинственной смерти Толля — на его поиски.

Его именем был назван один из островов в Карском море. Ныне остров Расторгуева.

Он был удостоен почетной Константиновской медали Российской Академии наук. Позднее отличился при героической обороне Порт-Артура. Неоднократно награждался орденами, кроме того, золотым оружием «За храбрость». За время службы в Морском штабе проявил себя крупным специалистом — военмором. Особенно высоко ставились его познания в области гидрографии и минного дела.

Анна Васильевна была не первой из женщин, кто заглядывался на него. Происходила она из широко известной в кругах русской интеллигенции семьи крупного пианиста и дирижера Московской консерватории, профессора Василия Ильича Сафонова.

Но сказать об ее отце только то, что он был известным пианистом и дирижером, значило бы сказать очень мало. Дело в том, что это был не просто известный пианист и дирижер. Он являл собой личность выдающуюся, был главой целой школы, «школы Сафонова». Его учениками были А.Скрябин, А. Гедике, Н. Метнер, К. Игумнов, многие из его учеников, разлетевшихся по всему миру, прославляли русское исполнительское искусство за рубежом.

Достаточно сказать, что Василий Ильич Сафонов был «музыкальным дедушкой» такого всемирно признанного пианиста, каким является Ван Клиберн, воспитанник эмигрировавшей в США ученицы прославленного нашего маэстро — Розины Бесси-Левинной. Будучи в Москве, Ван Клиберн рассказывал о том, что постоянно видел перед своими глазами портрет В. И. Сафонова, висевший в кабинете своей учительницы, верной заветам знаменитого педагога.

Известными музыкантами были и дети Василия Ильича. Дочь его Мария стала профессором Джульярдской музыкальной школы. Сын Иван Васильевич руководил оркестром Терского казачьего войска.

Нельзя не отметить и такой большой заслуги В.И.Сафонова перед русской, да и не только русской культурой, как сооружение здания Московской консерватории, того самого, в котором она находится и

сегодня. Будучи директором этого учебного заведения с 1889 по 1906 год, он неуспешно заботился о развитии и расширении дела, умел привлечь к нему богатых русских меценатов типа С.Мамонтова, С. Морозова, Н. Рябушинского, П. Третьякова и других доброхотов, на чьи средства в то время возводились в Москве здания театров — оперного, МХАТ, музеев и т.п.

Об авторитете и месте Василия Ильича Сафонова в культурной жизни страны, и в частности Москвы, а затем и Петербурга, красноречиво говорит и круг его знакомств. У него в доме часто бывали Федор Иванович Шаляпин, Сергей Васильевич Рахманинов, многие дирижеры, профессора, певцы, оркестранты. Бывали здесь Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Алексей Максимович Горький и другие деятели отечественной литературы и искусства.

В доме постоянно звучала музыка. Можно сказать, ею была пропитана вся атмосфера его. Любила музицировать и юная Аня. Но больше интересовалась изобразительным искусством. Она собиралась стать художником. Кроме того, была страстно влюблена в театр.

Разговоры об искусстве, литературе и театре были самым воздухом их гостиной. А еще много велось разговоров о народе, его судьбах, о святом долге интеллигенции служить ему по мере сил и таланта. Возникали споры и о патриотизме, о большом вкладе русской литературы и искусства, в частности музыкального, в мировую сокровищницу культуры.

Как оказалось, все это было близко сердцу и Александра Васильевича Колчака, неплохо, к тому же, разбиравшегося в музыке.

Хорошо знавший историю русского флота и его выдающихся деятелей писатель Валентин Пикуль утверждал, что романс «Гори, гори, моя звезда» (считавшийся Булаховским) сочинил молодой Колчак (как видно, на понравившиеся ему слова, написанные поэтом В. А. Чуевским еще в 1868 году).

Так ли это на самом деле, сказать затруднительно. Во всяком случае пока нет особых оснований не доверять популярному писателю, тем более, что содержание романса как нельзя больше подходило к сложившемуся облику этого человека, всегда готового на подвиг или на смерть.

Сойдет ли ночь на землю ясная —  
Звезд много светит в небесах,  
Но ты одна, моя прекрасная,  
Горишь в отрадных мне лучах.



Твоих лучей небесной силою  
Вся жизнь моя озарена.  
Умру ли я — ты над могилою  
Гори, сияй, моя звезда!

По тому, как, с каким вниманием слушали Колчака их общие знакомые и друзья, Анна Васильевна все более убеждалась, что разговоры о его способностях — не пустые слова. Глядя на него, слушая его, она в глубине души всякий раз восхищалась им. Статный, чуть выше среднего роста с резкими правильными чертами лица, сухощавый в ладно сидящем на нем мундире с золотым шитьем и аксельбантами, он и в самом деле производил самое приятное впечатление. И она все чаще ловила себя на том, что он для нее давно уже стал не просто приятелем мужа.

Догадывался ли об этом Александр Васильевич Колчак? Вполне вероятно. Ему нравился открытый приветливый характер ее, эти вечно живые, чуть насмешливые глаза, шелковистые русые волосы и милое, чисто русское лицо.

Встречались они довольно часто. Затем их судьбы разошлись. В 1916 году он вступил в командование Черноморским флотом, где с его приходом боевые операции заметно оживились.

Однако вскоре в России свершилась революция, и он был смещен, поскольку сурово пресекал деятельность партийных агитаторов на флоте.

Оказавшись не у дел, А. В. Колчак попросился на службу в британский королевский флот и был принят, ибо слава его как крупного специалиста давно уже достигла берегов Темзы. Предписание получил на Месопотамский фронт, в район Персидского залива. Выехал туда через Токио и Шанхай. Но до места назначения не доехал. Причиной тому стали события, разыгравшиеся в Сибири.

Там в начале июня 1918 года в результате белочешского мятежа Советская власть была свергнута. В Омске к власти пришло эсерово-кадетское Временное Сибирское правительство во главе с П. В. Вологодским.

Однако, правительство это особого доверия ни кому не внушало, было малоавторитетным. Потребовалась сильная личность, твердая рука, лидер. Вот тут-то и вспомнили о Колчаке.

Телеграмма его застала в Сингапуре. Нет, он не стал отказываться. Даже обрадовался случаю воспользоваться предложенной ему властью, чтобы попытаться изменить ход событий в России в желаемом направлении.

Он прибыл в Пекин, где его принял и ввел в курс дела бывший посол России в Китае князь Кудашов. После этого он отправился в Харбин.

Здесь, на Дальнем Востоке, неожиданно для обоих и пересеклись вновь судьбы Анны Васильевны Тимиревой и Колчака. Она оказалась там после революции вместе с мужем.

Появление в Харбине направлявшегося в Омск Колчака взволновало ее, и она отправилась туда из Владивостока, чтобы повидать его. Встреча пробудила к жизни старые сердечные привязанности, причем куда более сильные, чем раньше. Анна Васильевна почувствовала, что теряет голову, но сделать с собой ничего не могла и в конце концов решила на отчаянный шаг: навсегда уйти от мужа к тому, чей образ все эти годы носила в своем сердце.

Говорили, что Тимирев вызвал или собирался вызвать Колчака на дуэль. Но пока оформлялись условия, скорый поезд унес «молодоженов» по дороге в Сибирь.

По другим сведениям, Колчак уехал один, а она прибыла к нему в Омск два месяца спустя.

По прибытии в Омск Колчак с ходу был введен во Временное Сибирское правительство в качестве военного и морского министра. Анна Васильевна была объявлена гражданской женой адмирала, поскольку многие из сбежавшей в Омск аристократии хорошо знали, что законная жена Колчака Софья Федоровна Омирова с десятилетним сыном Ростиславом находилась в Париже.

В первые месяцы своего пребывания в Омске он жил в каменном двухэтажном доме войскового старшины Волкова на углу Пушкинской и Плотниковской улиц. Впрочем, в это время он мало находился в городе, так как сразу же отправился на фронт. Объехав передовые позиции, установив личные контакты с командующими дивизий и армий на местах, вернулся в Омск.

Все ждали перемен, и они произошли.

В ночь на 18 ноября 1918 года Временное Сибирское правительство оказалось низложенным, адмирал Колчак был объявлен Верховным правителем России.

Приобретая статус столицы белого движения всей страны, город Омск преображался на глазах. Все мало-мальски подходящие дома его были заняты под министерства и иностранные представительства, военные миссии и казармы войск союзников. На фронтонах лучших зданий появились солидные вывески: «Совет министров», «Сенат», «Ставка верховного главнокомандования». На площадях города то и дело устраивались парады и смотры, в церквах шли молебны,

в ресторанах — торжественные обеды и ужины, в офисах — приемы.

Здесь же в Омске в распоряжении Верховного правителя находился русский государственный золотой запас, позволяющий делать союзным державам необходимые заказы на поставку вооружения и военного снаряжения для своих войск. Все это порождало надежды на реставрацию в России старых порядков не только у белого офицерства, представителей помещичьего сословия и чиновничества, но и у многих за рубежом.

В результате всех перемен, происшедших в городе, Верховный правитель переехал в бывший генерал-губернаторский дворец. Но здесь у него находилась лишь официальная резиденция. На жительство он облюбовал одноэтажный особняк купца Батюшкина, расположенный на берегу Иртыша, поблизости от устья Оми. Это был райский уголок с голубыми полами из французской плитки, с живописными плафонами в уютных залах, богато украшенных деревянной резьбой, и с роскошным зимним садом.

Особняк Анне Васильевне понравился, и она стала в нем хозяйкой, хотя официально, дабы не возбуждать лишних разговоров, она была прописана в доме номер 18 по улице Надеждинской (ныне Чапаева).

Стараясь быть хоть чем-то полезной мужу в его делах, она взяла шефство над деятельностью Красного Креста, а также над мастерскими по пошиву белья и раздачи его больным и раненым. Иногда вместе с ним присутствовала на парадах и приемах. Внешне все выглядело хорошо, даже респектабельно. Она была в центре внимания приближенных Верховного правителя — офицеров ставки и представителей союзных держав. Ее уважали, ей целовали руки, случалось, делали подарки. Но была ли она по-настоящему счастлива? Увы, это было далеко не так.

С некоторых пор в ее сердце поселилось недоброе предчувствие. Ей стало казаться, что ее дальнейшая жизнь не имеет благополучной перспективы, что рано или поздно наступит горькая развязка.

Возможно, причиной тому было жившее в глубине души чувство вины перед оставленным ею мужем, перед его оскорбленной честью и достоинством. Она мучилась этим, ей было по-человечески жаль его. Но что делать, если любовь к Александру Васильевичу Колчаку оказалась непреодолимой, всепоглощающей?

Однако как все это объяснить людям, наблюдавшим со

стороны ее уход от мужа? Как она выглядела в их глазах? Эти невеселые думы преследовали ее денно и нощно. И оттого дурные предчувствия усиливались. Она ждала расплаты.

Кроме того, ее стала тревожить обстановка, окружающая их в Омске. Ей, воспитанной в представлениях об интеллигенции, в том числе и военной, как культурном слое нации, который обязан служить благу своего народа, славе Отечества, было больно видеть не всегда корректное поведение офицеров и даже генералов, их кутежи, попойки.

А эти бесконечные разговоры об утраченных привилегиях и состояниях, грубая брань! Создавалось впечатление, что озабочены они не общим делом спасения России прежде всего, а собственными меркантильными интересами.

Она, конечно, понимала, что те, которые находились здесь, в Омске, не отражали ни мыслей, ни чувств тех, кто сражался на фронтах против красных, кто проливал кровь, не жалел собственной жизни. Но ее тревожило то обстоятельство, что эти, отиравшиеся в тылу люди, имели влияние на власть, вносили в нее элементы разложения.

Настораживало и поведение союзников. С одной стороны, они вроде бы всей душой старались помогать Верховному правителю, поставляли вооружение, а с другой, как например японцы, поддерживали атамана Семенова в Забайкалье, открыто, даже с вызовом противостоящего Колчаку.

Вечерами, оставшись с ним вдвоем, Анна Васильевна не раз пыталась поделиться мучившими ее сомнениями. Особенно серьезный разговор состоялся у них в конце декабря, вскоре после вспыхнувшего в самом Омске восстания рабочих, которым руководили большевики.

— Александр Васильевич, — сказала она ему (она всегда звала его именно так, по имени-отчеству), — мне становится страшно.

— Почему? — спросил он, откладывая в сторону бумаги, которые только что внимательно изучал.

— Мне стало казаться, что дело, которое мы ведем, не может иметь благополучного конца.

— Глупости, дорогая. Оно трудное. Невероятно трудное. Но оно будет иметь счастливое окончание. Родина не может погибнуть!

— Александр Васильевич, прости меня, ты знаешь, как я тебя люблю. Больше того, я давно не могу отделять себя от твоей судьбы. И потому тем более послушай. Ты умный,

талантливый, большой специалист, храбрый и смелый воин, авторитетный военачальник — послушай меня: зачем ты вторгся в эту проклятую политику, где много интриганов? Ты связал себя с чехами. А эти союзники! Тебя предадут. А что ты знаешь о тех, кто неделю назад вышел ночью с оружием в руках против тебя, здесь в Омске? Мы называем их бунтовщиками, и ты приказал стрелять в них...

— А ты хотела, чтобы я приказал раздавать им рождественские подарки? — Он вышел из-за стола.

— Но ведь они наши, здесь, в городе... Одно дело, когда стреляют по цепям наступающих, и совсем другое стрелять в народ...

— Тогда скажи мне, дорогая, кто мы с тобой? Мы разве не частица того самого народа? Не так ли? А если так, то почему они по нам стреляют? — Его глаза засверкали. — Народ! С цепи сорвался твой народ. Страх позабыл, свои обязанности, долг. Бесчинствует. Когда было такое?

— И все-таки, Александр Васильевич, — она стояла на своем, — политикой, по-моему, должны заниматься профессиональные политики. А военные специалисты, особенно такие как ты, которым цены нет, должны служить народу своими талантами.

— Каков бы я ни был как политик, я не могу бросить дело возрождения России, доверенное мне. Я не стремлюсь к власти в будущем, ты это знаешь. Я прибыл сюда, не имея ни одного солдата, не имея за собой никаких решительно средств, кроме только моего имени, кроме веры в меня тех лиц, которые меня знают. И я не буду злоупотреблять властью, не буду держаться за нее лишний день, как только можно будет от нее отказаться.

Он нервно заходил по кабинету.

— Но, может быть... может быть, что ты в чем-то и права, — продолжал он после некоторого раздумья, усаживаясь в кресло. — Но как я могу предать людей, кои вручили мне свою судьбу? Как я могу оставить их? Ах, если бы я был один такой, один так мыслил! Пусть они, о которых ты говоришь, по-своему правы. Пусть они имеют право жить так, как хотят. Пусть ими управляют кухарки. А как же быть с теми, которые не хотят? Меньшинство подчиняется большинству? Так они учат? Но если это меньшинство составляет десятки миллионов человек! Население целого государства по европейским масштабам! Причем оно представляет собой лучшую часть расколовшегося общества — образованную, сознающую свою историческую ответственность, цвет нации.

Как быть с ними? Им гоже жить по пещерным законам коммунизма? — Он снова вскочил и принялся ходить. — Нет уж, извольте! Уж я лучше в бою! Лучше на миру, тем более, что не за себя только. И вообще не за себя. Мне лично всегда найдется место в любом из европейских флотов. А как быть с теми, кто остался без будущего, без права на доброе имя? Скажи вот, ты, добрая, все понимающая, как быть с этими людьми? Сбросить со счетов? Нет, ты этого не хочешь, я знаю. Ты сама частица меньшинства. И, стало быть, сама жертва обстоятельств. Можешь ли ты быть уверена, что когда попадешь в руки этого большинства, оно обойдется с тобой гуманно? Нет, ты не уверена. Жертвенность — вот твоя позиция. Покорность и жертвенность... все это, быть может и украшает женщину, но не мужчину.

Да, я непримиримый враг большевиков. И это они отлично знают. Но только не надо меня представлять людоедом, любителем расстрелов. Бог свидетель, я не проповедую садизма. Но что же делать, если во время всякой войны действуют военные законы. А они жестоки. Война придумана не нами и не нами начата. Мы вынуждены защищать Россию от совдепии именно военными средствами, поскольку другого не дано. И это чушь, что пишут большевистские газеты будто я разбазариваю золотой запас, что раздаю сибирские богатства направо и налево. Какая чепуха! Если бы думал и поступал так, я обязательно воспользовался бы предложением Маннергейма двинуть финские полки под Красный Петроград в обмен на независимость Финляндии. Но я ответил ему категорическим отказом. Окраины России не могут быть предметом торга! И помощь ценою отторжения территорий мне не нужна. Великая Россия неделима!

Слушая, Анна Васильевна чувствовала, что переубедить его она не в состоянии. И, странное дело, это ей в глубине души даже импонировало. Его твердость и убежденность, его авторитет — все это было в нем настолько слитно и органично, что покоряли всякого, кому доводилось вести беседу с ним. Это она заметила давно.

— Но, Александр Васильевич, — она попыталась выложить свой последний аргумент, их ведь много... Очень много... Их силы... Что если..

— Можешь не продолжать, — перебил он, подойдя к ней вплотную и прижав ее голову к своей груди. Я знаю, что ждет меня в случае неудачи. Судьба Государя и его августейшей семьи у всех перед глазами. Но чтобы ни случилось, я понесу

свой крест до конца. Нет, нет! Я отдаю себе отчет в том, что кто проигрывает, тому рассчитывать на объективную оценку своих действий и поступков не приходится. Всегда прав победитель. Однако и правило, и закон — еще не истина. Она придет позднее. Когда тех законодателей уже не будет. Есть, есть высший суд! Суд времени. Суд истории. Это и греет сердце. Иначе незачем было бы жить. А тебе, дорогая, бояться нечего. Что бы ни случилось, тебя никто не тронет. Ты — женщина. Тем более, что вот ты уж точно не политик. Да откуда твои сомнения? Разве плохи наши дела на фронте? Западная армия генерала Ханжина продолжает теснить красных. Успех сопутствует и Гайде с Пепеляевым. Причин для уныния нет, дорогая! — Он поцеловал ее шелковые русые волосы, пахнувшие французскими духами, и вновь вернулся к своим бумагам.

Дела на фронте у него и в самом деле шли неплохо. Собрав под свои знамена около полумиллиона человек, он успешно повел наступление на запад. Была взята Уфа, Кунгур, Пермь, Мензелинск, Бугульма. Был взят Бугуруслан. До Волги оставалось местами уже совсем ничтожное расстояние — от Симбирска его дивизии стояли в ста километрах, а от Казани и Самары — всего лишь в восьмидесяти. Казалось, еще одно небольшое усилие, и его передовые полки сомкнутся с армией генерала Деникина, стоявшей по другую сторону Волги. Но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Всевышний же, как ни прискорбно было сознавать это Верховному правителю, дальнейших побед ему больше не сулил. Ибо сколько белые потом яростно ни атаковали, красные с не меньшим упорством и натиском по всем направлениям контратаковали их.

Здесь, на подступах к Волге, и произошла сшибка двух огромных армий, ознаменовавшая собой коренной перелом в ходе войны. Армия Колчака поначалу попыталась занять прочную оборону, однако сдерживать нарастающий напор красных становилось все более невозможным. В конце концов она была сбита со своих рубежей и стала постепенно откатываться к востоку.

4 мая она оставила Бугуруслан, затем Сергиевск, Бугульму, а в начале июня и Уфу. На северном участке фронта пала Пермь, за ней Кунгур и Екатеринбург. Красные войска подошли к Челябинску и, завязав ожесточенные бои, взяли его.

Недобрые предчувствия Анны Васильевны, похоже, и в самом деле начали сбываться.

Потеря Челябинска потрясла Колчака. Она означала, что отныне ворота в Сибирь открыты. Примириться с этим Верховный правитель не мог и потому срочно прибыл на боевые позиции и лично сам руководил боевыми операциями целую неделю, пытаясь отбить у красных город. Принимая командование, он в глубине души теплил надежду на свою счастливую звезду, которая в прошлом не раз помогала ему в борьбе с врагами.

Так было, когда он молодым лейтенантом, несмотря на ранение, активно и смело действовал в боях против японцев в Порт-Артуре. Так было, когда он — начальник оперативного отдела штаба Балтийского флота, разработав дерзкую операцию против немцев в Рижском заливе, блестяще провел ее, командуя бригадой торпедных катеров, за что был отменно награжден. Так было, когда в 1916 году, будучи командующим Черноморским флотом, он не раз лично сам возглавлял против не в меру осмелевших турок рискованные рейды, в результате которых неприятель уже больше не высывался за пределы своей акватории.

Он всегда верил в свою звезду. Вспомним слова его романа:

Твоих лучей небесной силою  
Вся жизнь моя озарена.

На этот раз все было тщетно... Полки 27-красной дивизии стояли непоколебимо. Никакие попытки Колчака сбить их со своих позиций не приносили успеха.

Злой, внутренне опустошенный, вернулся он в Омск. А красные шли по его следам. 14 октября они форсировали Тобол. 25 октября взяли Петропавловск, а к 10 ноября 27-я дивизия уже была на подступах к Омску.

Создалось критическое положение.

Почувствовал ли он тогда, что дело проиграно, или продолжал верить в успех, никто не знает. Известно лишь, что он возлагал большие надежды на широкий полноводный Иртыш. И в самом деле, не было на всем тысячекилометровом пространстве от Волги и Камы до берегов Иртыша преграды более значительной.

Да, надежда еще жила в нем. Однако, приказав защищать Омск до последнего солдата, сам же он счел за благо 11 ноября особым литерным поездом покинуть город. Анну Васильевну он отправил сутками раньше, вместе с золотым эшелонном. Через день его поезд догнал их, и Анна Васильевна перешла к нему.

Он стоял у окна своего салон-вагона и отрешенно смотрел



на проплывающие мимо перелески. Молчала и она, боясь неосторожным словом причинить ему боль, так как видела его состояние и в глубине души сочувствовала. О себе она давно перестала думать, поскольку отдельно от его судьбы личной жизни не представляла. Его удел навсегда стал и ее собственным уделом. Это решилось еще там, в Харбине.

Удаляясь от бывшей своей столицы, он с жадностью ловил каждую весточку, ждал донесения о том, что красные остановлены на иртышском рубеже. Однако надежды его не оправдались. Их не остановила и Обь. Оборона явно развалилась, и его войска теперь уже в полном беспорядке двигались вслед за ним вдоль Транссибирской магистрали.

Поняв, что дело проиграно окончательно, он решился на передачу верховной власти генералу Деникину, чьи войска успешно наступали в Европейской части России. 4 января 1920 года он подписал указ об отречении.

— Теперь, когда ты сдал полномочия Деникину, с тобой наверняка перестанут считаться союзники, — сказала Анна Васильевна, с сожалением и болью глядя на его сильно поседевшую за последнее время голову, на его усталое, посеревшее лицо.

Он ничего ей не ответил.

А поезд между тем все шел и шел на восток. Проехали Красноярск, Канск, впереди был Иркутск. Но чем дальше к востоку, тем медленнее они продвигались повсюду и во всем были видны признаки полнейшего развала и упадка. Дорога была забита составами. Порядка на станциях не было. И с бывшим Верховным правителем в сложившейся атмосфере всеобщего разложения уже никто особенно не считался.

Две недели его состав продержали в Нижнеудинске, что им справедливо было расценено как личное оскорбление. Затем последовал новый «сюрприз»: охрана поезда, покинув его на произвол судьбы, сбежала к красным. Далее он ехал под защитой чехов.

Не трудно представить себе, что чувствовали пассажиры литерного поезда в эти дни.

— Господи, чем все кончится? — мысленно вопрошала она, опасаясь произнести это вслух, дабы не сделать ему еще больнее, так как хорошо понимала, что творилось в его душе.

Чем кончилось их путешествие, вскоре стало известно всем. Как она и предвидела, он действительно остался один, покинутый и союзниками, и чехами, и соотечественниками теми, кем был призван, и теми, кого «спасал».

Когда его арестовали, он сказал по адресу тех и других: «Какое предательство!» и напрасно преданный ему Капшель

грозил по телефону чешскому командующему генералу Сыровы, давшему согласие на передачу Верховного правителя иркутскому Политцентру: «Генерал! Я вызываю вас на дуэль!» Это были уже пустые слова. Никакая дуэль уже не могла спасти Колчака.

Его взяли под стражу 15 января 1920 года. Виноватыми глазами смотрел он на Анну Васильевну, которой немедленно предложили покинуть салон-вагон. Она попыталась сопротивляться, заявив, что хочет разделить его судьбу во всем. Но ее со словами: «С бабами не воюем!» отпихнули в тамбур. Она принялась убеждать охрану. Однако все ее мольбы и слезы были напрасны. В конце концов ее спустили с подножки вагона.

Как она добралась до города Иркутска, никто не знает. Известно лишь, что как только Колчак был водворен там в тюрьму, она явилась в комендатуру и вновь потребовала, чтобы арестовали и ее.

На этот раз просьба была удовлетворена. Ее поместили в одиночную камеру той же самой тюрьмы, где содержался Колчак.

Что же двигало ею в настойчивых требованиях позволить разделить его судьбу? Чувство долга? Отчаяние? Верность? Сострадание? Вполне возможно, все вместе взятое. Кто может разложить на составные части благородный порыв? А кто ответит, чем руководствовались жены декабристов, выпрашивая у царя разрешение отправиться вслед за мужьями в Сибирь?

Способность русских женщин к самопожертвованию известна и давно воспета в стихах. Вспомним Н. А. Некрасова, его «Княгиню Трубецкую», которая так отвечала своему отцу:

Далек мой путь, тяжел мой путь.  
Страшна судьба моя.  
Но сталью я одела грудь...  
Гордись, я дочь твоя!

И далее:

Пускай горька моя судьба  
Я буду ей верна!

Анна Васильевна могла все это повторить безо всякой риторики, ибо в ее поступке было куда больше риска. Достаточно сказать, что жены декабристов ехали в Сибирь вольными людьми, она же просила арестовать ее. Разница существенная. Но истоки побуждения были теми же. Среда, воспитавшая жен декабристов, была традиционной и для семьи Сафоновых — отец Василия Ильича был генералом.

О том, что Анна Васильевна тоже в тюрьме, Колчаку сообщили на одном из очередных допросов, на которые его вызывали ежедневно, начиная с 22 января. Он попросил свидания с ней и получил разрешение.

Печальной была их последняя встреча.

Затем они видели друг друга еще несколько раз во время пятнадцатиминутных прогулок во дворе тюрьмы, куда их выводили одновременно. Встречаясь, их глаза много говорили друг другу. Иногда удавалось перекинуться несколькими словечками. Как много значили для нее те немногие слова!

...Его расстреляли ночью 7 февраля 1920 года вместе с последним премьер-министром его правительства В.Н.Пепеляевым. Тучный Пепеляев всю дорогу до места казни плакал, а когда пришли даже встал на колени, прося пощады, обещая служить новой власти.

Колчак, глядя на него, не выдержал, осуждающе сказал: «Виктор Николаевич, как вам не стыдно? Встаньте!»

Их поставили на невысоком пригорке, на берегу реки Ушаковки, у места впадения ее в Ангару.

От предложения завязать глаза Колчак отказался. Стоял прямо, держался спокойно, с достоинством. Он не потупил и не отвел в сторону глаз даже в момент команды «пли!».

Группы расстрелянных с пригорка оттащили к проруби и спустили в Ангару.

Она осталась в тюрьме...

О том, как поступить с ней, был сделан запрос в Москву, после чего начались бесконечные допросы. Никаких уличающих ее во враждебной деятельности фактов у следствия не было. Политикой она не занималась. Оружия не имела. В расстрелах не участвовала, приказов не отдавала. Вся ее вина состояла в том, что она любила человека, который пошел против революции. Но не было такой статьи ни в Уголовном, ни в Гражданском кодексах, которая бы преследовала за любовь. Тем не менее следствие по делу «сподвижницы злейшего врага революции» упорно продолжалось. И ей стало ясно, что кары не избежать.

Потянулись долгие месяцы ожидания. Что она передумала и переживала в эти дни, знает лишь один Бог, к которому Анна Васильевна мысленно обращалась ежечасно, прося сил, прощения и душевного умиротворения. Похоже, молитвы ее и вправду дошли до Бога, и чудо произошло: в октябре 1920 года ее по амнистии, объявленной в связи с годовщиной Октябрьской революции, выпустили.

Но, как оказалось, ненадолго. В мае 1921 года она была арестована вновь. Где только, в каких только тюрьмах не побывала она на этот раз — в Иркутской, Новониколаевской, в московских Бутырках... До расстрела, однако, дело не дошло, и летом 1922 года ее снова освободили.

И снова лишь ненадолго. Арестованная в 1925 году, она вновь предстала пред судом, приговорившим ее к трем годам ссылки. Местом поселения ей была указана Таруса Калужской области.

Но и это был еще далеко не конец ее жизненным испытаниям. После отбытия срока ее в 1935 году арестовывают в четвертый раз и вновь судят, теперь уже по 58 статье, пункту 10 и приговаривают к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.

Она к тому времени была уже настолько измотана душевно и физически, что смирилась со всем. Тем более, что ждать помощи ей было неоткуда. Так считала она.

Но нашелся — таки в этом немилосердном мире один добрый человек, который набрался смелости обратиться в Советское правительство с ходатайством о смягчении ее участи, сумел доказать, что никакой ее личной вины не было и нет ни перед революцией, ни перед кем другим на свете.

Этим человеком оказалась Екатерина Павловна Пешкова — жена и друг А. М. Горького, неоднократно вместе с Алексеем Максимовичем бывавшая до революции в гостеприимном доме Сафоновых, знавшая всех членов семьи, в том числе и юную милую Анечку.

К удивлению многих, ходатайство Екатерины Павловны возымело силу. Приговор был пересмотрен, лагерь заменен ссылкой. Из Забайкалья, где она уже начала отбывать срок, ее перевели в Вышний Волочек, оттуда в Верею, а затем в Малоярославец.

Напрасно она ждала окончания срока ссылки и радовалась его приближению. В 1939 году ее досрочно (до окончания назначенного наказания оставался еще год) арестовали в пятый раз. Судили по прежней статье и снова приговорили к исправительно-трудовым лагерям, но теперь уже на восемь лет. На этот раз отправили в Караганду. Это был, пожалуй, самый трудный период ее мученической жизни.

Но даже и по отбытии срока ее не оставили в покое. В 1949 году без предъявления какого-либо обвинения ее держат в тюрьме города Ярославля, а в октябре 1950 года отправляют в ссылку в Енисейск Красноярского края. В Сибири пробыла до 1954 года.

Что она пережила, чего натерпелась за долгие годы

преследований, можно лишь догадываться. К моменту освобождения в 1955 году ей было уже 63 года, и жизнь ее, если только можно назвать жизнью, осталась уже позади.

В Москву ей возвратиться, однако, запретили, а разрешили поселиться в городе Рыбинске Ярославской области, где она устроилась на работу художником - декоратором в местном театре.

Реабилитирована она была только в 1960 году в 68-летнем возрасте.

... О последних днях жизни Анны Васильевны мне стало известно из письма одного старого краеведа с Южного Урала. «В конце пятидесятых годов, — писал он, — Анне Васильевне разрешили переселиться к сестре Елене Васильевне в Москву. Здесь в 1971 году я и нашел их и познакомился с ними.

Зная о пережитом Анной Васильевной (кроме всего, у нее как «враг народа» был расстрелян еще и сын двадцати лет от С. Н. Тимирева), я ожидал увидеть жалкую старуху (ей было в то время 79 лет), но передо мною предстала стройная, одетая в строгое темное платье женщина, а с нею и ее сестра Елена Васильевна (младше ее) с очень симпатичными чисто русскими чертами лица.

В 1974 году Анна Васильевна на мой запрос о здоровье сообщила, что чувствует себя по возрасту сносно.

Нынче, будучи в Москве, я решил навестить сестер. Меня встретила Елена Васильевна. Но вместо бодрой старушки я увидел дряхлую старуху, одетую в невообразимую одежду. Я ее не узнал. Я забыл сказать, что в 1971 году меня поразила убогость их обстановки.

Спрашиваю:

— Где Анна Васильевна?

— Анна Васильевна умерла 31 января этого года в больнице от инфаркта.

Думаю, что и дни ее сестры сочтены. Возможно, что и она уже тоже умерла.

Краевед-любитель 1897 года рождения, бывший офицер армии Колчака Белюшин Михаил Владимирович, г. Златоуст, 20 сентября 1975 года»

Так закончилась жизнь Анны Васильевны Тимиревой, урожденной Сафоновой. Женщины, которая добровольно за любимым человеком вошла на Голгофу и безропотно приняла все выпавшие на ее долю муки.

Что она чувствовала, что думала о нем в свои преклонные лета? По-прежнему ли хранила верность сердца? Или ее посетило в какой-то момент горькое раскаяние? Кто знает?

Известно, что в 1922 году в промежутке между арестами,

она оформляла брак с неким В. К. Книппером и затем носила двойную фамилию Книппер-Тимирева. Вполне возможно, это ей нужно было в защитных целях.

Строки из дневника, кажется не дают повода сомневаться, кому всегда принадлежало ее сердце. Вспоминая много лет спустя о счастливых днях своей жизни, она писала: «Когда мы возвращались (из церкви), я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе. Но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости. Я на все согласна. Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата».

И уж совсем исчезнут всякие сомнения в том, как она относилась к нему до конца дней своих, если познакомиться с одним из последних ее стихотворений. (Стихи она писала всю жизнь, даже в лагерях ГУЛАГа). Вот оно:

Полвека не могу принять —  
Ничем нельзя помочь —  
И все уходишь ты опять  
В ту роковую ночь.  
А я осуждена идти  
Пока не минет срок.  
И перепутаны пути  
Исхоженных дорог.  
Но если я еще жива  
Наперекор судьбе,  
То только как любовь твоя  
И память о тебе.

30 сентября 1970 г.

Говорить о Колчаке вслух она ни с кем не могла. На его имени лежала официальная печать проклятия. Оно было покрыто черной тенью последнего пятнадцатимесячного этапа его жизни, того, что получил наименование «колчаковщины». Эта зловещая тень закрыла все многочисленные заслуги перед Россией прежних лет. Заслуги, какими в другой стране безусловно гордились бы потомки. В одном из последних интервью Валентина Пикуля, опубликованном уже после смерти его (Литературная Россия, 27 июля 1990 г.) он сказал о Колчаке: «У нас его до сих пор рисуют одной — черной краской. Мы почти не знаем Колчака как минера, флотоводца и полярного исследователя, а он в любой из этих областей был крупнейшим специалистом. Расскажу вам такой случай. Однажды глава нашего правительства Косыгин, отдыхая на

Рижском взморье, прочитал мой роман «Моонзунд», где выведены адмирал Колчак и Эссен.

Встретившись затем с командованием Балтийского флота, он посоветовал нашим флотоводцам обратиться к «Моонзунду». Косыгин тогда сказал, что если бы мы в сорок первом году имели таких адмиралов, как Эссен и Колчак, то у нас не было бы ни приснопамятного таллинского перехода, ни ленинградской блокады. И это правда. Правда и то, что в августе четырнадцатого года Эссен и Колчак сделали все, чтобы преградить немцам путь к Петрограду, чего не догадались в сорок первом году сделать адмирал Трибуц и другие военачальники».

Да, конечно, Колчак — фигура отнюдь не ординарная. Это человек с большими заслугами перед Россией. Все это так. Тем не менее до сих пор не утихают острые споры при оценке его подлинной роли в нашей истории.

Никто не знает последних дум и переживаний Анны Васильевны Тимиревой. Одно можно сказать с уверенностью: они были печальными в своей безысходности.

Единственное что порадовало ее в те годы, так это приезд в нашу страну всемирно известного музыканта Ван Клиберна на Международный конкурс имени Чайковского в 1958 году, где он завоевал первое место. В столицу Anne Васильевне въезд, в то время еще был запрещен. Но случилось так, что счастливый победитель конкурса из Москвы направился на гастроли в Киев. Анна Васильевна, узнав об этом, отправилась из Рыбинска туда же. Их встреча состоялась. Она была и теплой, и сердечной.

«Я приветствую дочь моего «музыкального деда!» — написал ей на память Ван Клиберн. И эта надпись на его книге и эта встреча были ей как дорогая награда, как волшебное возвращение в счастливое детство, в музыкальный мир отца и всей семьи Сафоновых.

Он пригласил ее на свой концерт. Сидя в великолепном высоком с лепным потолком зале, с портретами великих музыкантов по стенам, освещенным множеством красивых люстр и канделябров, слушая первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, она впервые после долгих лет скитаний почувствовала прикосновение чего-то светлого, большого, нетленного, вечного, что неподвластно миру зла и ненависти, что живет особой жизнью и что не разъединяет, а наоборот, объединяет и облагораживает человеческие сердца.

## **Авторы журнала**

### *Биографические справки*

**ГЛЕБОВА** Ирина Николаевна (Ирина Полякова) родилась в Харькове. По образованию – журналист. Член Союза писателей СССР. Член Национального союза писателей Украины, член Союза писателей России. Первые книги стихов издавались под псевдонимом Ирина Полякова. Первая книга прозы «Никогда в этом мире» (1996) увидела свет под именем Ирины Глебовой. С этого времени известна как прозаик. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в г. Харькове.

**ДОЛБНЯ** Виктор Тимофеевич родился 27 сентября 1924 года в Харькове. В июне 1941 года, как допризывник, был вывезен военкоматом в Сталинградскую область, где работал в одном из колхозов. В 1942-м стал курсантом учебного танкового полка, в 1943-м уже участвовал в боевых действиях в качестве радиста-пулеметчика танка Т-34, а после ранения воевал в составе стрелкового полка. После войны окончил вечернюю школу, в 1955 году - Харьковский политехнический институт (НТУ «ХПИ»). Декан факультета автоматики и приборостроения ХПИ (1962), декан электромашиностроительного факультета (1963-1978), завкафедрой «Промышленная электроника» (1971-1989), основанной им, проректор НТУ «ХПИ» (1978-1989) по учебно-методической работе. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы Украины. Почётный доктор НТУ «ХПИ». Автор более 10 учебников, учебных пособий и монографий. Живёт в Харькове.

**КАТАЕВА** Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу окончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Огонёк», «Смена», «Радуга», «Москва», «Донбасс», «Слобожанщина», «Славянин», в «Литературной газете» (Москва) и «Новой литературной газете» (Киев). На украинском языке – в «Літературній Україні» и в журнале «Прапор-Березіль». Подборка стихов на украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). За работу с творческой молодежью и книгу стихов «Харьков – судьба моя» в 2005 году удостоена звания «Харьковчанин года». Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого. Живёт в г. Харькове.

**МИРОШНИЧЕНКО** Анатолий Михайлович родился в 1939 году в Макеевке (Донецкая обл.). Окончил металлургический факультет Донецкого политехнического института (1962). Работал на заводах, в НИИ и КБ в Макеевке, Краматорске, Донецке, Харькове. Автор двенадцати художественных книг, переводов и эссе, вышедших в издательствах Харькова и Москвы. Публиковался в «Антологии современной русской поэзии Украины» (1998), в Пушкинском альбоме «...не зарастёт народная тропа...» (1999), в коллективных литературных сборниках и альманахах, журналах. Член Союза писателей России (1996), Национального союза писателей Украины (2004). Лауреат международной литературной премии «Слобожанщина» (2006). Живёт в Харькове.

**ОМЕЛЬЧЕНКО** Василий Михайлович родился в Украине в 1931 году. Детство, юность и молодость прошли в России, в Сибири. Служил в частях «Осназ». Член Национального союза писателей Украины и Союза писателей России. Автор более



трех десятков книг: романов, повестей, рассказов и очерков. Лауреат Международного литературного конкурса «Вечная память», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лауреат республиканской премии имени В.Г.Короленко. Живет в г. Харькове.

**ПЕТРОВ** Иван Федорович (1920-2012). Участник Великой Отечественной войны, известный сибирский писатель, публицист, краевед. Окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета. Почетный член Петровской академии наук и искусств. Автор двадцати шести опубликованных книг, нескольких сотен рассказов и статей. Награжден орденами «Отечественной войны» второй степени, Дружбы народов, многими медалями, а также Грамотой Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры за серию статей об основателе города Омска И.Д.Бухольце. Лауреат областной литературной премии (1999 г.). Член Союза писателей России.

**ПОТИМКОВ** Сергей Юрьевич родился в 1954 году в Харькове. Окончил факультет иностранных языков Харьковского университета. Работал преподавателем в харьковских вузах. Служил военным переводчиком в Уганде и Эфиопии. Заслуженный журналист Украины. Автор популярных теле и радиопередач. Работал в качестве приглашенного преподавателя на факультете журналистики университета штата Мэн (США). Дважды избирался депутатом Верховной Рады Украины. Автор пяти книг. Живет в Харькове.

**ПРОКОПЬЕВ** Сергей Николаевич родился в 1952 году в городе Куйбышевка-Восточная (ныне город Белогорск) Амурской области. Окончил Казанский авиационный институт. Двадцать лет работал инженером в КБ ПО «Полет», занимался ракетной техникой. С 1997 г. по настоящее время редактор многотиражной газеты. Автор одиннадцати книг прозы. Печатался в журналах «Сибирские огни», «Литературный Омск», альманахах «Иртыш», «Бийский вестник». Постоянный автор журнала «Москва». Член Союза писателей России. Живет в Омске.

**РАКОТИН** Дмитрий Родился в г. Харькове в 1962 году. Автор семи поэтических сборников. Живёт в Харькове.

**РАСТОРГУЕВ** Андрей Петрович родился в 1964 году в г. Магнитогорске, Челябинской обл. Поэт. Окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького, факультет журналистики (1986) и Академия государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, 1999). Член Союза журналистов (1988), член Союза писателей России (1994). Канд. ист. наук. Лауреат Государственной премии Республики Коми. Председатель жюри Всероссийской литературной премии имени П.П.Бажова 2007-2011 гг. Живет в Екатеринбурге.

**РОМАНОВСКИЙ** Александр Георгиевич родился в 1953 году в с. Занадворовка в Приморском крае на Дальнем Востоке в семье офицера. Почетный член Харьковской областной организации Национального союза писателей Украины (2002), член Союза писателей России (2003). Председатель Харьковского отделения СП России (с 2006). Секретарь Союза писателей России (с 2009). Награжден орденом «Почётный Крест Украинской Православной Церкви» (2003). Лауреат международной премии «Имперская культура» (2009), литературной премии «Слобожанщина» (2006), литературной премии им. Н. Гумилёва. Автор 11 поэтических сборников, изданных в Украине, России и Польше. Живёт в г. Харькове.

**СТАЛЬНОЙ** Владимир Иванович родился в 1947 году на Харьковщине в многодетной крестьянской семье. Служил в армии, продолжительное время трудился помощником бурового мастера в Стрижевском геологоразведочном управлении (Западная Сибирь), принимал участие в строительстве Ленинградской АЭС. После окончания Харьковского государственного университета работал в районной и областной прессе. Ныне собкор всеукраинского издания «Строительная газета». Печатался в областной и республиканской периодике, в коллективных сборниках, антологии «Слобожанская муза» (2000). Автор шести поэтических сборников. Лауреат муниципальной премии им. Александра Олеся (2012). Член Национального союза писателей Украины (1996). Живет в пгт. Боровая (Харьковская обл.)

**ФРОЛОВ** Андрей Владимирович родился в 1965 году в городе Орле. Автор трёх поэтических книг и сборника рассказов. Произведения публиковались в журналах «Поэзия», «Роман-журнал XXI век», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Простор», «Родная Ладога» и др., в газетах «Российский писатель», «Литературная газета», «Московская правда», включены в антологию современной поэзии «Наше время» (Москва–Нижний Новгород, 2009), антологию «Русская поэзия XXI век» (Москва, 2010). Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2009). Награждён Почётными грамотами Союза писателей России. Член Союза писателей России с 2003 года. Живет в Орле.

**ШАПОВАЛОВ** Владислав Мефодьевич родился в 1925 году. Семнадцатилетним ушёл на фронт бронбойщиком роты противотанковых ружей, приданной 828 стрелковому полку 197 Брянской дивизии. При форсировании реки Висла тяжело ранен, получил боевые награды, войну закончил офицером. После окончания университета тридцать лет работал в школе. Автор более тридцати книг прозы, член Союза писателей СССР и России, лауреат трёх журнальных премий, а также двух Всероссийских премий. Учредитель и главный редактор Белгородского общественно-политического, литературно-художественного и научного журнала «Звонница», с 1997 года. Отмечен знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», (2000), а также удостоен высшей общественной награды Российской Федерации — памятной медалью-крестом с занесением имени в энциклопедию «Лучшие люди России» (2006). Живет в Белгороде.

**ЯГОДИНЦЕВА** Нина Александровна – выпускница Литературного института имени Горького, член Союза писателей России. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор более 20 книг, поэтических переводов и ряда публикаций в литературной и научной периодике. Лауреат Всероссийских и Международных литературных, научных и переводческих премий. Живет в Челябинске.

## СОДЕРЖАНИЕ

### **ПОЭЗИЯ**

Андрей ФРОЛОВ. Храм родился тяжело .....	42
Нина ЯГОДИНЦЕВА. «Душа моя — к тебе...» .....	50
Владимир СТАЛЬНОЙ. «Смеется в памяти роса...» .....	146
Ирина ГЛЕБОВА. Забудем земные печали... .....	149
Александр РОМАНОВСКИЙ. «Вдруг написанные стихи...» .....	239
Римма КАТАЕВА. «Всё стремлюсь и стремлюсь».....	246
Дмитрий РАКОТИН. «Разумом тихо по книгам бреду...» .....	287
Сергей ПОТИМКОВ. «Он уже всё понял...» .....	301

### **ПРОЗА**

Сергей ПРОКОФЬЕВ. Сон Пресвятой Богородицы .....	3
Василий ОМЕЛЬЧЕНКО. Огольцы .....	55
Виктор ДОЛБНЯ. Тысяча четыреста восемнадцать дней .....	155
Владислав ШАПОВАЛОВ. Руки матери .....	249

### **ПУБЛИЦИСТИКА/ЭССЕИСТИКА**

Андрей РАСТОРГУЕВ. Гражданин батюшка .....	291
Анатолий МИРОШНИЧЕНКО. «Любимец всей партии» или «Иных времён татары и монголы» .....	305

### **РОДИНОВЕДЕНИЕ**

Иван ПЕТРОВ. Гражданская жена адмирала Колчака .....	318
--	-----

<b>АВТОРЫ ЖУРНАЛА</b> .....	336
-----------------------------	-----

*Литературно-художественный журнал*

## **СЛАВЯНИН**

№16-17

Гл. редактор *Л.И. Мачулин*

Корректор *А.Н. Балабанова*  
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*  
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 19.04.2013. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.  
Печать офсет. Гарнитура *PragmaticaCondCTT*. Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л.  
27,70. Изд. №1. Зак. №\_\_\_\_. Тир. 500 экз.

**Учредитель:** 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».  
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

**Адрес редакции для писем:**  
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.  
Тел./факс (057) 705-27-56  
e-mail: [editor01@list.ru](mailto:editor01@list.ru)

**Издатель:** *Мачулин Л.И.*  
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.  
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.  
**ISSN 2221-9331**